

# СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ



1

1975

ИНСТИТУТ ЭТНОГРАФИИ ИМ. Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ

# С О В Е Т С К А Я Э Т Н О Г Р А Ф И Я

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1926 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

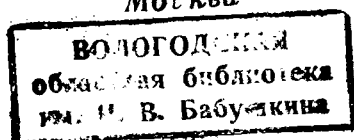
Январь — Февраль

1975



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва



**Редакционная коллегия:**

**Ю. П. Петрова-Аверкиева** (главный редактор), **В. П. Алексеев**, **С. А. Арутюнов**,  
**Н. А. Баскаков**, **С. И. Брук**, **Л. М. Дробижева**, **Г. Е. Марков**, **Л. Ф. Моногарова**,  
**А. П. Окладников**, **Д. А. Ольдерогге**, **А. И. Першиц**, **Н. С. Полищук**  
(зам. главн. редактора), **Ю. И. Семенов**, **В. К. Соколова**, **С. А. Токарев**,  
**Д. Д. Тумаркин** (зам. главн. редактора), **К. В. Чистов**

Ответственный секретарь редакции *Н. С. Соболев*

Адрес редакции: Москва, В-36, ул. Д. Ульянова, 19

**Ю. В. Бромлей, В. И. Козлов**

## **К ИЗУЧЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СССР**

Изучение этнических процессов, происходящих в нашей многонациональной стране, постепенно углубляется и расширяется, распространяясь на все области жизни, в которых проявляются эти процессы, в том числе и на все области духовной культуры в широком ее понимании. В этнографических работах, посвященных этой тематике, в центре внимания авторов обычно находятся традиционные массовые явления духовной культуры народов СССР (обряды, религия, фольклор и т. д.); уделялось внимание и тем компонентам духовной культуры (в частности — литературе), которые непосредственно связаны с ее этно-языковой спецификой<sup>1</sup>. В данной статье мы считаем целесообразным обратиться к таким сферам духовной культуры, как наука и искусство (преимущественно профессиональное).

Традиционная этнография, как правило, не вторгалась в эти области духовной жизни, предоставляя изучать их специальным наукам: науковедению, философии, эстетике, искусствоведению, хотя, как правильно заметил С. А. Токарев, «все без исключения явления жизни современных народов индустриальных стран в той или иной мере... попадают в сферу интересов этнографа»<sup>2</sup>.

Данная статья не претендует, разумеется, на всестороннее детальное рассмотрение этих специальных областей научных знаний. Задачи ее ограничиваются показом того, что этнические процессы, идущие в СССР по двум основным направлениям<sup>3</sup>, в той или иной степени находят отражение и в указанных областях духовной культуры, т. е. проявляются как в расцвете национальных культур народов СССР, так и в их интеграции в общесоветскую культуру. При изучении такой тематики этнографы, не подменяя, например, философов или искусствоведов, могут успешно сотрудничать с ними.

Рассматривая проявления этнических процессов в сфере науки и искусства, важно прежде всего учитывать, что на эти процессы непосредственно воздействует идеология, которая как совокупность политических, правовых, нравственных и других взглядов пронизывает все виды общественного сознания и общественных отношений. Основу идеологии нашего общества составляет марксизм-ленинизм — мировоззрение революционных масс, теория и практика строительства социализма и коммунизма. Влияние этой идеологии на национальные отношения в СССР

<sup>1</sup> См. например: К. В. Чистов, «Этническая общность, этническое сознание и некоторые проблемы духовной культуры», «Сов. этнография», 1972, № 3; Ю. В. Арутюнян, «О некоторых тенденциях в изменении культурного облика нации», Там же, 1973, № 4; Н. П. Лобачева, «О формировании новой обрядности у народов СССР (Опыт этнографического обобщения)», Там же.

<sup>2</sup> С. А. Токарев, «О задачах этнографического изучения народов индустриальных стран», «Сов. этнография», 1967, № 5, стр. 139.

<sup>3</sup> См. Ю. В. Бромлей, В. И. Козлов, «Ленинизм и основные тенденции этнических процессов в СССР», «Сов. этнография», 1970, № 1.

в значительной степени уже освещено в нашей литературе<sup>4</sup>. Для всестороннего показа ее роли в этнических процессах требуется дополнительное специальное исследование. Но это в значительной мере дело будущего, и потому в данном случае мы ограничимся лишь некоторыми общими положениями, непосредственно связанными с тематикой статьи.

Как известно, становление и распространение материалистического марксистско-ленинского мировоззрения в нашей стране шло в борьбе против всякого рода идеалистических учений, а также и против религии. Религиозная идеология в прошлом оказывала значительное влияние на этнические процессы. В отсталой царской России при почти поголовной неграмотности народных масс и неразвитости в то время таких прямых средств массовой информации, какими впоследствии стали радио и кино, именно религия при помощи церкви, религиозных обществ и школы воздействовала на идеологическое (в том числе — нравственное) воспитание народных масс. Обязательная фиксация и легализация церковью основных вех личной жизни человека — от рождения до смерти, а также регламентация всех наиболее значительных праздничных обрядов, пищи и т. п. способствовали тому, что религия глубоко проникала в быт населения, во многих случаях закрепляя и усиливая культурно-бытовые различия между народами.

Существенным было воздействие религии и на межэтнические отношения. Она крайне затрудняла контакты между различными по своей конфессиональной принадлежности народами. При этом подобного рода трудности возникали при различиях не только по основным вероисповеданиям (например, христианству и мусульманству), но и по их «внутренним» вариантам (например, православная, католическая и протестантские церкви внутри христианства). В тех же случаях, когда конфессиональные особенности делили отдельные народы на части, это создавало препятствия для процессов внутриэтнической консолидации. Вместе с тем отмеченное у народов, исповедующих одну и ту же религию, некоторое сближение, например, в обрядово-бытовом отношении, было довольно поверхностным, не затрагивающим этнического самосознания, а также традиционных норм межэтнических отношений.

К. Маркс указывал, что «религия будет исчезать в той мере, в какой будет развиваться социализм»<sup>5</sup>. История Советского Союза полностью подтвердила правильность этого предвидения.

Экономические, социальные, политические преобразования, рост культуры и образования, развитие науки, коммунистическое, в том числе атеистическое, воспитание, привели к резкому ослаблению влияния религии, что имело огромное значение для хода этнических процессов. В ряде случаев, это отчетливо проявилось в процессах внутриэтнической консолидации. Но особенно благотворно ликвидация прежней конфессиональной отчужденности сказалась на межэтнической интеграции, на процессе сближения и взаимообогащения духовной культуры народов СССР.

Чрезвычайно велико значение для национальных процессов в нашей стране, в том числе их этнических аспектов, такого важнейшего компонента общественного сознания советских людей как идеология пролетарского интернационализма. Идеология великодержавного шовинизма и буржуазного национализма во многом разоблачила себя как выражение классовых интересов эксплуататоров еще до Октябрьской революции. Однако смена ее происходила не самотеком, не автоматически, а благодаря проводимой партией идейной борьбе против различных видов

---

<sup>4</sup> См., например: М. И. Куличенко, Национальные отношения в СССР и тенденции их развития, М., 1972; «Ленинизм и национальный вопрос в современных условиях», М., 1974.

<sup>5</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Об атеизме, религии и церкви, М., 1971 стр. 470.

национализма и огромной работе по воспитанию трудящихся<sup>6</sup>. Как подчеркивает Л. И. Брежнев, «партия добилась того, что интернационализм превратился из идеала горстки коммунистов в глубокие убеждения и норму поведения миллионов советских людей всех наций и народностей. Это подлинно революционный переворот в общественном сознании, значение которого трудно переоценить»<sup>7</sup>.

Идеология, как известно, теснейшим образом взаимосвязана с общественной психологией. В советском обществе идеология и политика пролетарского интернационализма обеспечили формирование качественно новой, интернационалистической психологии. Чувства недоверия к другим народам, насаждаемые в антагонистическом обществе правящими классами и сохраняемые традицией, даже когда объективные причины для этого отсутствуют, постепенно угасали, уступая место чувствам доверия и братства между советскими народами. Ранее свойственный главным образом рабочему классу процесс формирования интернационалистических взглядов в результате победы социализма, создания идейно-политического единства советского общества распространяется в массах колхозного крестьянства, интеллигенции, всего советского народа, т. е. становится общесоветским, присущим всем классам и социальным слоям всех наций и народностей СССР.

Следует учитывать, однако, что психология более консервативна, чем идеология; прежние национально-психологические установки продолжают существовать в виде пережитков и тогда, когда вызвавшие их факторы уже сошли со сцены. «Нельзя забывать», — отмечает Л. И. Брежнев, — что националистические предрассудки, преувеличенное или извращенное проявление национальных чувств — явление чрезвычайно живучее, цепко держащееся в психологии людей, недостаточно зрелых в политическом отношении»<sup>8</sup>.

В связи с этим область национальной психологии в период становления и развития социалистических наций является ареной идейной борьбы, важной сферой воспитания. Формирование у широких масс трудящихся революционного, интернационального по своему существу марксистско-ленинского мировоззрения способствует более правильному взгляду и на национальные ценности; национальная ограниченность и этноцентризм заменяются представлением о прогрессивности сближения наций и народностей. Чувство любви к своему народу, к родной этнической территории сочетается у советских людей со все возрастающим более широким чувством принадлежности к советскому народу, с советским патриотизмом, опирающимся на прочный фундамент интернационализма, на идеи равенства и нерасторжимого единства народов нашей страны.

Для межнациональных отношений советских людей, наряду с интернационалистической идеологией, огромное значение имеет общность их установок и взглядов, сложившаяся буквально во всех сферах общественной психологии за годы Советской власти. Глубокие изменения, в частности, претерпели такие сферы общественного сознания, как мораль и правовые взгляды<sup>9</sup>; общесоветские нормы морали и права все глубже проникают в сознание народных масс. Нельзя не учитывать также наличия у советских людей общих знаний, представлений и впечатлений, полученных в ходе обучения по общей школьной программе, из художественной и научно-популярной литературы, теле- и радиопередач,

<sup>6</sup> Г. Зиманас, Политика партии и интернационалистическое сознание советского народа, «Коммунист», 1974, № 5, стр. 46—47.

<sup>7</sup> Л. И. Брежнев, О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик, М., 1972, стр. 47.

<sup>8</sup> Там же, стр. 25.

<sup>9</sup> См. Г. Зиманас, Указ. раб., стр. 49.

журналов, газет и т. п. Сходство не только задач, но и программ сети народного просвещения и высшего образования, принципиальное сходство методов работы и содержания деятельности культурно-просветительных учреждений, как и средств массовой информации на русском и национальных языках, создали не только основу, но и активно функционирующий механизм сближения культур народов СССР.

Этническое своеобразие в сфере духовной жизни, как известно, проявляется в большей степени в сфере эмоционального, а не рационального, в области чувств, а не разума. Это обстоятельство следует учитывать при рассмотрении вопроса о роли науки в современных этнических процессах. Наука как система знаний о закономерностях развития природы и общества не ограничена отдельными этносами и по своей сущности интернациональна. Некоторые научные направления, оформившиеся в конкретных странах, иногда именуют, правда, «национальными научными школами», но при этом прежде всего имеются в виду входящие в них ученые, а не сама наука; это особенно относится к естественным наукам. Национальная принадлежность ученых приобретает особое значение в тех случаях, когда они совершают выдающиеся открытия; слава их в той или иной степени распространяется на соответствующий этнос, повышая национальную гордость: поляки гордятся, например, тем, что дали миру Н. Коперника, англичане — И. Ньютона, русские — М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, и т. д. Это, несомненно, укрепляет национальное (этническое) самосознание, оказывая тем самым влияние на этнические процессы. Что же касается существа рассматриваемого нами вопроса, то большая часть естественно-научных дисциплин, особенно технические науки, сами по себе либо остаются как бы в стороне от этнических процессов, либо (что чаще бывает) оказывают в целом этно-нивелирующее влияние, способствуют межэтнической интеграции.

Усилению такого влияния науки в СССР способствовала происшедшая за годы советской власти общая ее демократизация. Если в условиях буржуазного общества достижения науки и техники объективно служили интересам правящих классов, то при социализме они стали служить интересам трудящихся масс. Бурное развитие советской науки, ускорившееся в эпоху научно-технической революции, обеспечивалось притоком в нее исследовательских кадров из самых разнообразных слоев советского общества, из различных в этническом отношении групп населения. Все это, наряду с общим подъемом уровня образования, укрепляло связи науки с широкими массами, усиливало ее роль в формировании общественного сознания. В прежде отсталых в культурном отношении национальных районах царской России выросли крупные научные центры. Наряду с Академией наук Союза ССР — ведущим научным учреждением страны — во всех союзных республиках были созданы академии наук, а в автономных республиках либо филиалы АН СССР, либо специальные институты. Превращение науки в непосредственную производительную силу, являющееся одним из выражений современной научно-технической революции, в огромной степени усиливает роль производства как фактора интернационализации общественной жизни (включая процессы усилившейся миграции населения, его этнического «перемешивания», создания многонациональных коллективов и пр.), ибо научно-техническая революция ведет к повышению уровня общественного производства, стягивает все более крепкими узами различные экономические районы и отрасли хозяйства<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> В. Ж. Келле. Пролетарский интернационализм и факторы интернационализации общественной жизни, «Вопросы философии», 1972, № 12, стр. 33.

Следует отметить, однако, несколько особую роль в интересующем нас отношении общественных, или гуманитарных наук. Имея объектом изучения общество, различные общественные явления и процессы, многие из которых выступают перед исследователем в своей национальной (этнической) форме, эти науки не могут не уделять внимания изучению национальных (этнических) явлений. В самом облике общественных наук больше национального, чем у технических или естественных. Отчасти это объясняется тем, что общественные науки сильнее связаны со сферой эмоционального; вслед за литературой они могут отразить этнические особенности восприятия окружающего мира, особенности чувств и впечатлений, входящие в сферу этнической психологии; уместно напомнить в этой связи высказывание К. Маркса и Ф. Энгельса о том, что «французы наделили английский материализм остроумием, плотью и кровью, красноречием»<sup>11</sup>.

Особо подчеркнем в рассматриваемой связи роль таких наук, как история, этнография, археология, лингвистика, фольклористика, которые в той или иной степени связаны со сферой национального самим содержанием предметов их исследования<sup>12</sup>. Накопление исторических знаний о каждом из народов Советского Союза, изучение их исторических традиций, выяснение коренных вопросов языкового развития, выявление достижений национальной культуры, осмысление этнической специфики в сфере фольклора, народного искусства, обычаев и обрядов, а также пропаганда этих знаний через школу, литературу, прессу, радио, телевидение — все это оказывало и продолжает оказывать непосредственное воздействие на этническое самосознание, способствуя его развитию путем показа этнической самобытности, обусловленной особенностями исторического развития того или иного народа, спецификой его культуры и быта. Все это сыграло немаловажную роль в процессе консолидации народов страны, в повышении степени их внутренней сплоченности и т. п. Воздействие общественных наук в данном направлении дополняется историческими, этнографическими и краеведческими музеями, которые обычно имеют специальные экспозиции, показывающие этническую самобытность населения тех или иных областей страны.

Большое влияние историко-философских наук на этническое самосознание выдвигает вместе с тем задачу неуклонной борьбы против идеализации исторического прошлого отдельных народов, одностороннего подхода к их традициям. Подобные искусственные преувеличения национально особенного неизбежно чреваты неправомерным обособлением, противопоставлением одних народов другим, что неизбежно способствует рецидивам национализма.

Вместе с тем в социалистическом обществе именно общественные науки призваны вскрывать и показывать прогрессивность процессов сближения и слияния наций, развивать идеи интернационализма в противовес скрытым и открытым идеям национализма и национальной исключительности. Так, историческая наука раскрывает древние традиции плодотворных связей между народами нашей страны, их совместное участие в ее защите от захватчиков, в революционной борьбе против царского самодержавия, за построение социализма и коммунизма. Археологическая и этнографическая науки, свидетельствуя о равной способности всех народов к культурному прогрессу, учат уважать специфические черты их культуры.

Особое значение в этом отношении имеют мировоззренческие науки, в первую очередь диалектический и исторический материализм, образующий философскую основу марксизма-ленинизма. В «Коммунистическом манифесте» и других трудах К. Маркс и Ф. Энгельс разработали основ-

<sup>11</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 2, стр. 144.

<sup>12</sup> См. Ю. В. Бромлей, Этнос и этнография, М., 1973, стр. 204 и сл.



ные принципы решения национального вопроса: интернациональное единение пролетариев всех стран, наций и рас для общей борьбы за свержение капитализма; признание равноправия народов и непримиримость ко всякому угнетению одной нации другой; подчиненность национального вопроса вопросу о пролетарской революции, общим задачам борьбы за социализм и коммунизм; поддержка национальных движений, которые направлены против реакционных сил и классов; борьба с буржуазным национализмом, разъединяющим пролетарское движение и т. д. В. И. Ленин развил эти положения марксизма, применительно к эпохе империализма и пролетарских революций, к переходному периоду от капитализма к социализму.

Опираясь на марксистско-ленинское наследие, советские обществоведы уделяют много внимания обобщению практики национального строительства в нашей стране, раскрытию руководящей роли КПСС в управлении национальными процессами. Содействуя решению управленческих задач в данной сфере, ученые-обществоведы своими трудами, посвященными анализу различных аспектов современных национальных отношений в СССР (экономических, социальных, правовых и т. д.), активно участвуют в интернациональном воспитании трудящихся. В условиях развитого социализма партия выдвигает перед всеми отраслями общественных наук задачу дальнейшего углубленного исследования различных аспектов национальных процессов в нашей стране, их тенденций и перспектив, их особенностей и темпов, факторов их оптимизации и факторов, тормозящих развитие и сближение социалистических наций и народностей.

Рассматривая отражение этнических процессов в сфере искусства и влияние самого искусства на этнические процессы, отметим, прежде всего, различие в выполнении этнических функций так называемым традиционным народным (или традиционно-бытовым) искусством (народное изобразительное искусство, устное творчество, народная музыка и т. п.) и профессиональным искусством. Заметная роль в этнических явлениях и процессах традиционно-бытового искусства обусловлена такой неперменной его чертой, как массовость, непосредственная связь с этносом. Что касается профессионального искусства, реализующегося обычно в индивидуальном художественном творчестве, то не все относящиеся к нему произведения непосредственно связаны со сферой этнического, и обычно они далеко не сразу (и опять таки отнюдь не все) получают широкое распространение внутри этноса. Между тем именно степень их распространения, наряду с направленностью содержания, является одним из необходимых условий выполнения ими этнических функций.

Профессиональное искусство за годы Советской власти в результате грандиозных социально-культурных преобразований стало достоянием самых широких масс и в настоящее время оказывает более сильное влияние на этнические процессы, чем традиционно-бытовое искусство, сфера которого постепенно сужается. Показательно, что когда пишут о расцвете национальных культур за годы Советской власти, то чаще всего имеют в виду именно области профессионального искусства (вместе с системой народного образования); их же часто имеют в виду и при рассмотрении развивающегося процесса сближения наций.

Нарисовать какую-то обобщенную картину взаимодействия искусства с этническими процессами довольно трудно. Этому мешает большое разнообразие видов искусства: одни из них (например, театр) непосредственно связаны с таким важным компонентом этноса, как язык, другие (например, музыка) не обнаруживают подобной связи; одни (например, кино) могут отразить действительность более реалистично, другие (например, балет) отражают ее в более условных формах, и т. д. Различия в «способностях» тех или иных видов искусства отражать действитель-

ность, в том числе этническую специфику в ее внешне-предметных, языково-культурных, социальных, психологических и других формах проявления, не могут не сказаться на особенностях восприятия различных видов искусства и на особенностях воздействия их на этническое самосознание. Становясь достоянием основной массы членов этнических общностей, проникая в их быт и сознание, произведения профессионального художественного творчества сами в той или иной степени включаются в культурный фонд этноса.

Для выполнения искусством этнических функций немалое значение имеет еще одно обстоятельство. Дело в том, что оно отражает действительность не всеохватывающе, а выборочно, и не в виде зеркальной копии, а в преломлении через призму особенностей характера его создателей и исполнителей, их творческих способностей и устремлений, их социальных установок. В результате этого, художественное произведение может быть посвящено как типичному, так и раритетному, как национальному, так и интернациональному; этническая специфика может быть подчеркнута или сглажена и т. д. Воздействие искусства на этнические процессы при таком отражении не только усиливается, но и характеризуется большей направленностью. Подобно общественным наукам искусство находится под сильным влиянием идеологии, в зависимости от которой оно может ускорять этнические процессы и тормозить их, может разъединять народы и сближать их и т. д. Именно поэтому становление и развитие советского искусства проходило в возглавленной нашей партией борьбе против националистических, формалистических и прочих отрицательных тенденций.

Ограничиваясь краткой характеристикой специфики взаимодействия с этносом основных видов профессионального искусства, целесообразно выделить, прежде всего, те из них, которые наиболее связаны с языково-культурными аспектами этнических процессов, уже в значительной степени освещенными в специальной литературе. К таковым относятся драматический театр, кино, а также широко распространившееся в наши дни телевидение. Эти виды зрелищного искусства особенно тесно связаны с языком и художественной литературой, часто опираются на нее; известно, что многие литературные произведения проникли в широкие массы не непосредственно, через печать, а благодаря их экранизации или театральным инсценировкам. По сравнению с театром, кино, использующее натурную и павильонную съемки, обладает несравненно большими возможностями отображения действительности в ее этнических формах; эти возможности (и в целом этнический аспект киноискусства) усилились после появления и в ходе развития звукового кино, в котором используется народная речь, часто — с ее диалектными особенностями.

К видам искусства, которые не обнаруживают прямой связи с языком и литературой и могут восприниматься аудиторией так сказать непосредственно, вне зависимости от языковой принадлежности, относятся, с одной стороны, живопись и скульптура, с другой — музыка и хореография. Музыка, обладая огромной силой эмоционального воздействия на глубинные пласты психики, занимает видное место в общественной и культурной жизни людей. Будучи генетически связана с песенным народным творчеством, музыка отражает особенностями мелодий, лада и т. п. этническую специфику почти столь же сильно, как и язык. Вместе с тем, у разных народов обнаруживаются сходные музыкальные явления, связанные как с культурными заимствованиями, так и возникшие независимо вследствие общности общественно-экономического уклада, быта, однородности природных условий и т. п.

Хореография, танцевальное искусство также восходит к весьма давним и устойчивым формам народного искусства. Анализ развития хореографии, начиная от народных танцев до сценических балетных по-

становок дает возможность выявить не только особенности традиционных танцев народов в прошлом, но и проследить пути расширения взаимосвязей хореографических культур различных локальных групп и народов.

Промежуточное положение между «языковыми» и «неязыковыми» видами искусства занимает песенно-музыкальное творчество, которое нашло свое сценическое воплощение, с одной стороны, в форме профессиональных ансамблей песни и пляски и сольных концертов, с другой — в таких довольно условных формах изображения действительности, как опера и оперетта. Впрочем, эта «условность» не мешает таким видам искусства отражать этническую специфику, в частности широко пользоваться всеми видами народного искусства. (песенно-музыкального, хореографического и др.). Локальные варианты традиционного искусства, переходя на профессиональную сцену, обычно стилизуются и, становясь достоянием широких масс, могут приобрести функции общенациональных символов.

Мы уже отмечали, что основным условием эффективного взаимовлияния профессионального искусства и этнических процессов является массовость искусства. Как известно, в канун Октябрьской революции профессиональные виды искусства у разных народов России были развиты и распространены далеко не одинаково. Так, у одних из них (например, у народов Сибири) существовали только театрализованные обрядовые зрелища, у других (например, у народов Средней Азии) имелся народный театр, у третьих (некоторые развитые народы Европейской России и Закавказья) ведущая роль принадлежала уже профессиональному театральному искусству. Наибольшим профессиональным опытом обладал русский театр, оформившийся на рубеже XVII—XVIII вв. Развитие некоторых видов искусства тормозилось религиозными запретами, например живопись и скульптура у мусульманских народов — запретом изображения людей.

Подобно тому, как ликвидация доставшейся нам в наследство от царизма массовой неграмотности и повышение уровня образования среди всех народов страны могли быть осуществлены в исторически короткие сроки лишь путем преподавания на родном языке, создания и развития национальной литературы и т. п., так и развитие профессионального искусства, являвшегося важной частью общекультурных преобразований, а главное — распространение этого искусства среди широких масс, могло быть достигнуто лишь за счет преимущественного развития его в национальных формах. Так, уже в 1920-х гг. были заложены основы театрального искусства у большинства народов, не имевших прежде своего профессионального театра<sup>13</sup>. Новые пьесы, поставленные на сценах национальных театров на родном языке, показывали многообразную жизнь советской страны. Наряду с богатством тем в драматургии утверждается разнообразие жанровых форм — от эпико-героической пьесы до психологической бытовой драмы; от публицистически заостренной сатиры до лирической комедии. Широко используются все виды и жанры народного искусства, а также особые традиционные художественные средства выражения мысли (поэтический строй речи, сценическая пластика, декорационное оформление и т. д.). Стремясь приблизить искусство к новому массовому зрителю, театры выезжали в рабочие поселки, давали представления для красноармейцев в прифронтовых районах и т. д. Вовлечение широких масс в строительство социализма вызвало рост народных талантов и расцвет самодеятельного искусства. Показательно, что в 1956 г. в СССР работало уже свыше 500 театров, дававших

<sup>13</sup> См. например: «История советского драматического театра», тт. 1—6., М., 1966—1971.

спектакли на 39 языках народов страны. В юбилейном 1972 г. пьесы ставились на 45 языках.

Во многом аналогично театру развивались за годы советской власти и другие виды профессионального искусства. Так, вслед за формированием украинского (представленного наиболее ярко творчеством А. Довженко и его школой) и грузинского кино (Н. Шенгелая и М. Чиаурели и др.) появляются другие национальные кинематографии, отражающие в своих фильмах особенности национальной культуры и быта, обычаев и нравов, природной среды и исторического развития народов<sup>14</sup>. Сравнительно несложное в техническом отношении копирование кинолент наряду с широким распространением кинопроекторных установок (включая так называемые кинопередвижки) обеспечивает каждому из фильмов многомиллионную аудиторию. Развитие телевидения еще сильнее приблизило экран к зрителю.

Интенсивно развивается профессиональное музыкальное искусство в союзных и автономных республиках страны, включая и те области, где до революции оно практически отсутствовало. На основе народных форм музыкального творчества — азербайджанских мукумов и узбекских макомов, молдавских дойн и литовских дайн, казахских и киргизских кюев и т. д. создаются оперы и балеты, оркестровые сюиты и симфонические поэмы. Растут национальные кадры музыкантов, возникают и активизируются национальные музыкальные коллективы (русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, украинская хоровая капелла «Думка» и др.). Быстро развиваются живопись и скульптура. Национализация художественных ценностей, развитие музейной и выставочной работы, доступность художественного образования для широких слоев населения — все было направлено на то, чтобы сделать художественную культуру достоянием трудящихся масс. У некоторых народов, например, у народов Средней Азии, появились малоизвестные им до революции станковая живопись, графика, скульптура, театрално-декоративное искусство. Несмотря на тематическую близость, а нередко и сходство сюжетов, в картинах мастеров различных национальных республик весьма заметно своеобразие национального восприятия действительности. Современные средства массовой репродукции (многокрасочная печать и т. д.) наряду со стационарными и передвижными художественными выставками делают профессиональные произведения национальных мастеров изобразительного искусства доступными широким массам не только в отдельных республиках, но и в масштабах всей страны.

Возросла и роль монументального искусства. Во всех союзных республиках, например, многие городские кварталы удачно оформляются произведениями монументального искусства — мозаикой, фресками, садово-парковой скульптурой, в которых нередко используются национальные мотивы (например, настенные росписи и мозаика в Грузии и Армении на темы национального фольклора)<sup>15</sup>.

Равномерное распространение всех видов «производства» профессионального искусства среди основных народов СССР сочеталось с достижением более равномерного «потребления» искусства массами за счет ускоренного роста такого потребления у ранее отстававших в этом отношении народов. В настоящее время республики СССР в основном уже выравнялись, например, по интенсивности потребления театрального искусства, характеризуемого числом посещений театров на 1000 жителей<sup>16</sup>. Материалы этносоциологического обследования, недавно проведенного в Татарии, свидетельствуют, что интерес к театральному искус-

<sup>14</sup> См.: Г. П. Ч а х и р я н, Многонациональное советское киноискусство, М., 1962; «История советского кино. 1917—1967», тт. 1—2, М., 1969—1973.

<sup>15</sup> «История советского искусства. Живопись, скульптура, графика», тт. 1—2, М., 1965—1968.

<sup>16</sup> См. «Народное хозяйство СССР в 1972 г.», М., 1973, стр. 669.

ству, несколько различаясь по профессиональным группам, в этническом плане — у русского и татарского населения республики — почти идентичен<sup>17</sup>.

Развитие и распространение профессионального искусства в его национальных формах, наряду с развитием национальной литературы и других компонентов национальной культуры, немало способствовали процессам национальной (этнической) консолидации, развернувшимся после Октябрьской революции среди народов советских республик. Вместе с тем, ни один из видов профессионального искусства не замыкался только сферой национального, а включал в себя и интернациональное, причем удельный вес последнего постепенно возрастал. Процесс этот сопровождался идеологической борьбой против националистических, формалистических и прочих негативных тенденций. Так, становление профессионального театрального искусства в союзных и автономных республиках, развитие его на новой, социалистической основе шло в борьбе с проявлениями националистических тенденций, которые нередко выражались в игнорировании демократической культуры прошлого, стремлении ограничить развитие искусства рамками омертвевших форм и традиций, попытках реставрировать реакционные элементы культуры (связанные, например, с религией), в отрицании необходимости усвоения опыта других народов. Однако деятели советской культуры преодолели эти чуждые тенденции, положив в основу развития театрального, как и других видов искусства, принцип социалистического реализма, гармонического сочетания национального с интернациональным.

Проводимая под руководством партии интернационализация всех видов искусства, развивавшихся в национальных районах нашей страны, обусловленная общими идейно-политическими основами советского общества, общими задачами коммунистического воспитания, шла по нескольким направлениям и прежде всего по линии плодотворных межнациональных контактов. Особенно большое значение имели такие контакты для становления новых видов искусства у ранее не имевших его народов, например, оперы и станковой живописи у среднеазиатских наций; молодые артисты и художники для этих областей искусства подготавливались в Москве, Ленинграде, Киеве и других культурных центрах страны; крупные деятели искусства приезжали из этих центров в республики Средней Азии для оказания непосредственной помощи на местах и т. п. Все это способствовало взаимопроникновению различных национальных традиций и стилей, взаимообогащению искусства национальных республик.

Весьма показательны судьбы национального театрального искусства, развитие которого неразрывно связано с его интернационализацией. Это прежде всего проявилось в расширении общего репертуара за счет использования как произведений мировой драматургии (пьесы В. Шекспира, Ф. Шиллера и др.), так и лучших образцов драматургии братских народов. На сценах русских театров идут пьесы украинских, белорусских и других драматургов. В свою очередь, в репертуаре национальных театральных коллективов широко представлена русская драматургия, как классическая (например, пьесы А. Н. Островского), так и современная (А. Арбузов, В. Розов и др.). Интернационализация обуславливалась и единством идейно-художественной трактовки драматургических произведений на сцене, созданием советской театральной школы актерского и режиссерского мастерства<sup>18</sup>. Важное значение для усиления межнационального обмена в области театрального искусства имело создание

<sup>17</sup> «Социальное и национальное. Опыт этносоциологических исследований по материалам Татарской АССР», М., 1973, стр. 100—104.

<sup>18</sup> См. А. Анастасьев, На 45 языках. Об интернациональной природе советского театра, М., 1972, стр. 54.

русских театров в столицах союзных и автономных республик — Киеве, Минске, Алма-Ате, Казани, Петрозаводске и др., а также проведение периодических смотров национального искусства. Систематический характер приняли гастроли ведущих республиканских театров в Москве и Ленинграде, проходившие как творческие отчеты соответствующих театральных коллективов. В свою очередь, столичные театры выезжали на гастроли в столицы и крупные города союзных и автономных республик. Эта практика сохранилась и расширилась в послевоенный период.

Еще заметнее шел процесс интернационализации в киноискусстве, что было обусловлено его большей массовостью, ориентацией на многомиллионную аудиторию. Эта массовость достигалась использованием тематики, представлявшей интерес для широких масс населения, и понятного им языка. Основным языком межнационального общения, естественно, стал русский. Кинофильмы республиканских студий либо выпускаются на русском языке, либо дублируются на него, становясь тем самым доступными инонациональным зрителям. В целом многонациональная кинематография СССР характеризуется интернационализмом мыслей и чувств, общим идейным содержанием, возникшим на почве морально-политического единства советского народа. Большинство художественных фильмов посвящено общесоветской тематике — историко-революционному прошлому страны и совместному участию народов в социалистическом строительстве. Однако это не исключает в фильмах национального колорита, отражения этнического своеобразия тех или иных групп населения страны. Имеются и фильмы, посвященные национальной тематике; например показу современной жизни отдельных народов нашей страны или их историческому прошлому. Эти фильмы знакомят зрителей той или иной национальности с жизнью других народов страны, немало способствуя тем самым воспитанию советских людей в духе интернационализма.

Межнациональные связи в области музыкальной культуры наиболее четко проступают в тех случаях, когда композиторы обращаются к музыкальному наследию других народов, подвергая его художественной обработке. Важное значение для развития интернациональных основ музыкальной культуры имеет расширение интонационного «словаря» одной национальной культуры за счет другой, освоение композиторами одной республики музыкального творчества другой республики. Именно такое взаимодействие привело к обогащению и расширению выразительных средств национальной музыки всех народов СССР, к созданию общесоветских черт в музыкальной культуре.

Одной из важнейших форм межнациональных контактов в художественной культуре стали проводившиеся в Москве в 1936—1941 гг. декады национального искусства. Во время этих декад были показаны национальные пьесы, оперы и балеты, музыкальные драмы, даны концерты музыкальных ансамблей, танцевальных и хоровых коллективов и т. п. В подготовке таких декад, получивших дальнейшее распространение в послевоенные годы, принимали участие ведущие мастера русского искусства. Это способствовало обогащению искусства братских народов передовым опытом русской культуры. Прошедший в юбилейном для СССР 1972 году Всесоюзный фестиваль драматургического и театрального искусства ярко продемонстрировал плодотворные результаты национального взаимообмена и взаимообогащения в области искусства. Показательно, что в театральном сезоне 1971/1972 гг. в репертуар театров Российской Федерации входило свыше 200 пьес, созданных драматургами других республик, в том числе пьесы А. Корнейчука (Украина), А. Макаенка (Белоруссия), О. Иоселиани (Грузия), И. Друце (Молдавия) и др. Расширению знакомства советских людей с театральным искусством различных народов нашей страны в последнее время способствовал и показ лучших спектаклей по телевидению. В результате всего

этого основные достижения многонационального советского искусства становятся общим достоянием всех народов нашей страны.

Не остается в стороне от современных этнических процессов и такая специфическая сфера художественного творчества, как декоративно-прикладное искусство, имеющее глубокие традиции у всех народов СССР. После Октябрьской революции началось выявление и возрождение местных промыслов, многие из которых находились в упадке. В настоящее время во всех союзных республиках народное искусство существует отчасти в виде домашних занятий, а главным образом в форме организованных промыслов, в большинстве своем опирающихся на традиции местного народного искусства. В РСФСР к подобным промыслам можно отнести богородскую резьбу по дереву; художественные лаки Федоскино и Палеха; хохломскую роспись; вологодское ручное кружевоплетение; ковроткачество и ювелирное искусство Дагестана; камнерезное искусство Тувы и многое другое<sup>19</sup>. Богаты традиционными промыслами и другие союзные республики. На Украине — это косовская и опошнянская керамика, решетиловские ковры, гуцульская деревянная резьба. В Белоруссии — плетеные изделия из лозы и соломки, узорные ткани и др. В республиках Закавказья к наиболее традиционным промыслам относятся художественная обработка металла, ворсовое ковроткачество, гончарство. В республиках Средней Азии и Казахстана — национальная вышивка, кошмовалание, гончарство, узорное вязание. В Туркмении — изготовление ворсовых ковров и многое другое. В Прибалтийских республиках получили широкое развитие ювелирное и гончарное производство, резьба по дереву, разнообразные виды узорного ткачества, вышивка, вязание<sup>20</sup>.

В советское время весьма успешно развиваются по существу новые направления прикладного искусства. Так, на основе традиций искусства древнерусских иконописцев в с. Палех в 1924 г. возникла артель, которая ныне известна всему миру своими шедеврами лаковой миниатюры. Новое мировоззрение, новые сюжеты из истории страны, ее современной жизни чрезвычайно обогатили не только тематическое содержание, но и само декоративное мастерство палехских художников. Вместе с тем изменения условий жизни и спроса на изделия прикладного искусства привели в ряде случаев к изменению значения отдельных видов этого искусства, или чаще — к трансформации их бытовых функций с возрастанием роли эстетических функций. Так, в Киргизии декорированные кожаные сосуды кочевых скотоводов изготавливаются в последние годы в уменьшенных размерах и пользуются значительным спросом не как бытовая утварь, а уже как сувениры.

Следует особо отметить, что в последнее время изделия народных художественных промыслов стали пользоваться в нашей стране (как и во всем мире) все более широким спросом. Во многом, это обусловлено повышением интереса все более урбанизирующегося общества к изделиям, которые разнообразят быт, заполненный массовой стандартной продукцией.

В СССР прикладное искусство развивается в постоянном взаимообогащении и взаимовлиянии культур разных народов нашей страны. Так, яркая национальная школа чеканки, развившаяся в Грузии в советское время, способствовала распространению мастерских художественной чеканки в других областях страны, особенно в РСФСР и в республиках Прибалтики. Высокоразвитое прикладное искусство Прибалтики оказало заметное влияние на мастеров других республик, особенно на тех, которые занимаются изготовлением художественной керамики, гобеле-

<sup>19</sup> См. «Художественные промыслы РСФСР. Справочник» (составители: В. Г. Смолицкий, З. С. Скавронская), М., 1973.

<sup>20</sup> См. Н. С. Королева, Развитие национальных традиций в современных художественных промыслах СССР, «Сов. этнография», 1972, № 5, стр. 39—50.

нов, ювелирных изделий. В свою очередь, художники Прибалтики испытывали заметное влияние прикладного искусства Российской Федерации. Отдельные мастера народного прикладного искусства, меняя место жительства и попадая в иную этническую среду, приносят с собой иноэтнические традиции прикладного искусства. Переезжая на жительство в другие республики, инонациональные мастера нередко осваивают местные виды прикладного искусства, включаясь в развитие традиционных народных промыслов. Так, в Туве некоторые русские мастера с успехом работают в традиционной манере тувинского народного искусства. В Якутии традиционной резьбой по кости, наряду с якутами, успешно занимаются русские мастера.

Современные изделия народных художественных промыслов, как правило, сохраняют этническую специфику, связанную с передачей традиций художественного мастерства, сложившегося в рамках соответствующего этноса. Подчас такие изделия (например, русские «матрешки») превращаются даже в своеобразные этнические символы, правда не столько внутри своей этнической общности, сколько в глазах представителей других этносов, например, туристов. Изделия народных промыслов все шире проникают в повседневный быт всех народов страны. В результате в квартире современной семьи любой национальности (особенно в городах) можно увидеть не только книги, переведенные с других языков, но и в интерьере детали, характерные для разных народов — украинскую или прибалтийскую керамику, грузинскую чеканку, узбекские или туркменские ковры, русскую вышивку и т. д. Они могут использоваться полифункционально или лишь эстетически, так или иначе способствуя процессам межэтнической интеграции.

В целом влияние на процесс сближения народов тех видов искусства, которые не связаны с языком, существенно отличается от влияния языковых форм культуры. С одной стороны, такие виды искусства могут восприниматься в иноэтнической среде непосредственно («без перевода»), с другой стороны, их восприятие тесно связано с глубинными пластами психологии, этническими традициями. Восприятие инонационального приобретает тогда оттенок экзотичности, т. е. оно оценивается по степени несхожести с привычным в своей этнической среде. Однако нарастающий обмен ценностями во всех областях культуры влечет за собой расширение и обогащение эстетических вкусов, способность воспринимать иноэтнические традиции не как что-то необычное, а как интересные варианты художественной культуры человечества. Интернационализация художественных вкусов — одно из ярких проявлений общей закономерности сближения духовной культуры народов Советского Союза.

Это сближение охватывает как традиционное, так и профессиональное искусство. Многие его традиционные виды, как уже говорилось, переживают сейчас возрождение, причем межнациональный обмен в этой области все более усиливается. Однако в общем культурном фонде советских людей, несомненно, основное место занимают профессиональные формы<sup>21</sup>. И в этой связи необходимо еще раз подчеркнуть, что национальное своеобразие современной художественной культуры народов СССР не сводится лишь к наследию прошлого, оно в значительной мере является результатом нового профессионального творчества. В то же время именно в профессиональных формах культуры межнациональное взаимопроникновение происходит в целом наиболее активно и имеет наибольшее значение для художественной культуры народов СССР.

Процесс интернационализации охватывает как идейную сферу многонационального советского искусства, так и тематико-сюжетные аспекты художественного творчества, а также его формы. При этом происходит не только дальнейшее взаимообогащение различных национальных

<sup>21</sup> Ю. В. Арутюнян, Указ. раб., стр. 7—8.



культур, не только увеличение числа национальных произведений, соответствующих общесоветским эстетическим критериям, но и коллективная разработка, совместное развитие интернациональных художественных форм<sup>22</sup>.

Важное значение для интеграционных процессов в сфере духовной культуры имеет научное планирование ее развития. Оно охватывает не только создание, но и распространение и потребление духовных ценностей<sup>23</sup>.

Интеграционные межэтнические процессы в сфере искусства органически сочетаются с возрастанием объема национальных художественных культур отдельных этносов. Это возрастание проявляется, с одной стороны, в увеличении у всех народов СССР общего фонда художественных произведений, с другой, — в росте масштабов потребления произведений искусства, расширении диапазона духовных запросов трудящихся. К тому же, несмотря на активный обмен в области художественной культуры, многие ее компоненты, приобретая интернациональный характер, одновременно не теряют способности сохранять национальную форму или воплощаться в более или менее выразительных национальных вариантах<sup>24</sup>. Национальное в культуре каждого этноса все более гармонично сочетается с интернациональным, и результатом такого взаимодействия является общесоветская культура.

«За полвека существования СССР,— говорит Л. И. Брежнев,— у нас сложилась и расцвела единая по духу и по своему принципиальному содержанию советская социалистическая культура. Эта культура включает в себя наиболее ценные черты и традиции культуры и быта каждого из народов нашей Родины. В то же время любая из советских национальных культур питается не только из собственных родников, но и черпает из духовного богатства других братских народов и со своей стороны оказывает на них благотворное влияние, обогащает их»<sup>25</sup>.

В этой межэтнической интеграции культуры немалая роль, как мы могли еще раз убедиться, принадлежит искусству. Тем самым определяется значение его исследования и для понимания современных этнических процессов. Необходимо лишь при этом не забывать, что для выявления собственно этнических аспектов проблемы существенно изучение не столько «творческого» (что является задачей главным образом искусствоведов) сколько «потребительского» уровня художественной культуры, ее проникновения в массы. В данной связи перед советской наукой встает ряд задач. В решении одних из них, связанных с выяснением степени массовости усвоения национального и интернационального в различных видах искусства, уже делаются первые шаги; решение других, связанных, например, с познанием механизма влияния различных видов и отдельных произведений искусства на этническое самосознание, межнациональные контакты и т. д.— является в значительной мере делом будущего. И главную роль в этом, на наш взгляд, призваны сыграть этнографическая наука и смежные с ней дисциплины.

<sup>22</sup> Ю. Суровцев, К проблеме интернационализации в художественной культуре, «Интернациональное и национальное в искусстве», М., 1974, стр. 42—43.

<sup>23</sup> А. Арнольдov, Духовная культура — объект научного управления, «Коммунист», 1973, № 16, стр. 107—108.

<sup>24</sup> См. К. В. Чистов, Указ. раб., стр. 81.

<sup>25</sup> Л. И. Брежнев, О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических республик, стр. 21.

**TOWARDS THE STUDY OF PRESENT-DAY ETHNIC PROCESSES  
IN THE SPHERE OF THE INTELLECTUAL  
CULTURE OF THE SOVIET PEOPLES**

The article deals with present day ethnic processes in those fields of intellectual culture (scientific research and professional art) which, in spite of their continuously increasing role in these processes, have hitherto failed to attract sufficient attention of ethnographers. The authors note the inherently international nature of science as such, stressing at the same time the specific character of the social sciences which may, in following ideological considerations, exert substantial influence over ethnic self-consciousness and ethnic processes. Of great interest is the interaction between ethnic processes and the various arts (the theatre, the cinema, music, painting, etc.); professional art has relegated traditional popular art to the background. The article shows that the national aspects in the culture of each ethnos combines with the international aspects in an increasingly harmonious way; this interaction results in the development of a united Soviet culture.

---

**Н. В. Юхнева**

## **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ РАБОЧИХ КАК ПРЕДМЕТ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ**

### **I**

1. Быт и культура рабочих, их семейная и общественная жизнь, фольклор стали в настоящее время общепризнанным объектом этнографической науки. Однако до сегодняшнего дня остается дискуссионным вопрос о возможности и необходимости этнографического изучения производственной жизни рабочих.

Традиционная этнографическая наука при исследовании развитых наций интересовалась только крестьянством, при этом не вызывала сомнений необходимость этнографического изучения не только производственного быта, но и собственно производства (вплоть до детального описания сельскохозяйственных орудий и процессов труда). Традиционная крестьянское сельское производство (так же как и кустарное) всегда справедливо считалось одной из составных частей культуры народа, а его особенности — естественными элементами этнической характеристики. Такое производство, не отделенное ни пространственно, ни во времени, ни по трудовым связям от семьи и семейного быта, само являлось частью быта.

Производственная жизнь рабочих отделена от домашней и семейной (в противоположность крестьянской — не только в настоящем, но и в прошлом). Тем не менее, она — неотъемлемая составная часть образа жизни, быта, и уже поэтому должна быть объектом изучения этнографии. Несомненно также, что особенности производственной жизни рабочих зависят от традиций, свойственных разным национальным, локальным или профессиональным группам. Производственная жизнь рабочих разных стран до настоящего времени имеет свои особенности, сравнительное исследование которых может дать дополнительные штрихи к этническим характеристикам.

2. Еще в 20-ые годы советские этнографы ставили вопрос о необходимости изучения производственной жизни рабочих, что нашло отражение в ряде программ, вышедших на рубеже 20—30-х годов небольшими тиражами в местных издательствах. Так, программа, изданная в Костроме, уделяет большое внимание<sup>1</sup> разделению рабочих на группы по степени квалификации и профессиям, а также взаимоотношению между этими группами. Особенно существенным считается различие между потомственными рабочими и выходцами из крестьян. Обращено внимание на взаимоотношения между рабочими разных национальностей, между женщинами-работницами и мужчинами, между рабочими и администрацией. Наряду с этим выясняется отношение к работе. Отдых во

---

<sup>1</sup> «Программа по изучению быта рабочих» (Составители Л. Китицина и В. Смирнов), Кострома, 1929.

время работы, принятие пищи в течение рабочего дня, рабочая одежда, профессиональные заболевания также нашли свое отражение в программе. Важное значение придается фольклору и так называемому языку труда.

Другая программа («Производство и быт», автор — М. Советов)<sup>2</sup> также уделяет большое внимание языку труда и производственному фольклору. Наряду с этим в ней предлагается выяснить степень сохранения костюма, особенностей говора, фольклора своей местности у рабочих — выходцев из крестьян. В программе содержатся вопросы об условиях найма, производственной одежде, а также о самом производстве (рекомендуется описывать орудия труда и процесс производства, сырье и изготавливаемую продукцию, характеризовать профессиональную квалификацию рабочих).

Программа, посвященная бурлакам (автор — Ф. Родин), этой весьма своеобразной группе рабочего класса, включает много специальных вопросов, связанных, в частности, с артельной организацией. В ней обращается также внимание на специфическую для бурлаков систему ценностей (как понималась честь, в чем усматривалось бесчестье, были ли в почете или пренебрежении хитрость, ложь и т. п.), а также на психологические черты, наиболее присущие данной группе рабочих. О необходимости изучать производственный быт (по преимуществу его социальные аспекты) говорится также в белорусской программе<sup>3</sup>.

Программы конца 20-х — начала 30-х годов, еще не совершенные, без достаточно ясных теоретических позиций и, к сожалению, почти не реализованные в свое время, содержали в зародыше то, чем этнографы начнут заниматься только спустя несколько десятилетий.

3. За последнюю четверть века учеными разных стран проделана немалая работа по исследованию многих сторон производственной жизни рабочих. Изучается производственная жизнь горняков (в ГДР, ФРГ, ПНР, ЧССР, СССР), металлургов (в СССР), лесных рабочих (в ГДР, ПНР, СССР)<sup>4</sup>. Несмотря на это, теоретические вопросы изучения производственной жизни рабочих в рамках этнографической науки обсуждались недостаточно. До сих пор нет единства в употреблении термина «производственная жизнь». Во многих работах советских авторов идет речь о «производственном быте». Однако определение самого понятия в этих исследованиях не дается, поэтому ученые вкладывают в него разный смысл.

Единственная книга, в которой содержится как теоретическое обоснование необходимости этнографического изучения производственной жизни, так и его определение — это коллективное исследование этнографов Петрозаводска, посвященное рабочим лесной промышленности (автор раздела о производственной жизни — В. В. Пименов). Поскольку это определение до сих пор остается единственным и, на наш взгляд, является довольно удачным, хотя и требует дальнейшего уточнения и совершенствования, мы приведем его полностью: «Под производственным бытом мы подразумеваем: во-первых, характерные производственные навыки, необходимые рабочим для пользования орудиями труда и эксплуатации средств производства, а также способы приобретения этих навыков; во-вторых, формы организации труда; в третьих, бытовые условия труда (производственно-защитная одежда, медицинское и культурное обслуживание рабочих на производстве, организация питания и

<sup>2</sup> «Программы этнографического изучения производства. I. Производство и быт. Обследование предприятий. 2. Бурлачество по Волге и др. рекам. Составлено М. Советовым и Ф. Родиным», с. а.

<sup>3</sup> В. Касьярович, Вывучэнне быту рабочых, «Наш край», 1930, № 1.

<sup>4</sup> В настоящей статье не ставится задача дать обзор всех этих исследований. Отдельные примеры указаны в последующих сносках.

прочее) и, в-четвертых, устойчивые формы поведения рабочих на производстве»<sup>5</sup>.

4. Используя опыт как советских, так и зарубежных исследователей, а также опираясь на практику собственной полевой работы в составе коллектива, изучавшего быт и культуру уральских рабочих<sup>6</sup>, я попытаюсь изложить свое понимание предмета.

Прежде всего, термин «производственная жизнь», как более широкий, кажется мне предпочтительнее, чем «производственный быт». Они соотносятся друг с другом как «образ жизни» и «быт». В связи с этим хочется сказать несколько слов в защиту термина «образ жизни». В последнее время его почти вытеснил из этнографической литературы термин «быт», хотя эти понятия и не равнозначны («быт» — составная часть «образа жизни»). Среди ученых пока нет еще единого мнения, что понимать под бытом, но этнографы, как будто, сошлись на том, что бытовая сторона есть во всех явлениях жизни человеческого общества, в том числе и в производственной деятельности. Так что предмет дискуссии не в этом, а в том, подлежит ли изучению этнографии что-либо еще, кроме одежды и пищи («быта» в узком смысле) на производстве. Ниже я попытаюсь показать, насколько широк круг вопросов, относящихся к производственной жизни (в данной статье исчерпаны не все вопросы). Вот тут-то и приходится вспомнить «образ жизни», составной частью которого является трудовая деятельность. Этнографическому изучению подлежит производственная жизнь, как компонент образа жизни, а не только производственный быт, как компонент быта.

*Под производственной жизнью я понимаю все виды взаимоотношений людей на производстве<sup>7</sup> с окружающей их материальной средой и между собой, а также отражение того и другого в сознании.* Производственная жизнь — это, во-первых, материальная сторона труда: производственная среда, орудия труда и способы работы, бытовые условия труда (одежда, питание во время работы и т. п.). Это, во-вторых, обстоятельства, характеризующие труд как социальное явление: пути формирования изучаемой группы рабочих, ее внутренняя дифференциация, взаимоотношения между людьми в процессе производства, приобретение профессии, отношение к труду, взаимовлияние производственной и домашней жизни, а также устойчивые формы поведения и связанная с производством общественная деятельность. И, в-третьих, производственная жизнь включает некоторые элементы духовной культуры — профессиональные обычаи, традиции, производственный фольклор, систему ценностей, связанную с производством.

<sup>5</sup> «Верхний Олонец — поселок лесорубов. Опыт этнографического описания», М.—Л., 1964, стр. 9—10.

<sup>6</sup> Н. В. Юхнева, Доменщики Нижнего Тагила. Опыт описания производственной жизни рабочих крупного промышленного предприятия, «Рабочий класс СССР на современном этапе», Л., 1968; ее же, К вопросу об удовлетворенности работой рабочих-горняков Урала (по материалам анкетного обследования), «Тезисы докладов годичной научной сессии», Л., 1968, ее же, Производственная жизнь рабочих как предмет этнографического изучения, «Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР», Л., 1971; ее же, Традиционные способы труда при добыче железной руды в Нижнем Тагиле в первой четверти XX в., «Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР», Л., 1972; В. Ю. Крупянская, Н. В. Юхнева, Из опыта этнографического изучения быта уральских рабочих, «Тезисы. XV научная конференция государственного этнографического музея Эстонской ССР», Тарту, 1973; и х же, Методологические и методические проблемы этнографического изучения современного рабочего класса, «Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР, 1972—1973», Л., 1974.

<sup>7</sup> Не следует смешивать с производственными отношениями, категорией социально-экономической.

*К материальным условиям труда относятся производственная среда, орудия труда и способы работы, в значительной мере бытовые условия труда.*

1. В понятие производственной среды входит характер пространства, в котором осуществляется процесс производства. Это может быть либо естественная среда (как у лесных рабочих), либо естественная среда с элементами искусственной организации (как у шахтеров), либо полностью искусственная среда (как у всех вообще промышленных рабочих). Различные виды производственной среды требуют разных форм адаптации, оказывают влияние на одежду, питание во время работы, способ поведения, характер использования производственного досуга (перерывов в работе), формируют профессиональные особенности характера.

До сих пор внимание исследователей производственной жизни сосредоточивалось главным образом на тех группах рабочих, которые работают в естественной или полуестественной среде. Это горняки, рабочие каменоломен, лесорубы, сплавщики леса. Преимущественное внимание к производственной жизни рабочих этих профессий среди других причин вызвано и тем, что у них формы адаптации к производственной среде долгое время носили традиционный характер, передавались из поколения в поколение.

2. Большой интерес для этнографа представляет изучение традиционных орудий и способов труда. Традиционные орудия, изготавливаемые в соответствии с навыками и представлениями, усвоенными от предшествующих поколений, и передаваемые по наследству способы труда являются элементами народной культуры и требуют к себе самого пристального внимания — описания, классификации, картографирования, фиксации связанной с производством народной терминологии.

Примером изучения традиционных орудий и способов труда в горном деле может служить исследование М. Янотки, проведенное на материале Остравско-Карвинского угольного бассейна в Чехословакии<sup>8</sup>.

Автор реконструирует комплексы горняцких инструментов с XVI по XX вв., показывая развитие их во времени и характеризуя способы работы.

Я. Паткова в своей работе, посвященной производственной жизни горняков словацкой деревни Жакаровце, уделяет большое внимание изучению традиционных способов труда. Ею подробно описан трудовой процесс по технологическим этапам, исследована организация труда, прослеживается постепенный переход орудий труда из собственности рабочих в собственность предпринимателей<sup>9</sup>.

Монография этнографов из ГДР Х. Вильсдорфа, В. Хермана и К. Лёфлера посвящена истории техники лесозаготовок и сплава<sup>10</sup>. В работе М. Шобера, дающей всестороннюю монографическую характеристику культуры и быта лесных рабочих — сорбов, большое внимание уделено производству: характеризуются рубка леса и другие виды лесных работ, даны рисунки и описания инструментов и способов их употребления с XVI по XX в.<sup>11</sup> Внимание этнографов ГДР привлекли также рабочие каменоломен. Так, исследование О. Швера о саксонских гранитниках полностью построено на анализе производственной жизни, с подробным описанием процессов труда<sup>12</sup>. Среди известных мне польских

<sup>8</sup> M. Janotka, Rukodelná práce a nářadí v dolech Ostravsko-Karvinského revíru v 19. století, «Česky Lid», 1969, № 5.

<sup>9</sup> «Banická dědina Zakarowce», Bratislava, 1956.

<sup>10</sup> H. Wilsdorf, W. Herrmann, K. Löffler, Bergbau. Wald. Flosse, «Kultur und Technik», D., 28, Berlin, 1960.

<sup>11</sup> M. Schöber, Arbeits- und Lebensverhältnisse der Waldarbeiter in Elbsandsteingebirge, Teil 1, «Lëtopis», 1971, C. 14.

<sup>12</sup> O. Schwär, Lausitzer Graniter. Von den Steinarbeitern der Oberlausitz. Ein Beitrag zu einer Arbeitervolkskunde, Dresden, 1964.

исследований наиболее полно освещено традиционное производство в работе М. Мисиньской о сплавщиках <sup>13</sup>.

В СССР изучение инструментов и способов труда рабочих конца XIX — начала XX в. было предпринято историко-бытовыми экспедициями Государственного исторического музея. Ими собраны и описаны инструменты шахтеров Донбаса, клепальщиков и разметчиков Сормова <sup>14</sup>. Позднее инструменты и способы труда карельских лесорубов изучались В. В. Пименовым <sup>15</sup>, тагильских горняков — автором этих строк <sup>16</sup>.

3. По сравнению с другими сторонами производственной жизни собственно бытовые условия труда являются наиболее признанным объектом этнографических исследований, во всяком случае среди советских этнографов. Основные компоненты их — рабочая одежда и организация питания на производстве.

Одежда, в которой работают — это в некоторых случаях та же повседневная одежда, но для работы используются определенные ее виды. Чем более специфична производственная среда, чем сильнее она отличается от обычной жизненной среды, тем больше необходимость в особом костюме для работы. В прошлом производственную одежду носили рабочие, занятые на подземных работах, рыбаки, а в современных условиях почти все рабочие. В некоторых случаях производственная одежда или, чаще, отдельные ее элементы имеют не столько утилитарный характер, сколько служат отличительным признаком группы. Эта функция наиболее ярко выражена в парадной профессиональной одежде. Такая традиция идет от средневековых цехов, поэтому парадная профессиональная одежда встречается, прежде всего у профессиональных групп, сформировавшихся еще в средние века. Они обычно отличаются высокой степенью сплоченности и сознанием своей профессиональной общности. Таковы, например, горняки в странах Центральной и Западной Европы. В исследованиях, предметом которых является производственная жизнь, обычно дается описание и производственной одежды. Одежде немецких горняков XVIII в. посвящена специальная монография, в которой авторы останавливаются как на собственно рабочей, так и, в особенности, на парадной шахтерской одежде <sup>17</sup>.

Характер питания рабочих на производстве зависит не только от семейных традиций, но в значительной степени и от профессиональных особенностей труда. Так, например, работа в горячих цехах связана с большой потерей организмом воды и солей, поэтому специфической особенностью обеда рабочих таких цехов является потребление большого количества жидких блюд и почти непременно включение в состав обеда какой-либо соленой закуски. При этом формирующиеся на производстве привычки и вкусы проявляются и дома; они передаются членам семьи, не связанным с этим производством, и становятся особенностью семейного быта. Другим примером влияния производства на привычки людей может служить отмеченное С. М. Абрамзоном широкое распространение среди киргизских и русских шахтеров г. Кызыл-Кия в Киргизии жевание табака (в условиях угольной шахты, где нельзя зажигать огонь, это заменяло им курение) <sup>18</sup>.

<sup>13</sup> M. Misińska, *Tradycyny splaw drewna w Polsce (druga polowowa XIX wiek XX)*, Lodz, 1962.

<sup>14</sup> А. Б. Закс, Труд и быт рабочих Донбасса, «Историко-бытовые экспедиции» 1951—1953 гг., Труды Государственного исторического музея, М., 1955.

<sup>15</sup> В. В. Пименов, Производственный быт лесорубов Карелии, «Сов. этнография», 1963, № 1; «Верхний Олонец — поселок лесорубов», гл. I.

<sup>16</sup> Н. В. Юнчева, Традиционные способы труда при добыче железной руды в Нижнем Тагиле в первой четверти XX вв.

<sup>17</sup> K.-E. Fritzsche, F. Siber, *Bergmannische Trachten des 18. Jahrhunderts im Erzgebirge und im Mansfeldischen*, Berlin, 1957.

<sup>18</sup> С. М. Абрамзон, Прошлое и настоящее киргизских шахтеров Кызыл-Кия, «Сов. этнография», 1954, № 4, стр. 63—64.

В бытовые условия труда существенной составной частью входит режим работы, поэтому представляется уместным сказать о нем именно здесь, несмотря на то, что режим работы, строго говоря, нельзя отнести к собственно материальным условиям производственной жизни. Предметом исследования может быть соотношение номинального и реального рабочего времени, перерывы в работе, способы их проведения, а также сменность, ее влияние на быт семьи, отношение рабочих к распределению рабочего времени. В той или иной степени эти вопросы затрагиваются многими исследователями производственной жизни. Исключительно рабочему времени посвящено исследование, проведенное учеными ФРГ Р. Брауном, О. Нейлохом и Э. Вернером<sup>19</sup>. Оно содержит скрупулезный анализ одной из характерных особенностей многих современных предприятий с непрерывным циклом производства — скользящего графика и его отражения в производственном и домашнем быту.

### III

*Социально-профессиональная сторона производственной жизни в целом — это взаимоотношения, возникающие между людьми в процессе производства или в связи с ним.* Надо, однако, сказать, что разделение материальной и социальной сторон труда в значительной мере условно и должно служить только большей ясности изложения, потому что в реальной действительности резкую границу между ними провести нельзя. Социальный аспект должен всегда иметься в виду и при изучении материальной стороны труда.

1. Собственно социальная сторона начинается с вопроса о формировании изучаемой группы рабочих. Формы производственной жизни складываются в тесной зависимости от путей сложения производственной общности. Рассмотрим два крайних, противоположных случая.

Путь первый. На данном месте издавна существовал соответствующий промысел, профессия передавалась по наследству, с расширением производства рабочие кадры пополнялись за счет окрестного населения. Так складывалось население горнозаводских поселков и возникших на их основе городов, а также поселений, промышленность которых выросла из местных кустарных промыслов. При таком типе формирования рабочей общности ее культура складывалась на основе местной крестьянской культуры под влиянием меняющихся социальных и производственных условий. В производственной жизни долго сохранялись многие традиционные черты, — в материальной стороне производства, в формах организации труда, в профессиональных навыках, привычках, обычаях.

Путь второй. Рабочие рекрутируются из разных по происхождению групп, причем ни одна из них не связана традиционно с тем производством, в которое они теперь включаются. В этом случае культура вновь возникающей общности складывается в результате смешения, взаимовлияния различных этнических или локальных культур. Вследствие же отсутствия в этих культурах профессиональных традиций, в производственной жизни преобладающими становятся компоненты, являющиеся функцией производства.

Вопросы формирования различных групп рабочего класса в настоящее время привлекают самое пристальное внимание и историков, и этнографов; без анализа их не обходится почти ни одно исследование, посвященное рабочим нашей страны. Однако влияние этих процессов на производственную жизнь пока еще не исследовалось.

2. Одним из обстоятельств, раскрывающих социально-профессиональную сторону производственной жизни, является дифференциация

<sup>19</sup> R. Braun, O. Neiloch, E. Werner, Die durchlaufende Arbeitsweise, Tübingen, 1961.



производственного коллектива по культурно-бытовым особенностям. При ее анализе следует различать (а) деление, производимое исследователем в аналитических целях, (б) объективно существующие культурно-бытовые особенности и (в) субъективно осознаваемое разделение коллектива на группы, каждая из которых обладает в той или иной мере внутренним самосознанием. Так, исследователь делит рабочих на группы, используя при этом реально существующие, но не во всех ситуациях одинаково значимые факторы — национальную принадлежность, место рождения, социальное происхождение, профессию и т. п. Некоторым из этих факторов в определенных условиях могут сопутствовать и культурно-бытовые особенности. Но даже существование культурно-бытовых различий между рабочими далеко не всегда нарушает целостность рабочего коллектива, не всегда влечет за собой выделение внутри него более мелких групп. Последние возникают только в том случае, если обладают самосознанием, т. е. если члены группы сознают свою схожесть и единство и противопоставляют себя другим. Причем, своей «особенностью» либо гордятся и хотят ее закрепить, либо она тяготит и от нее не прочь избавиться. Надо также сказать, что причиной создания групп внутри рабочего коллектива иногда могут быть только предрассудки и бытующие в сознании стереотипы при отсутствии реальных культурно-бытовых различий.

Дифференциация рабочего коллектива, проявляющаяся в производственной жизни, может быть основана на различиях, возникших и существующих как на производстве, так и вне его.

Дифференциация чисто производственного происхождения возникает, если представители определенных профессий четко сознают свою общность, и производственная дифференциация социально-профессиональных групп складывается в сознании рабочих в стройную иерархическую систему. Пример удачного анализа такой ситуации находим в работе Д. Добровольской. Социально-профессиональная структура рабочего коллектива анализируется ею в аспекте ценностной ориентации. Все должности в сознании рабочих соляных копей Велички располагались в строгой иерархической последовательности, каждая обладала определенным престижем. Эти представления были весьма устойчивы на рубеже XIX и XX веков<sup>20</sup>. Замкнутую группу на многих предприятиях дореволюционной России составляли представители так называемой рабочей аристократии, о которой В. И. Ленин писал, что она отличается определенным образом жизни и мировосприятием<sup>21</sup>. В качестве примера можно привести машинистов на железной дороге, находившихся в привилегированном по сравнению с другими рабочими положении; форменная одежда и вошедшая в привычку манера поведения подчеркивали это особое положение.

Дифференциация производственного коллектива может быть основана, как уже говорилось, и на делении, возникшем и существующем вне производства. Таковы деления по национальности, месту рождения, социальному происхождению. Эти различия могут с большей или меньшей остротой ощущаться и в производственной жизни в зависимости от конкретных условий. Так, если в рабочий коллектив, сформировавшийся по первому типу (см. раздел III. 1), отличающийся обычно высокой степенью сплоченности и сознания своей общности, а также недостатком опыта контактов с чужими людьми, попадает группа приезжих, тем более из отдаленных краев, эти две группы некоторое время противопоставляют себя друг другу. Так было, например, в Нижнем Тагиле, когда в начале индустриализации в среду горняков, привыкших из поколения

<sup>20</sup> D. Dobrowolska, *Górnicy salinarni Wieliczki w latach 1800—1939*, «Prace Komisji socjologicznej», 1965, № 4.

<sup>21</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 27, стр. 308.

в поколение работать в окружении своих соседей и родственников, влились в большое количество новые рабочие, приехавшие из деревень. На первых порах взаимоотношение между местными и приезжими было настолько серьезным, что администрации приходилось даже создавать отдельные бригады для тех и других. Среди рабочих соляных копей Велички в Польше разница в происхождении (городские — сельские) приводила к известному антагонизму, причину которого Д. Добровольская видит в бытовании стереотипов: в умах горожан сложился стереотип сельского жителя, живущего собственным хозяйством и работающего якобы только из стремления к излишества; сельские же рабочие завидовали хорошим профессиям и более высокому положению, занимаемому городскими рабочими на производстве, их внешнему лоску (стереотип человека с легкой работой и хорошим заработком)<sup>22</sup>. Еще более сложными и противоречивыми могли быть отношения между группами рабочих различной национальной принадлежности.

Воздействие отношений на производстве на дифференциацию рабочих, возникающую вне производства, может быть различным. Они могут оказывать сглаживающее влияние. Так, совместная работа местных с приезжими постепенно ликвидирует различия и противоречия между ними. Постоянные контакты в производственных условиях сближают представителей разных национальностей. Это переносится и во внепроизводственную сферу. С другой стороны, возможна и такая ситуация, когда отношения на производстве усиливают и обостряют существующую вне производства дифференциацию. Это происходит, например, когда местные, потомственные рабочие вследствие своей традиционной квалификации занимают более высокие должности на производстве, а приезжие, деревенские, не имеющие традиционных навыков, вынуждены заниматься черной работой. Так было в Нижнем Тагиле в начале индустриализации. Если бы приезжие не получали возможности производственного продвижения, антагонизм мог бы закрепиться, но поскольку они свободно овладевали исконно «тагильскими» профессиями, не прошло и десяти лет, как от былой неприязни не осталось и следа. Нередки были случаи, когда в прошлом профессии закреплялись за определенными национальностями и таким образом профессиональная дифференциация совпадала с национальной и усиливала ее.

3. Важный для этнографа аспект социально-профессиональной характеристики производственной жизни — взаимосвязь отношений на производстве, дома и в семье.

Эта взаимосвязь в большой степени зависит от особенностей размещения предприятия по отношению к месту жительства рабочих. Широко распространено в настоящее время в разных странах положение, когда рабочие живут вместе с семьей в одном населенном пункте, а работают в другом, что приводит к так называемой маятниковой миграции. Производственная жизнь в таком случае максимально отделена от семейной, домашней. Если при этом рабочий живет в деревне, а работает в городе, имеет место конфронтация (наряду, разумеется, с взаимовлиянием) культур. Взаимодействие особенно ярко проявляется, если место жительства и место работы находятся в различных национальных средах.

Другой тип соотношения производственной, домашней и семейной жизни наблюдается, когда рабочий живет и работает в одном населенном пункте, а его семья — в другом. Такой рабочий в своей повседневной жизни совсем оторван от семьи, а в общегитии при предприятии, где он обычно живет, складывается особый домашний быт, самым тесным образом связанный с производством. Связь эта выражается как в подчиненном производству распорядке времени, так и, главным обра-

<sup>22</sup> D. Dobrowolska, Указ. раб., гл. 8.

зом, в совпадении производственной и домашней систем отношений между людьми. В прошлом рабочие иногда жили даже не в общежитиях-казармах, а в самих производственных помещениях. Это было обычным явлением в ремесленных мастерских, а подчас встречалось и на предприятиях, выросших из таких мастерских. «Домашняя» жизнь в этом случае настолько сливалась с производственной, что уже переставала заслуживать названия домашней. Примером тесного переплетения производственной и «домашней» жизни в прошлом были артели — в том случае, когда трудовая (производственная) артель являлась одновременно и потребительской.

Особый тип тесных взаимосвязей производственной жизни с семейной имел место в монопромышленных поселениях, расположенных вокруг предприятий. Такой характер носили обычно горнозаводские поселки и города, возникновение которых было связано с месторождениями полезных ископаемых, а также города, выросшие из деревень с развитым кустарным производством, послужившим основой для промышленного предприятия. Для таких городов и поселков характерно подчинение ритма домашней жизни производственному ритму, наследование профессий, переплетение соседских и производственных связей, в некоторых случаях — широкое использование производственных навыков в домашнем быту, а при промышленном производстве, возникшем на основе кустарного, — и сохранение остатков последнего в семьях некоторых рабочих. Этот тип поселений, представляющих чисто производственные сообщества, наиболее изучен<sup>23</sup>.

При рассеянном жительстве рабочих в городе, характерном для большинства современных, в особенности больших городов, домашняя и производственная жизнь максимально обособлены, тем не менее влияние производственной жизни на семейную ощущается и здесь: ритм работы влияет на ритм жизни семьи, работа в ночную смену, связанная с необходимостью спать днем, заставляет предъявлять повышенные требования к размеру квартиры. От характера труда зависят наиболее излюбленные формы проведения досуга, дружеские связи часто совпадают с производственными; на производстве завязываются знакомства, приводящие к заключению брака.

Любопытный вид связи производственных и семейных форм был обнаружен В. Ю. Крупянской у горнозаводских рабочих Урала. В конце XIX — начале XX в. для рабочих Нижнего Тагила была характерна малая семья. Между тем среди определенных профессий — коннозавойщиков на железном руднике и подрядчиков, бравших на металлургическом заводе подряды на погрузку руды, — вплоть до 20-х гг. XX в. были широко распространены большие неразделенные семьи, что было вызвано производственными интересами. Даже в тех случаях, когда в быту семья делилась, она продолжала функционировать на производстве в виде своеобразной семейно-трудовой кооперации, работали совместно отец с женатыми сыновьями или несколько братьев<sup>24</sup>.

Среди разных форм влияния отношений на производстве на семейные можно отметить и такую — работа женщин и молодежи на производстве ведет к росту их самостоятельности и престижа также в семье. Д. Добровольская полагает, что возможно и обратное влияние. Взаимоотношения молодых и старых рабочих на производстве она связывает

<sup>23</sup> См., например, В. Ю. Крупянская, Н. С. Полищук, Культура и быт рабочих горно-заводского Урала (конец XIX — начало XX в.). М., 1971; «Banická dědina Zakarowce», «Kladensko. Život lidu v průmyslové oblasti», Praha, 1959; K. Fojtík, C. Sirovatka, Rosicko-Oslavansko, Života kultura lidu v kamenouhelném revíru, Praha, 1961; D. Dobrowolska, Указ, раб., «Prace Komisji socjologicznej», 1965, № 4.

<sup>24</sup> В. Ю. Крупянская, Н. С. Полищук, Указ, раб., стр. 48—49.

с внутрисемейным статусом: рост самостоятельности молодежи в семье ведет, по ее мнению, к падению авторитета старших на работе<sup>25</sup>.

4. Приобретение профессии, отношение к труду, удовлетворенность работой также входят в характеристику социально-профессиональной стороны производственной жизни.

Роль семьи в профессионализации молодежи в рабочей среде выражается главным образом в наследственности профессий, характерной для монопромышленных городов и поселков, а в прошлом — и для центров многоотраслевой промышленности. В настоящее время эта роль сужается до большего или меньшего влияния семьи на выбор профессии. В отличие от крестьян у рабочих даже традиционные трудовые навыки по мере приближения к настоящему времени передаются от поколения к поколению не в семье, а на самом производстве. Для этнографа представляет также интерес выяснение национальных и локальных различий в отношении к разным профессиям, в их престижности.

Профессиональная гордость, добросовестность, дисциплина на производстве и т. д. отражают отношение к труду. С ним тесно связана и степень удовлетворенности работой. Последнее явление широко изучают социологи, но оно не может не интересовать и этнографов. Ведь удовлетворенность работой зависит не только от условий труда и особенностей профессии, но и от внутренней ценностной ориентации, которая, в свою очередь, обусловлена существующими установками и традициями, свойственными национальным, локальным или профессиональным группам.

5. Формы найма, организации труда и заработной платы влияют и на социальную и на бытовую сторону производственной жизни. В классовом обществе формы найма являются конкретным выражением отношений между классами.

В дореволюционной России в промышленности можно было встретить весьма разнообразные формы найма, вплоть до самых кабальных. Так, некоторая часть шахтеров попадала на шахты Донбаса в результате кабальной вербовки по деревням<sup>26</sup>. Широко бытовал также поднаем, когда между предпринимателем и рабочими стоял подрядчик. Среди различных форм организации труда внимание этнографов всегда привлекали артели, которые, с одной стороны, представляют собой наиболее традиционную форму организации производства, с другой — тесно связаны с бытом (артельщики часто жили и питались совместно). Артели в России встречались не только среди лесорубов, каменщиков, бурлаков и других подобных профессий, но и на промышленных предприятиях<sup>27</sup>.

Форма заработной платы, тесно связанная с формой организации труда, сама может воздействовать на взаимоотношения внутри рабочего коллектива. Причем это влияние при одной и той же форме оплаты может быть диаметрально противоположным. Так, коллективно-сдельная форма заработной платы чаще всего сплачивает коллектив, но иногда она же становится источником конфликтов. Причины этого бывают самые разные; могут играть роль и местные или национальные установки и традиции, а также отсутствие или наличие в группе внутреннего единства (см. раздел III. 2).

6. К производственной жизни относятся также некоторые связанные с производством виды общественной деятельности. Общественную деятельность, протекающую в рамках производственного коллектива, по функциям можно разделить следующим образом: 1) общественная деятельность, направленная на удовлетворение материальных и духовных

<sup>25</sup> D. Dobrowolska, Указ. раб., гл. 8.

<sup>26</sup> А. Б. Закс, Указ. раб., стр. 90—91.

<sup>27</sup> Там же, стр. 89—90; А. С. Морозова, Опыт изучения рабочего класса Казахстана, «Сов. этнография», 1969, № 6.

потребностей рабочего коллектива (социально-бытовая работа профсоюзной организации, цеховая или заводская художественная самодеятельность и т. д.); 2) общественная деятельность рабочих, направленная вовне: работа в органах государственного управления, разные формы шефства и т. п.; 3) общественная деятельность, непосредственно связанная с производством (партийная и профсоюзная работа, которая прямо касается производства: организация социалистического соревнования, профессиональной учебы, производственные совещания, общественные организации типа конструкторских бюро, комиссий по кадрам, группы по внедрению планов НОТ и т. п.). Строго говоря, только третий вид общественной деятельности, связанный с производством, можно отнести к производственной жизни.

Большой интерес к изучению общественной жизни на производстве характерен для советских ученых. Многие авторы, не уделяющие во внимание другим сторонам производственной жизни, подробно анализируют деятельность партийных, профсоюзных, комсомольских организаций. Так, Ш. Аннаклычев в монографии о быте и культуре рабочих Туркмении главу, названную им «производственный быт» почти целиком отводит характеристике деятельности общественных организаций<sup>28</sup>. Из зарубежных работ, касающихся этой проблемы, можно назвать книгу «Уголь — наша жизнь», целая глава которой посвящена профсоюзной работе среди английских шахтеров<sup>29</sup>.

#### IV

Относящиеся к производству *элементы духовной культуры* столь же условно отграничиваются от социальной стороны производственной жизни, как эта последняя — от материальных условий труда. Так, различные церемонии и празднества могут рассматриваться как социальные формы общения. Но, с другой стороны, в них проявляются передаваемые из поколения в поколение духовные ценности.

К производственной жизни относятся профессиональные обычаи, традиции, устойчивые формы поведения. Вот несколько примеров. В Словакии запрещалось, кроме крайних случаев, кричать в шахте и в связи с этим использовалась только световая сигнализация<sup>30</sup>. В соляных копиях Велички в Польше нельзя было свистеть и ругаться, но разрешалось петь<sup>31</sup>. Некоторые запреты, до недавнего времени бытовавшие у карельских лесорубов, были следствием старинных верований. Например, нельзя, делая перерыв в работе, оставлять топор воткнутым в дерево — он затупится и станет тяжелым, потому что им будут работать лесные черти<sup>32</sup>.

Важным элементом производственной жизни являются связанные с работой обряды. Возникшие очень давно, они продолжают иногда бытовать сравнительно долго, постепенно теряя традиционный магический и приобретая игровой или шуточный характер. Интересный обряд саксонских каменотесов описан О. Швером. Если при обработке каменный блок по невниманию портили, виновные подвергались особому штрафу — они должны были устроить торжественные похороны испорченного камня, так называемые «похороны Бернгардта» (название происходит от старинной легенды о каменотесе, который однажды разбил камень и из него появилась фигура Св. Бернгардта)<sup>33</sup>. В нашей стране на производстве возникают новые обычаи, обряды и праздники — отмеча-

<sup>28</sup> Ш. Аннаклычев, Быт и культура рабочих Туркменистана, Ашхабад, 1969.

<sup>29</sup> N. Dennis, F. Henrigues, C. Slauchter, Coal is our life, London, 1956.

<sup>30</sup> «Banická dědina Zakarowce».

<sup>31</sup> D. Dobrowolska, Указ. раб.

<sup>32</sup> «Верхний Олонец — поселок лесорубов», стр. 58.

<sup>33</sup> O. Sch w ä r, Указ. раб., стр. 66.

ются вступление в рабочий класс молодых рабочих, устраиваются торжественные проводы на пенсию заводских ветеранов и т. п.

При изучении производственной жизни особое значение имеет анализ так называемого «языка труда». Имеются в виду наименования трудовых процессов и операций, инструментов, машин, прозвища рабочих разных профессий, названия предприятий или их частей, а также связанная с процессом труда сигнальная знаковая система, например, возгласы, начинающие и заканчивающие работу или предупреждающие об опасности и т. п. Многие авторы изучали «язык труда». В частности, внимание исследователей привлекло горняцкое приветствие. Известный исследователь фольклора и культуры горняков, один из поборников этнографического изучения трудовой деятельности, Г. Хейльфурт (ФРГ) даже написал о горняцком приветствии целую книгу<sup>34</sup>. В этом своеобразном по теме и решению исследовании Хейльфурт выступает одновременно как языковед (анализ слова-формулы), фольклорист (горняцкое приветствие в произведениях фольклора), музыковед (фольклорные произведения анализируются одновременно с мелодией) и этнограф (бытовые приветствия, изображение формулы приветствия на знаменах, посуде и т. п.).

Важным компонентом духовной культуры, связанным с производством, являются некоторые произведения фольклора. Это, с одной стороны, трудовые песни, т. е. песни, непосредственно связанные с процессом труда, с другой — те фольклорные произведения, в которых так или иначе затрагивается производственная проблематика.

## V

Производственная жизнь рабочих в условиях развитой промышленности исследована этнографами недостаточно полно<sup>35</sup>. Стандартизация и унификация, затронувшие в наибольшей степени область материальной культуры, требуют при ее изучении преимущественно специализированного подхода<sup>36</sup>. Материальные условия труда, взятые сами по себе, все более и более переходят в компетенцию других наук — технологий производства, промышленной санитарии и др. Однако жизнь человека на производстве может и должна быть объектом этнографического изучения, поскольку она является частью образа жизни народа. Для этнографической проблематики существен также вопрос об этнических особенностях производственной жизни. В настоящее время этнические особенности исчезают в материальной сфере производства, но сохраняются в известной мере в трудовых приемах, поведении, сознании, психике. Однако неверно было бы думать, что чем ближе к современности, тем меньшее значение для этнографии имеет изучение производственной жизни. Как известно, «в развитых классовых обществах многие психические свойства индивида сильнее обусловлены его социально-классовой, нежели этнической принадлежностью. Следовательно нередко речь может идти не столько о психических чертах, общих для всего этноса, сколько об этнических вариантах, этнической специфике, психике отдельных социально-классовых групп»<sup>37</sup>. В этом смысле можно говорить и об этнической специфике некоторых профессиональных групп.

<sup>34</sup> G. Heilfurth, Gluckauf. Geschichte, Bedeutung und Socialkraft des Bergmannsgrusses, Essen, 1958 («Глюкауф» означает примерно — «счастливо подняться наверх»).

<sup>35</sup> Именно этим объясняется немногочисленность вполне современных примеров среди иллюстраций в тексте статьи.

<sup>36</sup> Об этом см. С. А. Токарев, О задачах этнографического изучения народов индустриальных стран, «Сов. этнография», 1967, № 5; его же, К методике этнографического изучения материальной культуры, «Сов. этнография», 1970, № 4; Ю. В. Бромлей, Этнос и этнография, М., 1973, стр. 212, 247.

<sup>37</sup> См. Ю. В. Бромлей, Указ. раб., стр. 234.

## WORKERS' PRODUCTION ACTIVITY AS AN OBJECT OF ETHNOGRAPHICAL STUDY

The working class is at present generally recognized as an object of ethnographic study. However, the question of whether it is possible and necessary that ethnography should include in its studies production activity and working conditions in industry remains a controversial one. The author supports the inclusion in such research of the whole complex of production activities and conditions regarded as a part of the workers' mode of life.

The author offers the following conception of production activity: production activity embraces every aspect of relations at the site of work, both between the men and their material environment, and between the men themselves, as well as the reflection of these relations in their minds. This conception is based upon the experience of both Soviet and foreign researches, as well as on that gained in the author's work. Thus production activity comprises, firstly, the material aspects of labour: the industrial environment, working tools and instruments, methods of production, working clothes, meals at the factory etc.; secondly, the circumstances characterizing the social aspects of work: the sources and means by which the group of workers is formed; its internal differentiation; relations between the participants in the production process; acquirement of professional skills; attitudes towards work; mutual influence between industrial and domestic life; typical forms of behaviour; social activity connected with the site of work. Thirdly and finally production activity includes certain elements of intellectual culture: professional customs, traditions, industrial folklore and values system. In the ethnographic field prominence should be given to problems of national peculiarities in production activity.

---

**Н. Л. Крылова, И. А. Сванидзе**

## **СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НАРОДОВ ЭФИОПИИ**

На протяжении многих месяцев внимание всего мира было привлечено к событиям в древнейшем государстве Тропической Африки — Эфиопии, охваченной общим кризисом отжившего свой век феодально-монархического строя. Прогрессивные, демократические силы страны выступили с требованиями глубоких социально-экономических преобразований; при этом активную роль в движении играла армия. Один кабинет министров сменялся другим. Забастовка следовала за забастовкой. Самых высокопоставленных чиновников государства, приближенных императора одного за другим предавали суду по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью. Парламент Эфиопии был распущен, действие конституции 1955 г., дававшей императору по существу абсолютную власть, приостановлено. У императора Хайле Селассие I были последовательно отняты и обращены в государственную собственность все виды недвижимости: земельные владения, фермы, предприятия, здания, гостиницы и, наконец, его 13 дворцов, содержание которых, кстати, обходилось в год в 500 тыс. эфиопских долларов. Венцом семимесячного постепенного государственного переворота явилось низложение 12 сентября 1974 г. самого Хайле Селассие, правившего в стране 44 года. К власти в Эфиопии пришло временное военное правительство в лице Временного военного административного комитета (ВВАК).

В день свержения императора ВВАК обратился по радио к эфиопскому народу, охарактеризовав мотивы и программу своих действий и положение в стране. Как сообщалось в передаче, в Уолло, Тигре и других южных провинциях Эфиопии за последние годы от голода умерло почти 100 тыс. человек, в основном крестьяне. Здесь в течение 11 лет свирепствовала невиданная в истории страны засуха; но главными причинами, вызвавшими гибель тысяч людей, были отсталость хозяйства и гнет феодалов. В то время как массы страдали от голода, безработицы, роста цен на товары первой необходимости, инфляции, привилегированная прослойка, включавшая императора, членов его семьи, старших правительственных чиновников и знать, продолжала процветать и жить в роскоши. Народ Эфиопии, который веками жил за счет земледелия, потерял все свои земли: они отошли к знати. В карманы императорской семьи и знати шли огромные суммы, собираемые в виде налогов и поборов. Лично император тайно переправил за границу миллиарды эф. долл. Как отмечали руководители ВВАК, народ Эфиопии спустя 30 с лишним лет после ухода колонизаторов по-прежнему оставался в колониальной кабале у собственных феодалов, и родина его — одна из наименее развитых стран Африки. ВВАК провозгласил религиозное, племенное и социальное равенство всех эфиопов; обещал устранить пережитки, сохраняющиеся еще в жизни общества. Комитет объявил, что поставил своей целью добиться проведения радикальной аграрной реформы и разрешил феодально-зависимым крестьянам отныне пользоваться арендуемой ими землей как своей собственной.

Перемены в Эфиопии нашли самый благоприятный отклик как в самой стране, так и за ее пределами в Африке. «Движение вооруженных



сил — это народное движение, — писала через два дня после свержения Хайле Селассие местная газета «Эфиопиэн геральд». — Создание временной военной администрации под руководством ВВАК было встречено всеми эфиопами с радостью. Для Эфиопии будущее теперь уже не представляется мрачным»<sup>1</sup>.

«Бывший император представлял феодальный порядок, который был анахронизмом в современном мире, — писала танзанийская газета «Дэйли ньюс». — Можно только приветствовать то, что такой порядок должен уступить место чему-то более динамичному и прогрессивному»<sup>2</sup>.

Революция в Эфиопии не закончена, она продолжается. Переживаемый в данный момент страной кризис феодализма при аграрном характере ее экономики делает изучение проблем сельского хозяйства Эфиопии в социальном, экономическом и этнографическом плане весьма актуальным.

История классового общества и государства в Эфиопии насчитывает тысячелетия. В начале новой эры на севере страны существовало крупное царство Аксум, которое достигло наибольшего расцвета в IV в. и пришло в упадок после VII в. В XIII—XVI вв. Эфиопия, границы которой охватывали области Амхара, Тигре, Годжам, Шоа, Камбатта и некоторые другие земли, была раннефеодальным государством, где в то же время сохранялось и рабовладение. К концу XIX в. эфиопское государство складывается в современных границах; к этому же периоду относятся и завершение формирования в стране развитого феодализма. Попытки различных европейских держав навязать Эфиопии свое колониальное господство, имевшие место в XIX — начале XX в., встретили сильный отпор и успеха не имели. За исключением непродолжительного периода итало-фашистской оккупации (1935—1941 гг.), страна никогда не была под иноземным владычеством. В этом заключается существенное отличие ее истории от истории других стран Тропической Африки, которые испытали длительный колониальный гнет империализма. И если главной причиной отсталости большинства стран Тропической Африки был колониализм, то для Эфиопии такой причиной стала архаическая социально-экономическая структура.

Эфиопия — слабо развитая аграрная страна, одна из наиболее типичных «сельскохозяйственных» стран Африки, которая в свою очередь выступает как самый аграрный из континентов. В 1969 г. доля сельского хозяйства в валовом национальном продукте Эфиопии была 55,7%, в то время как соответствующий показатель для всей Африки равнялся 26,3%<sup>3</sup>. В 1970 г. сельское население составляло в Эфиопии 84,6%, тогда как по всей Африке — 69%<sup>4</sup>. Подавляющая часть сельскохозяйственной продукции (в 1966 г. — 79% по стоимости) потребляется в деревнях крестьянами или феодалами, не достигая рынка<sup>5</sup>.

К началу событий 1974 г. в аграрном строе Эфиопии причудливо переплетались элементы частнофеодального, государственно-феодального и государственно-капиталистического, частнокапиталистического, мелко-товарного и патриархально-общинного укладов. По оценке американского экономиста Э. Латера, около 60% земельного фонда страны принадлежало императорскому дому и помещикам, 30% — господствующей православной (монофизитской) церкви и монастырям, 10% — свободным владельцам-крестьянам и сельским общинам<sup>6</sup>. Основную массу населе-

<sup>1</sup> «The Ethiopian Herald», 1974, 14 Sept.

<sup>2</sup> «Daily News», 1974, 13 Sept.

<sup>3</sup> «Survey of Economic Conditions in Africa, 1970», pt. I, N. Y., 1971, p. 26, 225—229.

<sup>4</sup> «Production Yearbook, 1971», vol. 25, Rome, 1972, p. 24; «Production Yearbook, 1972», vol. 26, Rome, 1973, p. 22.

<sup>5</sup> «Survey of Economic Conditions in Africa...», p. 33.

<sup>6</sup> E. Luther, *Ethiopia today*, Stanford, 1958, p. 30.

ния составляли крестьяне — держатели земли от императора, помещиков или религиозных учреждений.

Формально вся земля считалась принадлежащей императору, из чего традиция выводила право государства на сбор налогов со всей территории. С 1944 г. все землевладельцы, кроме церквей и монастырей, платили в пользу государства единый поземельный денежный налог. Предпринимавшиеся правительством в различное время на протяжении всего XX в. попытки «коммутировать» бесчисленные и крайне обременительные традиционные повинности крестьянства в пользу феодальных земельных собственников, заменив их в законодательном порядке подобной же единообразной земельной рентой в денежной форме, в основном успеха не имели: старые повинности, включая барщину (*хулад*) и различные поборы в натуральной форме, широко сохранялись на практике. Характерно, что в одной только провинции Шоа выборочное обследование 1960 г. выявило около 35 видов повинностей и налогов, а также 12 различных традиционных видов землевладения<sup>7</sup>.

Положение крестьян (*гэббаров*) в Эфиопии было исключительно тяжелым. Согласно «Гражданскому кодексу» 1960 г., феодальная рента, взимаемая с крестьянина, могла достигать до  $\frac{3}{4}$  урожая<sup>8</sup>; фактически же она бывала еще выше. Особо тяжелой эксплуатации подвергались феодально-зависимые арендаторы (*тиссега* — «подобные дыму»), чей статус был аналогичен статусу «держателей по воле лорда» в средневековой Англии, а также гэббары, сидевшие на церковно-монастырских землях. Сумма национального дохода (в среднем на душу населения в год) составляла в 1966 г. 160 эф. долл. (соответствует менее чем 58 руб.)<sup>9</sup>, причем основная часть дохода сохраняла натуральную форму. За сутки эфиопский крестьянин потреблял в среднем не более 2150 пищевых калорий<sup>10</sup>; напомним, что установленная экспертами ФАО норма суточного потребления калорий для жителей развивающихся стран составляет 2400, а население развитых стран потребляет в день до 3000 калорий и выше<sup>11</sup>.

Большинство эфиопских крестьян страдало от малоземелья. Земельный надел крестьянской семьи, как правило, не превышал здесь 3 га. Это несколько больше, чем в среднем по Тропической Африке (2 га). Дело в том, что в Эфиопии преобладает плужное земледелие, тогда как в остальной Тропической Африке больше распространено мотыжное. В то же время для Эфиопии характерны, во-первых, более низкая средняя урожайность культур и, во-вторых, присвоение значительной доли продукта крестьянского труда феодальными землевладельцами, включая церковь.

\* \* \*

Эфиопия относится к развивающимся странам с высоким сельскохозяйственным потенциалом. Резервы пастбищ и сенокосов оцениваются в 65,6 млн. га, что составляет 54% территории; в то же время под культурами находится всего 13,25 млн. га (10,9%)<sup>12</sup>. Пригодных, например, для земледелия площадей: в бассейне Голубого Нила — 400 тыс. га, р. Омо — 300 тыс., р. Веби-Шебели — 200 тыс., р. Аваш — 250 тыс., других рек — 300 тыс. га<sup>13</sup>. Эфиопия могла бы стать житницей континента: по оценке французской газеты «Монд», даже при нынешнем уровне технологий земли страны могли бы прокормить 60 млн. населения, тогда

<sup>7</sup> «Аграрный вопрос и крестьянство в Тропической Африке», М., 1964, стр. 103.

<sup>8</sup> Там же, стр. 99.

<sup>9</sup> Подсчитано по данным: «UN Statistical Yearbook, 1968», N. Y., 1969, p. 312.

<sup>10</sup> «Production Yearbook, 1970», vol. 24, Rome, 1971, p. 446.

<sup>11</sup> «Курьер ЮНЕСКО», Париж, 1962, № 7, стр. 8.

<sup>12</sup> «Production Yearbook, 1972», vol. 26, Rome, 1973, p. 677.

<sup>13</sup> «География» (реферативный журнал), М., 1970, № 4, стр. 155.

как сейчас кормят лишь 25 млн.<sup>14</sup> Реализации потенциальных возможностей сельского хозяйства страны мешают в первую очередь архаические, традиционные формы ее экономики.

Земледелие — главная отрасль сельского хозяйства Эфиопии — базируется почти исключительно на использовании древнейших местных орудий. Немецкий ученый В. Штилер обращает внимание на два исторически сложившихся здесь метода обработки земли: плужное земледелие, которое имеет, по его мнению, арабско-ближневосточное происхождение, и мотыжное, которое, как он считает, происходит из Черной Африки<sup>15</sup>.

На наш взгляд, оба метода для Эфиопии автохтонны и уходят корнями в глубокую старину. Уже на наскальных рисунках в Амба Фокада (Эритрея), относящихся к неолиту, изображен земледelec с пахотным орудием, которое тянут безгорбые животные, по-видимому вола<sup>16</sup>. О местном происхождении плужного земледелия говорит и то, что плуг эфиопского типа не встречается больше нигде в мире.

Плужное земледелие распространено на Абиссинском нагорье, тогда как мотыжное — в южных районах. Четкой границы между этими двумя видами провести нельзя, поскольку:

1) только плужной обработки земли без применения мотыги как вспомогательного орудия в Эфиопии не существует;

2) значительную часть территории занимают ареалы «мотыжно-плужного» земледелия, где мотыга и плуг играют примерно одинаковую роль, и районы, где плужное земледелие перемежается с мотыжным.

Эфиопские крестьяне — амхара, тиграи, галла (в провинции Шоа и Уоллега), каффа, омето, сидамо, консо и др. — обрабатывают землю пахотным орудием *марэша*, которое по типу стоит ближе к плугу, чем к сохе. Марэша состоит из изогнутого деревянного грядиля, соединенного спереди с ярмом канатом или кожаными полосами, сзади расширяющегося и заканчивающегося отверстием. С двух сторон к грядилю могут быть прикреплены гладкие куски дерева, так что получается нечто вроде саней. В отверстие грядиля продевается палка. Верхний ее конец служит рукоятью, к нижнему прикрепляется железная рабочая часть плуга. Передние точки «саней» и палка соединяются с рабочей частью кольцом, а оно в свою очередь связано с грядилем полосами кожи. С небольшими вариациями марэша встречается во всех районах плужного земледелия Эфиопии. Основные местные различия — в устройстве грядиля. Иногда последний сильно изогнут сзади, и его изгибают не из одного, а из двух кусков дерева, которые скрепляют кожей.

Эфиопский плуг не переворачивает пласт. Пахоту приходится повторять три-четыре раза, пока не будет подготовлено ложе для семян. Семена высевают вручную, вразброс и прикрывают землей методом новой вспашки, которая заменяет боронование. Глубина пахоты — 5—10 см. Потребность в тягловом усилии составляет всего 150—200 кг, хотя и возрастает в сухой сезон. Тягловой силой служит пара волов. Деревянные части плуга каждый пахарь изготавливает сам, железные покупает у кузнецов. Преимущество марэша, помимо простоты изготовления, в его легкости: в конце дня пахарь сам относит плуг домой. За час при помощи марэша можно обработать 150—300 м<sup>2</sup>. Однако пахоту приходится повторять многократно, и работа с марэша поглощает много времени и требует большого труда.

Арабский плуг, применяемый в районах, тяготеющих к Красному морю, имеет мало общего с марэша. У него иная форма, а рабочей частью служит вогнутое лопатовидное лезвие. Пахота таким орудием

<sup>14</sup> «Le Monde», 1969, 21—23 sept.

<sup>15</sup> W. Stihler, Studien zur Landwirtschafts- und Siedlungsgeographie Äthiopiens, «Erdkunde», 1948, № 2, S. 257—282.

<sup>16</sup> P. Graziosi, Le pitture upestri dell'Amba Focada (Eritrea), «Rassegna di studi etiopici», Bd I, Roma, 1941.

также производится неоднократно; при последней вспашке в отверстие трубки, прикрепленной к плугу, бросают семена<sup>17</sup>.

Второе по важности пахотное орудие — мотыга, основное назначение которой — рыхление почвы. Кроме того, мотыгой срезают сорняки и мелкий кустарник, переворачивают почву, выкапывают ямки. В районах плужного земледелия крестьянин не только неоднократно пропахивает поле при помощи марэша, но и дополнительно обрабатывает его различными мотыгами. Для мотыг существует много местных названий. Они бывают однозубцовые и двузубцовые, с широкой, узкой, прямоугольной, округлой или сердцевидной рабочей частью. Чаще всего встречаются мотыги деревянные, с железной рабочей частью; иногда она деревянная, но окована железом.

Жнут в Эфиопии железным серпом *мачид*; иногда он бывает с зазубринами. В последнее время в употребление входит коса. Орудий обмолота не существует. Чаще всего на току разбрасывают слой высушенных колосьев. Потом на это место пускают несколько голов крупного рогатого скота и заставляют ходить по кругу, пока из колосьев не будет выбито зерно. Для провеивания зерна используют вилы, деревянные лопаты, плетенки, сига, корзины, веники, которые плетут из стеблей злаков<sup>18</sup>.

Процесс вытеснения простейших орудий деревенского изготовления сходными фабричными проходит в Эфиопии чрезвычайно медленно — гораздо медленнее, чем, например, в Кении или Нигерии. Главная причина — низкие денежные доходы большинства хозяйств, связанные с их бедностью и невысокой товарностью. Механические орудия применяются в немногочисленных хозяйствах, принадлежащих государству, иностранцам, местным фермерам-капиталистам и помещикам, хозяйничающим по-капиталистически. В 1971 г. во всей стране было 1,4 тыс. тракторов; в среднем один трактор приходился на 9464 га сельскохозяйственных угодий. Для сравнения упомянем, что в Южной Родезии, где ведущую роль в сельском хозяйстве играют крупнокапиталистические фермы белых колонистов, в том же году использовалось 17,5 тыс. тракторов. В 1971 г. в Эфиопии не работало ни одного комбайна<sup>19</sup>.

Агротехника народов Эфиопии — продукт приспособления к условиям почти безлесной, по преимуществу горной страны с хорошими почвами и, в нормальные годы, достаточным количеством осадков. Эта агротехника слагалась веками и современным влияниям подверглась мало.

В районах плужного земледелия почва рыхлится марэша до наступления сезона дождей (на основной территории Тропической Африки ее обрабатывают мотыгой лишь с наступлением влажного сезона). Почву сначала «царапают» плугом в различных направлениях, с тем чтобы разрушить слой дерна, а затем сгребают мотыгами в кучки. С наветренной стороны каждой кучки разбрасывают немного коровьего помета, который высушивают, а затем поджигают. Разрыхленную землю из кучек постепенно набрасывают на горящий помет до тех пор, пока вся трава и почва не подвергнутся обжигу. Позднее оставшийся после обжига слой равномерно разбрасывают по поверхности поля, которое еще дважды перепаживается. Такая агротехника, представляющая, в частности, на севере и северо-востоке провинции Шоа, понижает кислотность почвы; но азот и органические вещества приносятся в жертву, чтобы получить больше других питательных веществ для растений<sup>20</sup>.

Эфиопскому земледельцу издавна известны севообороты, которые играют в стране основную роль в поддержании плодородия почв. Прав-

<sup>17</sup> Н. Р. H u f f n a g e l, *Agriculture in Ethiopia*, Rome, 1961, p. 140—157.

<sup>18</sup> М. В. Р а й т, *Народы Эфиопии*, М., 1965, стр. 36—41.

<sup>19</sup> «Production Yearbook, 1972», p. 6, 7, 235—238.

<sup>20</sup> Н. Р. H u f f n a g e l, *Указ. раб.*, стр. 141—143.

да, пока не собран материал, который позволил бы судить, насколько точно одни и те же севообороты повторяются на протяжении многих лет. Примеры севооборотов на разных почвах в провинции Дэбрэ-Зэйт проливают свет на эту практику<sup>21</sup>.

1. На черных почвах: I год — турецкий горошек или *гвайя* (чина посевная), II год — *тефф* (просо), III год — *тефф*, IV год — *тефф*, V год — *тефф*, VI год — *тефф*, VII год — *тефф*, VIII год — пшеница или ячмень, IX год — *дурра* (сорго). На таких плодородных землях залежь не практикуется почти никогда, а обогащающие почву азотом бобовые сеются лишь раз в 8—9 лет.

2. На красновато-серых почвах: I год — турецкий горошек, *гвайя*, *мыссыр* (чечевица) или белая фасоль, II год — белый *тефф*, III год — коричневый *тефф*, IV год — коричневый *тефф*, V год — *дурра*, VI год — *атар* (горох посевной) или конские бобы, VII год — ячмень.

Эфиопские севообороты ни по продолжительности, ни по набору культур не имеют ничего общего с чередованиями культур, представленными в районах переложного земледелия в Тропической Африке<sup>22</sup>. Залежь в центральных и южных провинциях бывает непродолжительна — до пяти лет; при этом крестьяне хорошо знакомы с тем, какие дикие травы служат индикаторами истощения и какие — восстановления почвы. Занятых паров земледелие народов Эфиопии не знает.

В районе Джимма зарегистрирован такой севооборот: I год — *тефф*, II год — *тефф*, III год — *дурра*, IV год — таро; после этого земля оставалась в залежи пять лет. В редконаселенных районах Эфиопии известны случаи, когда земля пребывала в перелог до 20 лет.

Удобрение земель навозом не практикуется, хотя в стране большое поголовье скота; единственное исключение представляют некоторые области, где возделывается банан *энсете* — растение, у которого в пищу идут не плоды, а корневища. В провинциях Бэгемдыр, Шоа, Эритрея и некоторых других на поля под паром пускают пастись домашних животных и таким образом земли в какой-то мере удабриваются<sup>23</sup>. По потреблению химических удобрений Эфиопия стоит на одном из последних мест в Африке; местное их производство не налажено, а импорт за последние годы не превышал 3 тыс. т в год<sup>24</sup>.

В связи с характером рельефа на нагорьях в провинции Тигре, на севере и северо-востоке провинции Шоа, на нагорье Чэрчэр в провинции Харэр, в районе Консо и к югу от Шама (восточная часть провинции Гэму-Гофа), в меньших масштабах — в других возвышенных районах практикуется террасирование склонов гор и холмов.

В Тигре встречаются террасы от очень узких (до 1 м) до очень широких, типа тех, что строятся, например, на более пологих склонах к северу от Адди-Грата. В Шоа стена (*гур*) сооружается на нижней стороне площадки, избранной в качестве основы для террасы. При этом часто используется любая естественная плоскость на склоне. Гур имеет треугольное сечение. Заполнение земель пустоты позади стены до уровня новой террасы иногда выполняется вручную, но чаще подобную работу выполняет сама природа. Во время дождей, особенно на крутых склонах, почва сползает или смывается вниз и задерживается стенами террас: так пустоты позади стен заполняются землей. В течение веков такое террасирование проводилось в огромных масштабах, и ландшафт настолько изменился, что часто трудно определить, является ли он естественным или искусственным<sup>25</sup>.

<sup>21</sup> Н. Р. Hufnagel, Указ. раб., стр. 143, 144.

<sup>22</sup> И. А. Сванидзе, Сельское хозяйство Тропической Африки, М., 1972, стр. 50.

<sup>23</sup> М. В. Райт, Указ. раб., стр. 32.

<sup>24</sup> «The Ethiopian Herald», 1969, 14 May.

<sup>25</sup> D. Buxton, The Shoa Plateau and its people: an essay in local geography, «Geographical Journals», London, 1949, Oct.-Dec., p. 31—86.

Цели террасирования — обеспечить возможность обработки крутых склонов и защищать почвы от эрозии. Разница в высоте между двумя террасами обычно варьирует в пределах 0,5—1,5 м. Стены террас закрепляются камнями, убранными с полей. Часто к террасам по оросительным каналам подается вода из колодцев и потоков; иногда прокладываются деревянные трубопроводы, которые могут проходить даже над дорогами<sup>26</sup>.

Орошаемое земледелие в Эфиопии тесно связано с террасным, однако представлено и независимо от него. Так, на северо-востоке Шоа существует развитая традиционная оросительная система на базе водных ресурсов р. Бересса и ее притока, р. Мака. Ее соорудили с целью создать условия, при которых до наступления сезона дождей можно было бы убирать ячмень, после чего земля отводится под более ценные культуры.

Традиционные оросительные системы несовершенны. Их приходится частично перестраивать каждый сухой сезон, поскольку плотины из камней и комьев земли размываются дождями. От всех плотин вода отводится в особый канал, который ведет вниз, отходя все дальше от реки, а иногда, на крутых откосах, проходит сквозь скалы. От главного отходят вторичные каналы, которые по желанию можно открывать или закрывать для прохода воды; они подводят ее на прилегающие поля<sup>27</sup>.

В районах, примыкающих к Красному морю, практикуется агротехнический комплекс, основанный на паводковом орошении. Потоки, сбегаящие с нагорья, несут воду и ил лишь несколько недель в году — во время дождей в горах (июль — сентябрь). Перед тем как русла заполнятся водой, крестьяне возводят поперек них песчаные, не укрепленные камнями дамбы шириной в основании 5—6 м и высотой до 2 м. Дамба не способна долго выдерживать напор потока, но для кратковременного орошения прилегающих земель под скороспелые культуры служить может.

Наряду с ирригацией применяется и дренаж. В нормальные годы, когда не бывает засух, основная территория страны получает 1—1,5 тыс. мм осадков в основном за три месяца, так что существует опасность ливневой эрозии. Для ее предотвращения на полях плугом пропахивают водоотводные канавы глубиной до 20 см. Иногда вода смывает грунт со дна борозд, но, как правило, она без ущерба отводится с обрабатываемых участков<sup>28</sup>.

Ассортимент выращиваемых в Эфиопии культур отличается значительным своеобразием. Около половины обрабатываемой площади идет под зерновые, продукция которых достигает 6,2 млн. т в год (9% производства на всем континенте)<sup>29</sup>. Среди них выделяется такая специфическая для Эфиопии культура, как тефф — злак, близкий к просу, но более мелкий. Имея короткий вегетационный период, тефф возделывается в самых разнообразных условиях, в том числе там, где влажный сезон непродолжителен. Тефф обычно растирают на маленьких домашних зернотерках, но постепенно растет число и механических мельниц. Муке из теффа отдают предпочтение при приготовлении национального хлеба *инджерра*, хотя растет популярность и его конкурента — пшеничного хлеба. Зеленый тефф скормливают скоту. К важнейшим культурам относится также дурра, которая хорошо растет в низинах и еще лучше — на возвышенностях. Возделывается много разновидностей. Одни идут в пищу, другие — на корм скоту, третьи — на волокно и т. д.

<sup>26</sup> E. Nowak, Land und Volk der Konso, «Bonner geographische Abhandlungen», H. 14, Bonn, 1954, S. 218.

<sup>27</sup> D. Buxton, Указ. раб., стр. 559—594.

<sup>28</sup> A. Semple, A look at Ethiopia, «Soil Conservation», 1945, vol. 10, № 1, p. 154—157.

<sup>29</sup> «Production Yearbook, 1972», p. 43, 44.

Пшеница не возделывается пока столь же широко, как тефф и дурра, и все же по масштабам ее производства Эфиопия выделяется среди других африканских стран. Вся пшеница в стране яровая; доминируют твердые сорта. Наиболее приспособлены под эту культуру земли высоких плато. По всему Абиссинскому нагорью возделывается ячмень, который ценят за его выносливость. Ячмень часто сеют после пшеницы, и он служит страховой культурой на случай неурожая последней. Растение созревает всего за два месяца; при орошении или в годы обильных осадков можно получать по два урожая. Много ячменного зерна расходуется на приготовление местного напитка, который представляет собой нечто среднее между пивом и квасом. Другая страховая культура — *дагусса* — высевается после ноябрьско-декабрьской жатвы, и хотя урожайность ее низка, полный неурожай — достаточно редкое явление<sup>30</sup>. В юго-западных и западных провинциях возделывается кукуруза. Иногда ее выращивают в смешанных посевах с дуррой, но в целом такого рода посевы, столь характерные для Тропической Африки, для Эфиопии нетипичны. Зерно кукурузы идет в пищу, зеленая масса скормливается скоту. В небольших масштабах в стране возделывают овес и рис<sup>31</sup>.

Второе место после зерновых занимают бобовые, местные сорта которых приспособлены к условиям возвышенных районов. Произрастают они и на малоплодородных почвах, где другие культуры идут плохо. Как правило, бобовые сеют в конце сезона дождей и они остаются на полях, пока не уберут другие культуры. Распространена бобовая культура *шымбра* (турецкий горошек), которая чрезвычайно вынослива и высевается в возвышенных районах повсеместно. Зерно чаще всего поджаривают и едят, не снимая оболочки. Иногда шымбра идет на приготовление местных соусов. В больших количествах выращивается *атар*, идущий в пищу и на корм скоту. Повсюду, даже на каменистых почвах, выращивают мыссы; в зонах более обильного увлажнения снимают по два урожая в год<sup>32</sup>.

Видное место занимают масличные, которых выращивается не менее 12 разновидностей. Есть масличные растения, используемые в диком виде. В начале 60-х годов в среднем за год в Эфиопии производилось 210 тыс. т семени нуга, 30 тыс. т кунжута, 50 тыс. т льняного семени (74% продукции льняного семени, выращиваемого в Африке). Крестьяне выжимают из маслосемян масло на ручных прессах, но в стране есть и современные маслобойни. Растительные масла занимают важное место в рационе, причем наиболее популярно масло из семени нуга<sup>33</sup>.

Сахарный тростник возделывается на крестьянских участках издавна, но потребности страны в рафинированном сахаре вплоть до 1954 г. покрывались за счет импорта. Лишь после создания орошаемых государственных плантаций и четырех сахарных заводов Эфиопия сама стала вывозить сахар.

Другие продовольственные культуры представлены широким ассортиментом овощей и фруктов. Возделываются артишоки, спаржа, картофель, батат, морковь, лук, огурцы, тыква, перец, шпинат, редис, турнепс, помидоры, капуста. Набор фруктов включает цитрусовые, виноград, авокадо и манго; последнее произрастает в районе Харэр — Дирре-Дауа. В отдельных районах выращивают папайю, гранат, ананасы, сливы, фиго и яблоки. В диком виде местами встречается маслина.

Среди экспортных культур выделяется кофе, на которое приходится 60% всего вывоза страны по стоимости. Доля Эфиопии в мировом производстве и экспорте этого продукта относительно невелика, но среди кофе-

<sup>30</sup> «Patterns of progress in Ethiopia. Agriculture in Ethiopia», vol. II, Addis Ababa, 1961, p. 5.

<sup>31</sup> М. В. Райт, Указ. раб., стр. 41.

<sup>32</sup> Там же, стр. 43.

<sup>33</sup> «Patterns of progress in Ethiopia...», p. 6.

производящих стран она занимает особое место. Эфиопия — родина «арабики» — кофе высшего сорта. Исходный пункт распространения культуры — провинция Кэфа, в меньшей степени Иллубабор и Уоллега. В этих местах в лесах и сейчас в большом количестве встречаются дикорастущие кофейные деревья. Кофе в стране — продукт не только сельского, но и лесного хозяйства и собирательства. В отличие от других африканских кофейнопроизводящих стран (Берега Слоновой Кости, Анголы, Уганды, Кении, Танзании, Камеруна) в Эфиопии значительная доля продукции идет на местное потребление, которое оценивается цифрой в 50—60 тыс. т в год. Весь сбор кофе в стране составляет до 220 тыс. т в год (16% от всей продукции, собираемой в Африке). По некоторым данным, с выращиванием или сбором кофе связаны доходы от 1/25 до 1/5 части населения страны<sup>34</sup>. Основная часть эфиопского кофейного экспорта идет в США<sup>35</sup>.

В Эфиопии в диком виде и в культурных формах известно дерево *чат*, из зеленых побегов которого готовят местный напиток, напоминающий по вкусу чай, но обладающий более сильным наркотическим действием. Продукт в большом количестве вывозится в страны арабского Востока<sup>36</sup>. Что касается чая, то, хотя природные условия страны, особенно ее юго-западных районов, благоприятны для выращивания этой ценной культуры, пока имеется всего лишь одна плантация в провинции Кэфа. Табак известен в Эфиопии много лет, но его товарное производство началось лишь с 1950-х годов. В крестьянских хозяйствах табак ближневосточных сортов и «вирджиния» выращивают в севооборотах с продовольственными культурами.

Из текстильных культур важнейшая — хлопчатник. Эфиопские сорта хлопка высококачественны, имеют крепкое волокно. Большие надежды возлагаются на развитие современного орошаемого хлопководства в бассейне р. Аваши. Из других текстильных растений в небольшом количестве выращивают сизаль.

Сравнивая производство сельскохозяйственных культур в Эфиопии и по континенту в целом, нельзя не обратить внимание на то, что средняя урожайность практически всех сельскохозяйственных растений в стране ниже средней по Африке, не говоря уже о более развитых регионах мира. Оценивая данные таблицы, следует иметь в виду, что в общеафриканскую статистику включены показатели для европейских хозяйств ЮАР, Южной Родезии, Кении, Замбии, Танзании, Анголы, Мозамбика и т. д., а также для арабских стран Северной Африки, где агротехника стоит на более высоком уровне, чем в Эфиопии. Совершенно ясно, что повышение продуктивности земледелия в стране — насущная задача независимой Эфиопии.

Животноводство в Эфиопии имеет не менее давние традиции, чем земледелие. Об этом свидетельствуют уже упоминавшиеся неолитические рисунки из Амба Фокада. На более поздних наскальных рисунках, обнаруженных в Иди Алаути, изображаются верблюды, лошади и крупный рогатый скот, использовавшийся в древности коренным населением в качестве тягловой силы<sup>37</sup>.

По поголовью скота (в 1972 г. — 26,45 млн. голов крупного рогатого скота; 12,95 млн. овец; 11,37 млн. коз; 1 млн. верблюдов; 1,43 млн. лошадей; 3,9 млн. ослов и 1,46 млн. мулов) Эфиопия занимает первое место в Африке. В стране насчитывается также много домашней птицы (50 млн. кур в том же году). Страна располагает на континенте и

<sup>34</sup> Г. Л. Гальперин, Кофе в Эфиопии, «Страны и народы Востока», вып. 9, М., 1969, стр. 67—97.

<sup>35</sup> «Patterns of progress in Ethiopia...», p. 11—13.

<sup>36</sup> Там же, стр. 14.

<sup>37</sup> G. Ganellie O. Marinelli, Risultati scientifici di un viaggio nella colonia Eritrea (s. a.).



## Урожайность сельскохозяйственных культур в 1972 г., кг/га \*

Культура	Эфиопия	Весь континент	Культура	Эфиопия	Весь континент
Пшеница	812	1065	Просо	516	724
Ячмень	892	1034	Кофе	348	437
Кукуруза	1114	1362	Табак	500	754

\* «Production Yearbook, 1972», vol. 26, Rome, 1973, p. 51—175.

наиболее развитым пчеловодством: в 1959 г., например, здесь имелось 2,4 млн. ульев<sup>38</sup>.

Смешанное сельскохозяйственно-животноводческое хозяйство ведется на большей территории Эфиопии — в провинциях Шоа, Годжам, Бэгемдир, Уоллега, в западных частях провинций Аруси и Уолло, в северных областях провинций Джимма, Кэфа, Гэму-Гофа, Харэр и на юге Эритреи, частично также в провинции Сидамо; в других районах ведется животноводческое по преимуществу или даже чисто-животноводческое хозяйство.

Важнейшее значение, как и повсюду в Тропической Африке, имеет крупный рогатый скот. Однако здесь он широко используется не только как источник продуктов питания и кожсырья, но и как тяговая сила. Крупный рогатый скот эфиопские крестьяне более охотно забивают и продают, чем это делают в остальной Тропической Африке. В год забивается 9—10% поголовья. Шкуры и кожи крупного рогатого скота (продукция — 50—55 тыс. т в год) составляют заметную статью экспорта. Годовое производство молока превышает 500 тыс. т, но продуктивность коров по молоку низкая (в 1972 г. — 182 л от одной коровы в год против 485 л по всей Африке в среднем)<sup>39</sup>.

Овец разводят в основном на мясо: продукция шерсти по всей стране не превышает пока 400 т в год, причем шерсть местных овец в основном низкокачественная. В провинции Уолло представлена особая черношерстная порода овец; из шерсти этих животных галла и амхара ткнут полотна для палаток, одеяла, платья и бурнусы. Надо отметить, что для развития шерстного овцеводства в стране есть все условия; требуется лишь внедрение соответствующих пород овец. Коз разводят ради мяса, молока, а также шкур и кож; в 1972 г. производство кож и шкур мелкого рогатого скота составило 17 тыс. т<sup>40</sup>.

Свиней разводят в небольшом количестве, главным образом для продажи мяса европейцам (сами эфиопские крестьяне свинины не едят). В 1972 г. в стране была произведена всего 1 тыс. т свинины<sup>41</sup>.

В условиях плохо развитой транспортной сети огромное значение приобретает вьючный скот. На южных, восточных и северных окраинах Эфиопии разводят верблюдов, которые используются как транспортное средство для перекочевков. Верблюд очень вынослив, он может обходиться без питья несколько дней, преодолевать до 140 км в сутки. В хозяйстве кочевников важную роль играют также ослы. Мулов, по поголовью которых Эфиопия далеко опережает другие страны Африки, разводят и как вьючных животных, и для верховой езды, причем за силу и выносливость ценят выше, чем лошадей. Лошади, которые используются примерно так же, как мулы, в Эфиопии преимущественно малорослые, в среднем не выше 130 см. Лучшие лошади поступают из районов, населенных галла;

<sup>38</sup> «Production Yearbook, 1972», vol. 26, Rome, 1973.<sup>39</sup> Там же, стр. 195—202, 203, 225.<sup>40</sup> Там же, стр. 195, 223, 227, 228.<sup>41</sup> Там же, стр. 195—228.

последние считаются отличными наездниками. В городах лошадей впрягают в повозки. Пахота с использованием тягловой силы лошади распространения не получила<sup>42</sup>.

В послевоенный период все большее развитие приобретает разведение домашней птицы. Появились первые крупные специализированные птицеводческие хозяйства. Галла, сомалийцы и ряд других народов, у которых в прошлом обычай запрещал есть кур и яйца, теперь начали употреблять их в пищу<sup>43</sup>.

В Эфиопии широко развито пчеловодство. Многие крестьяне имеют по 5—10 ульев, встречаются владельцы 100 ульев и более. Ульи, имеющие цилиндрическую форму, развешивают на деревьях близ селений, устанавливают на жердях, а иногда укрепляют под крышами домов. Обычно их подготавливают и развешивают в сентябре, чтобы в ноябре-декабре получить мед, который идет на приготовление национального напитка. Из воска делают свечи. Оба продукта издавна вывозятся в страны Востока<sup>44</sup>.

Основную часть кормов скот получает на естественных пастбищах, которые включают горные степи; на нагорьях, расчищенных от леса; в высокотравных саваннах с отдельными деревьями; кустарниковых саваннах с низкой травой и, наконец, на пастбищах полупустынь<sup>45</sup>. Однако по сравнению с остальной Тропической Африкой в Эфиопии в рационе животных больший удельный вес имеют концентрированные корма. В земледельческих районах крупный рогатый скот во время молотбы получает дополнительный корм — зерно и мякину. Расширяется практика кормления скота зеленой массой хлебных злаков. Вьючных животных обеспечивают травой, соломой и солью на протяжении всего года, подкармливают ячменной мукой, маслосеменами, кукурузой и даже ынджерой. Однако в целом кормовая база животноводства в Эфиопии значительно слабее, чем в арабских и тем более европейских хозяйствах в Африке.

В системах содержания скота у народов Эфиопии много общего. Пастбища располагаются между селениями и распахиваются только с разрешения властей. Скот выгоняют с утра; пасется он под надзором подпасков и пастухов. Часто соседи объединяют стада для совместного выпаса. Крупный рогатый скот, лошадей и мулов пасут на лучших участках, мелкий рогатый скот получает более скудную траву. На ночь скот пригоняют в деревни. Там крупный рогатый скот держат в загонах, сооруженных либо из камней, либо из веток и прутьев, а вьючный и мелкий — в загонах, крытых содомой. Иногда коз и овец на ночь забирают в дома. Кур содежат ночью в домах, либо в курятниках, поднятых на сваях. Коров доят дважды в сутки — утром и вечером. За одну дойку корова дает 1,5—2 л молока, причем в сухой сезон и во время засухи надой резко снижаются<sup>46</sup>.

В земледельческо-животноводческих районах известно и отгонно-пастбищное животноводство. В провинции Бэгемдыр часть жителей во влажный сезон перегоняет скот, кроме тяглогового и стельных коров, в более сухие области, чтобы обеспечить вблизи селений кормовой резерв на сухое время года. На новых пастбищах скот обычно пасут юноши и мальчики, которые запасаются провизией и строят себе временные жилища. Некоторые фермеры переселяются к местам выпаса вместе с семьями. Жители Восточной Эритреи, наоборот, во влажный сезон перегоняют скот на лучшие пастбища — на Эритрейское плоскогорье. Гал-

<sup>42</sup> И. А. Сванидзе, Указ. раб., стр. 245.

<sup>43</sup> Fr. Simoons, Northwest Ethiopia. Peoples and economy, Madison, 1960, p. 130.

<sup>44</sup> «University College of Addis Ababa. Ethnological Society Bulletin», 1957, № 6, p. 77, 78.

<sup>45</sup> «Agriculture of Ethiopia», vol. I, Jimma, 1954, p. 44—49.

<sup>46</sup> «University College of Addis Ababa. Ethnological Society Bulletin», 1957, № 6, p. 73.

ла из Нэкэмтэ (провинция Уоллега) раз в году перегоняют скот к соляным источникам в район Кэrsa.

Полукочевое скотоводство все еще остается главным занятием сомалийцев, данакиль и некоторых других народов Восточной Эфиопии. Кочевники, обитающие в аридных зонах, могут держать крупный рогатый скот лишь в ограниченном количестве и в основном разводят более выносливый мелкий скот и верблюдов. По мере истощения пастбищ они мигрируют вместе со скотом целыми селениями. Когда селение обособывается на новом месте, мужчины и юноши с утра угоняют крупный рогатый скот на целый день подальше от жилья, в поисках лучших пастбищных участков; женщины же пасут овец и коз вблизи жилищ<sup>47</sup>.

Несмотря на то что в Эфиопии почти нет мухи цеце — этого злейшего врага африканского животноводства, множество скота гибнет ежегодно от других паразитов и болезней. Если в 1969 г. все поголовье скота в стране оценивалось в 1975 млн. эф. долл., то погибло за этот же год животных на сумму 120 млн. эф. долл., что составляет 6% поголовья. Наиболее распространенные болезни — чума крупного рогатого скота, плеввропневмония, сибирская язва, ящур. Так, от плеввропневмонии в 1969 г. пало 50 тыс. голов крупного рогатого скота. В последующие годы падеж скота еще более увеличился в связи с засухой и бескормицей.

Заканчивая характеристику сельского хозяйства Эфиопии, следует сказать несколько слов о секторе товарных хозяйств, базирующихся на современной технологии. Слабое его развитие — одно из самых уязвимых мест отрасли. Действительно, современное сельское хозяйство носит здесь очаговый характер и представлено лишь отдельными более или менее крупными предприятиями.

В Эфиопии осуществляется несколько сельскохозяйственных проектов, крупнейшим из которых является план развития бассейна р. Аваш. Его цель — использование вод Аваша и его 14 притоков для орошения земель под хлопок, сахарный тростник, овощи, фрукты, табак и другие культуры, а также для получения электроэнергии. Программа-минимум рассчитана на 25 лет. В районе орошаются 28 тыс. га, из которых 15 тыс. составляют крупные плантации — государственные и частные, принадлежащие национальному и смешанному иностранно-эфиопскому капиталу; пригодны для орошения еще 110 тыс. га.

В долине Аваша имеются три следующих сельскохозяйственных центра:

- 1) плантации сахарного тростника Уонджи, овощные и садовые хозяйства, обеспечивающие столицу — Аддис-Абебу;

- 2) опытный сельскохозяйственный центр Ауаса-Мелка, хлопковые и цитрусовые плантации в среднем течении Аваша;

- 3) хлопковые плантации Тэндахо, несколько средних и мелких хлопководческих хозяйств в нижнем течении Аваша<sup>48</sup>.

Существует несколько крупных, в основном государственных животноводческих ферм, которые делятся на товарные и экспериментальные. Главное внимание обращается на разведение племенных животных — крупного рогатого скота и овец, которых стараются использовать для улучшения качества стад в частных хозяйствах. Для гибридизации ввозят породистых быков и баранов из Европы, Америки, Индии. В районе столицы имеется несколько пунктов осеменения скота.

<sup>47</sup> М. В. Райт. Сомалийцы, «Сов. этнография», 1959, № 1.

<sup>48</sup> B. Winid, The changing agricultural landscape of Awash Valley, Ethiopia, «21st International Geographical Congress, India, 1968. Abstract Papers», Calcutta, 1968, p. 170, 171; «Eastern Economist», 1972, 17 November.

Анализ сельского хозяйства Эфиопии позволяет сделать следующие выводы.

Эфиопия — аграрная страна с крайне высоким удельным весом сельского хозяйства в национальном доходе, по степени занятости населения и в экспорте.

Сельское хозяйство, как и вся экономика страны, отличается крайней отсталостью. Товарное производство развито слабо. Сектор хозяйств, базирующихся на применении современной технологии, выражен слабее, чем в большинстве стран Африки. Техническая и агротехническая основа хозяйства — традиционная, средневековая. Жизненный уровень трудящегося сельского населения существенно уступает показателям для таких африканских стран, как Южная Родезия, Гана, Нигерия, Берег Слоновой Кости, не говоря уже о странах, расположенных за пределами тропического пояса. Огромный сельскохозяйственный потенциал Эфиопии реализуется в незначительной степени.

Главное препятствие на пути прогресса сельского хозяйства Эфиопии — феодализм. К моменту государственного переворота 1974 г. в руках класса феодалов сосредоточивалась подавляющая часть земельного фонда; большая часть крестьянства была лишена собственной земли. Значительная доля продукта труда крестьян отчуждалась и шла на паразитическое потребление феодалов, которые были мало заинтересованы в развитии сельского хозяйства. Велик был удельный вес самого консервативного вида феодального землевладения — церковно-монастырского.

Прогрессивные круги Эфиопии справедливо считают, что для преодоления отсталости и обеспечения дальнейшего поступательного развития страны необходимы коренные преобразования: существенное изменение государственно-политической надстройки, радикальная аграрная реформа, означающая полную ликвидацию феодального землевладения и феодальных поземельных отношений, а также глубокая технико-экономическая реконструкция сельского хозяйства.

#### THE AGRICULTURE OF THE PEOPLES OF ETHIOPIA

The authors concentrate upon the characteristic features of agriculture in Ethiopia, the oldest state in Tropical Africa. They show Ethiopia to be one of those African countries whose economy is most agrarian in character, where the proportion of agriculture in the national income, in the labour force and in export is highest. The proportion of market production in agriculture is not high. Farming based upon modern technology plays only a small role. The life standard of the population is low. Traditional medieval technology and agricultural methods predominate in the rural economy. Ethiopia's agriculture is below the all-African average in most economic indices. The burning problems of modern Ethiopia, whose solution is a precondition for its further progress, are: radical agrarian reform, abolition of the obsolete feudal landholding system, as well as a complete reconstruction of the technology and economy of agriculture.

**В. Я. Петрухин**

## **К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗАГРОБНОМ МИРЕ У СКАНДИНАВОВ ЭПОХИ ВИКИНГОВ (IX—XI вв.)**

Памятники языческой литературы и материалы саг позволяют сопоставить данные скандинавской археологии по погребальному обряду с сообщениями письменных источников о похоронных церемониях и представлениях о загробной жизни у скандинавов эпохи викингов (IX—XI вв.). Представления эти были смутны и противоречивы: наряду с верой в загробный чертог доблестных воинов существовали поверья о безрадостном пристанище всех умерших, о «жизни» в могиле, в горé, во владениях некоторых богов скандинавского пантеона и т. п. Этой пестроте религиозных представлений соответствует и разнообразие погребальных ритуалов (что неоднократно отмечалось исследователями скандинавского язычества<sup>1</sup>). Оно находит аналогии у всех народов язычников и уходит корнями в тысячелетнюю древность. Разнообразие это складывается под воздействием многих факторов — религиозных, социальных, местных традиций и т. д. — и определяется синкретическим характером религии доклассового или раннеклассового общества, где сильны родовые традиции. Несущественность проблемы загробной жизни для вечного рода, ориентация его на прижизненные проблемы не позволили выработать канонических представлений о загробном существовании и строго регламентированного погребального обряда, который характерен для «мировых» религий.

Разумеется, исследователи пытались систематизировать представления о загробном мире и действиях, с ними связанных. Наиболее подробно этот материал рассмотрен в работах Х. Эллис и Х. Ойкера<sup>2</sup>, но нас прежде всего будет интересовать самая первая классификация, предпринятая знаменитым исландцем Снорри Стурлусоном, как наиболее близкая по времени к исследуемому периоду: предполагается, что в XIII в. сохранялось не только воспоминание о язычестве, но и в какой-то мере вера в языческих богов<sup>3</sup>.

Правда, боги скандинавского пантеона изображены Снорри в «Саге об Инглингах» в виде правивших в старину мудрых конунгов, обожествленных после смерти. Первым из них был Один, который «постановил... что все умершие должны сжигаться и что с ними вместе на костер следует нести их имущество. Он сказал, что каждый человек должен прибывать в Вальхаллу (загробный чертог Одина. — В. П.) с тем богатством, которое было с ним на костре... А пепел следует выбрасывать в море или закапывать в землю. И в память о знатных людях следует сооружать курганы, а после тех людей, которые заслужили память людей,

<sup>1</sup> А. Я. Гуревич, *Походы викингов*, М., 1966, стр. 159, 160; М. И. Стеблин-Каменский, *Мир саги*, Л., 1972, стр. 115, 116; J. Brøndsted, *The Vikings*, London, 1964, p. 269—270; H. R. Ellis, *The road to Hel*, N. Y., 1968, p. 61, и др.

<sup>2</sup> H. R. Ellis, *Указ. паб.*; H. Ueker, *Die altnordische Bestattungssitten in der Literarischen Überlieferung*, München, 1966.

<sup>3</sup> М. И. Стеблин-Каменский, Снорри Стурлусон и его «Эдда», *«Младшая Эдда»*, Л., 1970, стр. 111.

следует высекать надгробные камни»<sup>4</sup>. Далее Снорри повествует о том, как «мертвый Один был сожжен, и сожжение было пышным. Тогда верили, что чем выше в воздух поднимается дым (от погребального костра), тем выше займет на небе место тот, кого сжигали». После смерти Одина «свеи верили, что он отправился в древний Асгард (страну скандинавских богов асов.— В. П.) и будет жить там вечно»<sup>5</sup>.

Знаменитый «Завет Одина» и его интерпретация не отличались последовательностью: загробный мир, куда должны отправляться с погребального костра умершие поклонники бога, помещается то в Асгарде, который Снорри первоначально помещает в Малой Азии<sup>6</sup>, то в Вальхалле, расположенной, видимо, на небе. В любом случае сожженный должен был предпринять путешествие, пусть даже цель его не была ясна.

Кремация — не единственный ритуал, упоминаемый Снорри. Сначала в Прологе к «Хеймскрингле», а затем в «Саге о Хаконе Добром» из того же произведения (гл. 15) он сообщает о двух этапах развития погребального ритуала: «Первый век назывался веком сожжения; всех умерших должны были сжигать и им должны были ставить памятные камни; но после того как Фрейр был погребен в кургане в Уппсале, многие вожди стали воздвигать курганы, как и памятные камни для своих родичей. А после того как Дан Гордый, конунг Дании, соорудил себе курган и велел, чтобы его после смерти в королевском облачении, с конем, с упряжью и большим богатством положили туда, многие из его наследников поступили так же, и в Дании начался век курганов. Впрочем, век сожжения у шведов и норвежцев продолжался долго после этого»<sup>7</sup>.

Возникновение нового обряда ингумации Снорри связывает со вторым великим богом скандинавского язычества — богом плодородия Фрейром. Он умирал и «его люди... приказали народу прийти и посмотреть, жив он или нет; они соорудили большой курган с дверью и тремя отверстиями. И когда Фрейр умер, они тайно отнесли его в этот курган и сказали сваям, что он жив, и скрывали его там три зимы... Тогда был урожай и мир». Наконец, «все свеи узнали, что Фрейр умер. Но так как был хороший урожай и мир, они верили, что так будет всегда, пока Фрейр будет оставаться в Свитьод (Швеции.— В. П.), они не хотели сжигать его»<sup>8</sup>. Итак, гарантия благополучия в данном случае — присутствие умершего в стране, а именно в кургане. Оно достигалось тем, что труп не сжигали, т. е. вопреки «Завету Одина» не отправляли в загробное путешествие.

Согласно выводам Снорри, как, впрочем, и данным археологии<sup>9</sup>, два обряда, а стало быть, и два противоположных представления о загробной жизни, сосуществовали; более того, в уста бонда Асбьерна из «Саги о Хаконе Добром» Снорри вкладывает парадоксальную, если вспомнить его собственную интерпретацию обрядов, характеристику языческой религии. Оказывается, «веры отцов и всех предков» бонды придерживались «начиная с века сожжений и ныне, в век курганов»<sup>10</sup>. Это значит, что, несмотря на различие взглядов о путешествии в Вальхаллу и загробном существовании в кургане, вера все же считалась единой.

Древнескандинавская литература, казалось бы, усугубляет противоречие: убитый Бальдр Добрый отправляется в загробное путешествие по

<sup>4</sup> Снорри Стурлусон, *Сага об Инглингах*, «Средние века», вып. 36, М., 1973, гл. 8.

<sup>5</sup> Там же, гл. 9.

<sup>6</sup> Там же, гл. 2.

<sup>7</sup> «Heimskringla», N. Y., 1964, p. 3, 4.

<sup>8</sup> Снорри Стурлусон, *Указ. раб.*, гл. 10.

<sup>9</sup> H. Arntsen, *The Vikings*, London, 1961, p. 34, 35; Г. С. Лебедев, *Погребальный обряд скандинавов эпохи викингов*, Л., 1972.

<sup>10</sup> «Heimskringla», гл. 15.

мору прямо на своей ладье, с пылающим на ней погребальным костром<sup>11</sup>. Правда, целью этого путешествия является не Вальхалла, а Хель — мрачная обитель всех тех, кто не умер в битве и не посвятил себя Одину. Представления об этом загробном мире так же смутны, как и описание Вальхаллы. По характеристике М. И. Стеблин-Каменского, «Хель — это и подземное царство мертвых, и великанша — повелительница этого царства, и сама смерть, и процесс разложения трупа, его сине-черная окраска»<sup>12</sup>. Но для нас опять-таки важно, что это царство мертвых, согласно «Старшей Эдде», расположено далеко от солнца, на «Береге Мертвых»<sup>13</sup>. Отдаленность этого «Берега» подчеркивается еще и тем, что бог Хермод скачет туда на коне Одина Слейпнире «девять ночей»<sup>14</sup>. В Хель же направляются после смерти славнейший герой скандинавского эпоса Сигурд, а за ним в повозке Брюннхильд; причем оба были сожжены на погребальном костре<sup>15</sup>.

Как и Бальдр, на пылающем корабле отплыл в загробный мир конунг Хаки из Саги об Инглингах»<sup>16</sup>. Снорри, видимо, постоянно утрировал идею загробного путешествия: хорошо известные в эпоху викингов сожжения на корабле производились, конечно, на суше; уникальное описание такого обряда оставил арабский дипломат Ахмед Ибн-Фадлан, наблюдавший его в 20-х годах X в.<sup>17</sup>

Однако как по сагам, так и по данным археологии известен обряд не только сожжения, но и ингумации в ладье. Рассказчики саг не оставили подробных описаний погребальных обрядов не потому, что последние не были наделены религиозной значимостью<sup>18</sup>, но в силу специфической ориентации саг на конфликтные ситуации, а не на повседневные и всем известные представления<sup>19</sup>. Но некоторые саги отмечают значение такого транспортного средства как ладья при захоронении по обряду ингумации.

Так, в «Саге о Гисли» описывается погребение Торгрима; умершего кладут в ладью и Гисли наваливает на нее огромный камень, заявляя при этом: «Я не умею ставить корабль, если этот унесет ветром»<sup>20</sup>. Стало быть, корабль должен был остаться в могиле. Это подтверждается также и тем, что «снег не лежал на юго-западном склоне Торгримова кургана, и там никогда не замерзало. И люди связывали это с тем, что Торгрим своими жертвами снискал расположение Фрейра, и Фрейр не хочет, чтобы их разделял мороз»<sup>21</sup>. Умерший Торгрим, как некогда и сам Фрейр, находился в кургане, несмотря на то, что был положен в корабль. Та же ситуация повторяется в «Книге о заселении страны»: усопшего Асмунда положили в корабль вместе с его рабом, но через некоторое время Асмунд явился во сне своей жене и стал жаловаться, что ему тесно в загробном пристанище — могиле<sup>22</sup>.

Здесь мы сталкиваемся с весьма распространенным образом исландских саг — «живым мертвецом»; многочисленные данные о «живых мертвецах» систематизированы Г. И. Кларе<sup>23</sup>. Исследования показали, что здесь имеются в виду «не призраки, не души людей, а телесные су-

<sup>11</sup> «Младшая Эдда», Видение Гюльви, стр. 49.

<sup>12</sup> М. И. Стеблин-Каменский, Культура Исландии, Л., 1967, стр. 65.

<sup>13</sup> «Старшая Эдда», М.-Л., 1963, Прорицание вельвы, строка 38.

<sup>14</sup> «Младшая Эдда», Видение Гюльви, стр. 49, 50.

<sup>15</sup> «Старшая Эдда», Поездка Брюннхильд в Хель, стр. 125.

<sup>16</sup> Снорри Стурлусон, Указ. раб., гл. 23.

<sup>17</sup> А. П. Ковалевский, Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу, Харьков, 1956, стр. 141—146.

<sup>18</sup> H. R. Ellis, Указ. раб., стр. 39.

<sup>19</sup> М. И. Стеблин-Каменский, Мир саги, стр. 67—77.

<sup>20</sup> «Исландские саги. Ирландский эпос», М., 1973, Сага о Гисли, гл. 17.

<sup>21</sup> Там же, гл. 18.

<sup>22</sup> H. R. Ellis, Указ. раб., стр. 40.

<sup>23</sup> G. Klare, Die Toten in der altnordischen Literatur, «Acta philologica Scandinavica», Bd VIII, 1933.

щества, обладающие всеми свойствами живого человека»<sup>24</sup>. Нередко «живые мертвецы» наследовали от своих прижизненных качеств не только чувства голода, холода, привязанности к близким и т. п., но и свой свирепый нрав. В этом случае труп, наделенный сверхъестественной силой, мог вредить живым, нападая на людей и их имущество<sup>25</sup>. Тогда их приходилось убивать второй раз, сжигать, а пепел выбрасывать в море. Но ведь именно таким образом и отправлялись в загробное путешествие умершие по «завету Одина». Стало быть, средством избавления от «живого мертвеца» была кремация, равнозначная отправлению его в загробное путешествие. В связи с этим представляется любопытной точка зрения, согласно которой многочисленные перекопы в насыпях кургана — не следы их разграбления, а результаты расправы с «беспокойными покойниками»<sup>26</sup>.

Таким образом, загробным миром «живого мертвеца» была его могила (иногда обставленная «мебелью», как в настоящем доме — покойного, например, сажали на стул<sup>27</sup>), откуда его, тем не менее, можно было, кремировав, отправить в далекий загробный мир.

Но, несмотря на противоположность представлений, связанных с ингумацией и кремацией, биритуализм, наблюдающийся как в пределах всей языческой Скандинавии, так и в рамках отдельных некрополей и даже под одной курганный насыпью<sup>28</sup>, а также близость некоторых форм ингумации (например, погребения в ладье) ритуалу сожжения (кремация в ладье) в период распространения трупоположения<sup>29</sup>, соответствовавшего приведенному описанию смены века кремации веком курганов у Снорри, заставляет поставить вопрос не просто о противоречии, но также об истоках и взаимосвязи двух противоположных представлений.

Сосуществование кремации и ингумации, биритуализм, характерны не только для Скандинавии эпохи викингов, но и для всей языческой Европы IX—XI вв.<sup>30</sup> И здесь и там обе формы обряда, с временным преобладанием той или иной, известны с эпохи бронзы<sup>31</sup>, в обрядности которой наблюдались случаи, когда в одном погребении сочетались ингумация и кремация<sup>32</sup>.

В ту же эпоху возникает и представление о самом распространенном средстве для загробного путешествия — ладье. С одной стороны, появляются каменные обкладки могил в виде кораблей и изображения ладьи и в погребении<sup>33</sup>, с другой — широко распространена идея «дома мертвых» в могиле — в форме шалашей, камер, цист и т. п.<sup>34</sup> Возникновение последнего представления, возможно, следует отнести еще к древнему каменному веку, когда умерших нередко хоронили в естественных жилищах — гротах, а для Скандинавии — к эпохе мегалитических построек<sup>35</sup>.

<sup>24</sup> М. И. Стеблин-Каменский, Культура Исландии, стр. 167.

<sup>25</sup> G. Kluge, Указ. раб., стр. 39.

<sup>26</sup> J. Brøndsted, Указ. раб., стр. 271.

<sup>27</sup> H. R. Ellis, Указ. раб., стр. 40.

<sup>28</sup> H. Arbm an, Birka, Die Gräber, Bd I, Stockholm, 1941.

<sup>29</sup> Г. С. Лебедев, Указ. раб., стр. 14.

<sup>30</sup> В. В. Седов, Славяне и племена юго-восточного региона Балтийского моря, «Второй Международный конгресс славянской археологии», т. I, Берлин, 1970; Е. И. Горюнов, А, Этническая история Волго-Окского междуречья, М., 1961, стр. 75—78.

<sup>31</sup> H. Shetelig, H. Falk, Scandinavian archeology, Oxford, 1937, p. 149; Г. Чайлд, Прогресс и археология, М., 1949, стр. 145, 146.

<sup>32</sup> H. R. Ellis-Davidson, Pagan Scandinavia, London, 1967, p. 47.

<sup>33</sup> M. Strömberg, Die bronzzeitliche Schiffssetzungen in Norden, «Meddelanden från Lunds Universitets», Lund, 1961; M. Ebert, Die Bootfahrt ins jenseits, «Prähistorische Zeitschrift», Bd XI—XII, 1920.

<sup>34</sup> O. Klindt-Jensen, Denmark before the Vikings, London, 1957, p. 83, 84; H. R. Ellis-Davidson, Указ. раб., стр. 106, 107.

<sup>35</sup> F. Behn, Beiträge zur Urgeschichte des Hauses, «Prähistorische Zeitschrift», Bd XI—XII, 1920, S. 83—94.



Но уже здесь наблюдается не просто сосуществование двух обрядов и двух верований: идея загробного путешествия сочетается с представлением и о жизни в могиле (на стенах загробных жилищ-цист изображались корабли<sup>36</sup>). В то же время кальцинированные кости после сожжения складывались в урны, представлявшие собой модели домов или несущие их изображение<sup>37</sup>. Так, в Скаллерупе (Дания) урна-котел вообще поставлена на модель колесницы, и все это помещено в деревянном гробовище-доме<sup>38</sup> и т. п.

На протяжении тысячелетий развития скандинавского язычества подобного рода парадоксальное единство противоположностей сохранялось в разнообразнейших формах вплоть до интересующей нас эпохи викингов; наиболее известными примерами, подтверждающими это, являются знаменитые норманские ладьи в погребениях<sup>39</sup> и камеры — загробные жилища<sup>40</sup>.

Кремация вообще, и в частности в ладье, обычно правильно объясняется желанием отправить умершего в загробный мир и тем самым предотвратить его возвращение в мир живых. Сложнее разобраться в семантике обряда ингумации в ладье. Ряд исследователей считает, что корабли норманнов, в том числе ладья в Осеберге, заваленная камнями (наподобие корабля Торгрима из упомянутой «Саги о Гисли»), служили не орудием загробного путешествия, а являлись лишь даром умершему<sup>41</sup>.

Это мнение не лишено оснований. Но дело не в том, что ладьи в Осеберге, Гокстаде, Туне и других местах не были сожжены. Для нас важно, что их специально оборудовали для «жизни» погребенных. Эти корабли имели на своем борту камеры-жилища со всем необходимым для жизни — оружием, посудой и т. п. Иногда они были даже обставлены мебелью. В Гокстаде покойный конунг, видимо, лежал в камере на кровати<sup>42</sup>; в Осеберге кроме кровати обнаружены резные столбы от стула<sup>43</sup>, что напоминает подобные описания в сагах.

Столь же «комфортабельными жилищами» для умерших были и камерные гробницы: столовые наборы для пиров, кухонные принадлежности, оружие и украшения обязательны для их погребального инвентаря<sup>44</sup>. Покойный в камере из Маммена лежал на кровати<sup>45</sup>, а во втором кургане Мёклебостада камера — загробное жилище имела двускатную крышу<sup>46</sup>.

Казалось бы, явное сходство труположений в камере с ингумацией в ладье должно подтвердить мнение о «жизни» умершего в своих загробных апартаментах. Но наряду с различными предметами, необходимыми для «жизни» в могиле, в тех же камерах обычно находились взнузданные кони. Здесь уже не может быть речи только о даре умершему — конь с древнейших времен является хтоническим животным, связанным с загробным миром и переносящим туда своего владельца<sup>47</sup>. Вспомним

<sup>36</sup> G. Hallström, *Monumental art of Northern Europe*, Stockholm, 1938, p. 359; E. Skjelvik, E. Straume, *Austrheimsteinen i Nordfjord*, Arbok, 1957, S. 125.

<sup>37</sup> H. R. Ellis-Davidson, Указ. раб., стр. 63, табл. 22; K. H. E. M., *Altgermanische Religionsgeschichte*, Heidelberg, 1913, Bd I, S. 155.

<sup>38</sup> H. R. Ellis-Davidson, Указ. раб., стр. 55, табл. 21.

<sup>39</sup> M. Müller-Wille, *Bestattung in Boot*, «Offa», Bd 25/26, 1970.

<sup>40</sup> Г. С. Лебедев, Камерные могилы Бирки, «Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по изучению Скандинавских стран и Финляндии», М., 1971.

<sup>41</sup> «The Viking», Gothenberg, 1966, p. 143.

<sup>42</sup> G. Jessing, *The Viking ship finds*, Oslo, 1952, p. 4—13.

<sup>43</sup> «Osebergfundet», Kristiania, 1917, v. I, p. 711, fig. 52.

<sup>44</sup> Г. С. Лебедев, Камерные могилы..., Н. Arbm an, Birka..., p. 496, и др.

<sup>45</sup> H. Shetelig, H. Falk, Указ. раб., стр. 227.

<sup>46</sup> H. Shetelig, *Gravene vid Myklebostad paa Nordfjordeid*, «Bergens Museum Arbok», 1905, № 7, p. 50.

<sup>47</sup> Д. Н. Анучин, Сани, ладья и кони как принадлежности похоронного обряда, «Древности», т. XIV, М., 180, стр. 195—226.

хотя бы поездку Хермода в Хель на коне Одина Слейпнире (перед ним по мосту, ведущему в загробный мир, проезжали «пять полчищ» мертвецов)<sup>48</sup>; на «бледном коне» собирается скакать в Вальхаллу эпический герой «Старшей Эдды» Хельги<sup>49</sup> и т. д. На готландских надгробных камнях конь, переносимый умершего в загробный мир, изображается наряду с ладьей<sup>50</sup>. Итак, кроме загробного жилища, покойному давали еще и лошадь для путешествия в загробный мир.

Но взнузданные кони есть и в упомянутых погребениях с ладьями. Так, в Туне конь вообще был, видимо, погребен стоя<sup>51</sup>, готовый сразу же отправиться в путь. В Осеберге помимо взнузданных коней было обнаружено седло<sup>52</sup>. Это напоминает дар конунга Сигурда Ринга из «Саги о Скьольдунгах». Последний хоронит убитого Харальда в колеснице и кладет ему в курган седло, заметив, что умерший может отправляться в Вальхаллу верхом или на колеснице<sup>53</sup>.

Похоже, что этот выбор средств передвижения предложен покойному наряду с загробным жилищем и в случае с ингумацией в корабле. Например, в Осеберге также обнаружены прекрасная колесница и сани<sup>54</sup>.

Сами же корабли были экипированы для плавания<sup>55</sup>: Гокстадский корабль и ладья в Лэдбю были повернуты к морю<sup>56</sup>, якорь в Лэдбю поднят<sup>57</sup>. В Каупанге отсутствие четкой ориентации ладей Ш. Блиндхейм объясняет тем, что море окружало мыс с некрополем<sup>58</sup>. Наконец, камера корабля в Туне вообще содержала... кремированные останки покойного<sup>59</sup>.

Из приведенных выше особенностей погребального обряда очевидно, что как при погребении в ладье, оборудованной для жилья, так и в камерах нашла отражение взаимосвязь двух основных представлений о загробной жизни: живущий в могиле покойник мог отправиться в еще более отдаленный загробный мир<sup>60</sup>, для чего ему нужен был корабль или конь.

Наиболее ярким примером этой взаимосвязи является погребение в одной из камер в Хедебю: восточнее камеры располагались скелеты трех лошадей, но над ней лежала ладья!<sup>61</sup> Не менее интересно и аналогичное погребение в скандинавском некрополе Урочища Плакун, где над камерой были найдены остатки сожженной ладьи<sup>62</sup>.

Следует отметить, что указанные погребения с сочетанием ладьи и камеры датируются рубежом IX—X вв., ингумация в ладьях относится к IX—X вв., а обряд погребения в камерах характерен для X в. Г. С. Лебедев справедливо считает камеры в Хедебю и Плакуне переходными формами обряда. Новая «викингская» знать, уже вырабатывающая новый обряд, не отказалась еще и от своих родовых «вендельских» обычаев — погребения в ладье<sup>63</sup>. И, как мы видели, подобный переход не затронул, собственно, основ религиозной традиции, представляющей собой

<sup>48</sup> «Младшая Эдда», Видение Гюльви, стр. 49.

<sup>49</sup> «Старшая Эдда», Вторая Песнь о Хельги Убийце Хундинга, строка 49.

<sup>50</sup> S. Lindqvist, Gotland Bildsteine, Bd I, II, Stockholm, 1941—1942.

<sup>51</sup> G. Gjessing, Указ. раб., стр. 4.

<sup>52</sup> Там же, стр. 11.

<sup>53</sup> Du Chaillu, The Viking Age, v. I, London, 1889, p. 214.

<sup>54</sup> «Osebergfundet», p. 59, 63; fig. 35, 43.

<sup>55</sup> H. R. Ellis-Davidson, Указ. раб., стр. 121.

<sup>56</sup> J. Brøndsted, Указ. раб., стр. 272; G. Gjessing, Указ. раб., стр. 6.

<sup>57</sup> K. Thorvaldsen, The Viking ship of Ladby, Copenhagen, 1961, p. 8.

<sup>58</sup> Sh. Blindheim, The market place in Skiringsaal, «Acta archaeologica», v. 31, København, 1960, p. 91.

<sup>59</sup> G. Gjessing, Указ. раб., стр. 4.

<sup>60</sup> A. Major, Ship burials in Scandinavian lands and beliefs, that underlie them, «Folk-Lore», v. XXXV, London, 1924, p. 142.

<sup>61</sup> G. Janckuhn, Haithabu, Neumünster, 1963, S. 140—143.

<sup>62</sup> Г. Ф. Корзухина, О. И. Давидан, Раскопки на Урочище Плакун близ Старой Ладоги, «Археологические открытия», 1968, М., 1969, стр. 16, 17.

<sup>63</sup> Г. С. Лебедев, Камерные могилы...

комбинацию представлений о жизни в могиле и путешествии в загробный мир.

Эта комбинация характерна и для древнескандинавской литературы. Так, Гисли наваливает на корабль камень, чтобы тот не унесло ветром, — стало быть, путешествие представлялось возможным, несмотря на ингумацию. Напротив, упомянутый Дан Гордый, желавший последовать примеру Фрейра и поселиться после смерти в кургане, приказал похоронить себя вместе с конем и упряжью. Погребение, аналогичное камере в Хедебю, описано в «Саге о Хёрде и островитянах». Хёрд проникает в камеру кургана, где похоронен викинг Сотти, и обнаруживает покойного сидящим на носу корабля, причем викинг называет свое пристанище «домом обитателей праха»; Хёрд побеждает его и отбирает сокровища, после чего Сотти проваливается сквозь землю — покидает дом-могилу<sup>64</sup>.

В «Саге о Ньяле» есть эпизод, где родственники собираются положить копье в курган Гуннара, чтобы тот сражался им в Вальхалле, в то время как сам хозяин веселится и поет в кургане<sup>65</sup>. Таким образом, родичи представляли Гуннара одновременно и живущим в могиле, и сражающимся в Вальхалле.

Наконец, самой показательной в интересующем нас отношении является «Вторая Песнь о Хельги Убийце Хундинга». Убитый в бою конунг возвращается ночью из Вальхаллы в свой курган. Там он намеревается пировать, как в собственном доме (вспомним столовые наборы для пиров в викингских погребениях), а жена его Сигрун, пришедшая встретить мужа, готовит брачное ложе (аналогия — покойные на кроватях в Гокстаде и Маммене). Но на рассвете Хельги покидает курган — он должен прибыть в Вальхаллу раньше, чем запоет петух, который разбудит героев Одина. На следующий день служанка отговаривает Сигрун посетить «жилище мертвых», так как «ночью сильнее становятся все мертвые воины, чем днем при солнце»<sup>66</sup>.

Подобно Сигрун, Гудрун ждет приезда за ней Сигурда Вольсунга из Хель<sup>67</sup>; нередко покойные приезжали из загробного мира на собственные поминки<sup>68</sup>. Короче говоря, как бы ни был далек загробный мир, связь с живыми не прекращалась.

«Песнь о Хельги» и другие источники свидетельствуют о вере в мертвецов, которые могли совершать даже каждодневные путешествия в загробный мир: ночью они живут в курганах, а с рассветом могут отправиться в Вальхаллу. Поэтому кони и лады им столь же необходимы, как и жилая обстановка в могиле.

Дело здесь не в том, что Вальхалла могла представляться как могила («зал мертвых»)<sup>69</sup>, ведь противопоставление этих двух загробных миров как раз налицо; совпадение же противоположностей вообще характерно для логики мифа<sup>70</sup> — вопрос стоит о его происхождении.

Хильда Эллис справедливо отмечает, что и положение в корабле, и кремация сосуществуют в рамках одной религиозной системы<sup>71</sup> и тем не менее противопоставляет их: по ее мнению, сожжение переносило умершего в страну богов, а ингумация обеспечивала покойному жизнь в могиле, приобщение к культу предков<sup>72</sup>. Причем практика кремации, по Х. Эллис, соотносится с «представлением о жизни, продолжающейся после уничтожения тела в каком-то другом месте, когда жизненная осно-

<sup>64</sup> «Исландские саги. Ирландский эпос», Сага о Хёрде и Островитянах, гл. 16.

<sup>65</sup> «Исландские саги», М., 1956, Сага о Ньяле, гл. 78.

<sup>66</sup> «Старшая Эдда», Вторая Песнь о Хельги Убийце Хундинга, стр. 91, 92.

<sup>67</sup> «Сага о Волсунгах», М.— Л., 1943, гл. 43.

<sup>68</sup> Du Chailly, Указ. раб., стр. 407.

<sup>69</sup> H. R. Ellis, Указ. раб., стр. 95.

<sup>70</sup> Мих. Лившиц, Критические заметки к современной теории мифа, «Вопросы философии», 1973, № 10, стр. 142.

<sup>71</sup> H. R. Ellis, Указ. раб., стр. 61.

<sup>72</sup> Там же, стр. 198.

ва — душа, если хотите, освобождается после сожжения тела». А уже это «верование... легко включает и веру в загробное путешествие в страну умерших»<sup>73</sup>.

Мы видели, что правильно отмеченные английской исследовательницей две основные концепции загробного существования и в мифе, и в обряде отнюдь не противопоставлены, а едины. То же аналогичное для нас единство содержит и представление язычников об умершем — сожженный Бальдр, занимающий «почетное место» в Хель, предстает перед Хермодом отнюдь не как дух<sup>74</sup>, вполне материальным мыслится и его возвращение в мир живых, где Бальдр призван царствовать после гибели Одина<sup>75</sup>. Это возвращение справедливо сравнивается с воскресением божеств растительности<sup>76</sup> — единой в своей смерти и воскресении природы, которой чуждо противопоставление духа и тела. Не выглядят бестелесными и герои Одина в Вальхалле: они способны не только каждодневно умирать в бою, но и воскресать для пира.

Эти представления правомерно сопоставляются с воззрениями первобытных народов<sup>77</sup> и находят аналогии у народов высокоцивилизованных. Разве «души» Гомера не боятся обнаженного меча и не жаждут крови?<sup>78</sup> Наконец, еще более разительную аналогию скандинавским мертвецам, способным находиться одновременно в двух загробных мирах, представляет Геракл, «призрак» которого обитал в Аиде, «а сам он с богами на светлом Олимпе сладость блаженства вкушал»<sup>79</sup>; Ахилл, скорбящий в подземном царстве, является к ахейцам, поднимаясь над своим курганом, и требует жертвы<sup>80</sup> и т. п.

Представления о «раздвоенном бытии» обычны для язычества<sup>81</sup>, но это еще не дуализм души и тела. Нераздельность противоположностей происходит здесь из слитности и вечности самого рода, в котором индивид встречает смерть и в котором он возрождается, согласно универсальному первобытному представлению, в лице потомка<sup>82</sup>. Разделение души и тела бессмысленно, ибо на первом плане мыслится вечное существование материального земного рода, а посему «жизненной основой» является как раз тело, правда, наделенное сверхъестественными свойствами. Для христианства, строящего свои догматы на индивидуальном сознании смертного, душа есть «первенствующее», а материя, тело — «не-сущее»<sup>83</sup>. Дух, а не род делают человека бессмертным. (Эта противоположность языческих и христианских представлений подчеркивает ценность «исследования» христианина Снорри, не переиначивающего языческие воззрения, что отчасти способна подтвердить и археология.)

Отсюда исходит и противопоставление христианства язычеству в «Флатейарбок». Когда Олаф Святой проезжал мимо кургана своего предка Олафа Гейрстадальфа (считалось, что умерший конунг возродился в своем тезке), его спросили, был ли он похоронен в этом кургане. В ответ Олаф Святой заметил, что «его душа никогда не имела и не будет иметь двух тел»<sup>84</sup>.

<sup>73</sup> Там же, стр. 61—63.

<sup>74</sup> «Младшая Эдда», Видение Гюльви, стр. 50.

<sup>75</sup> «Старшая Эдда», Прорицание Вельвы, стр. 16.

<sup>76</sup> Д. Фрэзер, Золотая ветвь, т. IV, М., 1928.

<sup>77</sup> G. Kluge, Указ. раб., стр. 1.

<sup>78</sup> Гомер, Одиссея, гл. XI, М., 1967.

<sup>79</sup> Там же, гл. XI, строки 601—604.

<sup>80</sup> Еврипид, Трагедии, т. I, М., 1969, Гекуба, строки 94—98, 534—541. См. также: А. А. Тахо-Годи, Мифологическое происхождение поэтического языка «Илиады» Гомера, «Античность и современность», М., 1972, стр. 198, 199.

<sup>81</sup> В. Г. Богораз-Тан, Христианство в свете этнографии, М., 1928, стр. 80; Л. Я. Штернберг, Первобытная религия в свете этнографии, Л., 1936, стр. 314, 315.

<sup>82</sup> А. Я. Гуревич, История и сага, М., 1972, стр. 64, 65.

<sup>83</sup> Иоанн Итал., О том как мы воскреснем с присущими нам плотскими телами, «Антология мировой философии», т. I, ч. 2, М., 1969, стр. 629.

<sup>84</sup> H. R. Ellis-Davidson, Gods and myths of Northern Europe, London, 1972, p. 155.

Для язычества раздвоение и единство противоположностей было, напротив, характерным и в связи с возрождением умершего, и в связи с его будущей жизнью в могиле или в отдаленном царстве мертвых, и в связи с погребальной обрядностью. Истоки последней определил С. А. Токарев, указав на исконное наличие «инстинкта опрятности» и «инстинкта привязанности» по отношению к телу умершего. «В наиболее распространенных способах погребения», — пишет он, — можно обнаружить, хотя бы и в весьма осложненных формах, действие тех же первичных мотивов, которые в виде темных инстинктивных действий существовали еще у наших дочеловеческих предков. Эти мотивы — стремление избавиться от тела умершего и стремление удержать его около себя. Хотя осложненные разными историческими наслоениями, эти основные мотивы выступают перед нами в погребальной практике разных народов то порознь, то в разных сочетаниях друг с другом»<sup>85</sup>.

Широкие этнографические параллели<sup>86</sup> убеждают нас в том, что и для скандинавов сожжение было способом избавления от трупа, который мог стать вредоносным «живым мертвецом»<sup>87</sup>. В Скандинавии до недавнего времени практиковался обычай сжигать постель умершего, как бы порывая таким образом последнюю связь с ним<sup>88</sup>.

Удаление трупа скандинавы-язычники мыслили как путешествие его в загробный мир; представление, несомненно, первичное по отношению к нематериальной «жизненной основе». Возможно, что быстрое сожжение трупа на костре, а также вера в загробную жизнь и способствовали возникновению представления о нематериальной душе, но понятия «душа», равнозначного христианскому, у скандинавов не было<sup>89</sup>. К тому же как раз для христианства и ислама, где душа, отделенная от грешного тела, — понятие центральное, характерна ингумация покойных. Связь «души» с уничтожением тела демонстрирует неполную расчлененность материального и идеального в язычестве.

Интересен в этом смысле следующий пример противопоставления ингумации и кремации, переданный Ибн-Фадланом: один из русов во время сожжения вождя назвал арабов глупцами, потому что те оставляют своих умерших «в прахе... и едят его насекомые и черви», а русы сжигают его «во мгновение ока, так что он немедленно и тотчас входит в рай»<sup>90</sup>. Здесь наглядно видна связь кремации с загробным путешествием. Остается выяснить, насколько последовательным было представление руса о жизни в «раю».

Оказывается, в течение 10 дней до кремации рус находился в могиле, а не в своей ладье, причем во время предшествующего многодневного церемониала к нему обращались как к живому. В то же время девушка перед принесением ее в жертву на погребальной ладье уже видит руса в раю, «сидящим в саду»<sup>91</sup>. И это до сожжения! Здесь то же раздвоение: покойный одновременно присутствует и в могиле и в загробном мире. Не в этом ли дуализме следует видеть один из корней дуализма души и тела?

Вопрос требует рассмотрения на более широком материале. Приведем здесь лишь любопытную аналогию обряду временной ингумации у Ибн-Фадлана. Воин, погребенный в Кронк Моар (остров Мэн), был завернут в плащ, содержащий остатки насекомых, которые могли поя-

<sup>85</sup> С. А. Токарев, «Ранние формы религии», М., 1964, стр. 170, 171.

<sup>86</sup> U. Schlienter, *Brandbestattung und Seelenglaube*, Berlin, 1960.

<sup>87</sup> Об универсальности этого представления см. J. Frazer, *Fear of Dead*, London, 1933. О способах расправы с «живыми мертвецами»: Ю. Липс, *Происхождение вещей*, М., 1954, стр. 386, 387.

<sup>88</sup> R. Christiansen, *The dead and the living*, «*Studia Norvegica*», v. I, № 2, Oslo, 1946, p. 38—41.

<sup>89</sup> O. Turville-Petre, *Myth and religion of the north*, London, 1964, p. 229.

<sup>90</sup> А. П. Ковалевский, *Указ. раб.*, стр. 146.

<sup>91</sup> Там же, стр. 145.

виться лишь на свежем воздухе. По данным биологического анализа, он был похоронен лишь через 20 дней после смерти<sup>92</sup>. Итак, до окончательного погребения покойный в течение нескольких дней «жил» в могиле или среди родичей и лишь затем отравлялся в загробное путешествие. Этому «компромиссному» представлению о временной жизни в могиле соответствует и широко известное этнографам поверье, будто «дух» умершего в течение определенного срока пребывает возле могилы, а потом удаляется в загробный мир, и обычай не сразу хоронить покойного, а через некоторое время после его смерти.

Так или иначе, в обрядности переплетались противоположные представления о загробной судьбе: страх перед мертвым заставлял удалять его в загробный мир, привязанность — хоронить вблизи от жилья живых родичей. Расположение курганов вблизи поселений традиционно для Скандинавии<sup>93</sup>; о нем обычно упоминают и в исландских сагах<sup>94</sup>, по сообщениям которых умершего хоронили иногда во дворе хутора<sup>95</sup>. Стремление сохранить возле себя предков, естественное для родового общества, наблюдалось наряду с довольно прочными родовыми связями и во времена викингов: идеологические устои тогда строились на традиции, т. е. на освещенном авторитете предков. Показательны в этом смысле слова Асбьерна из «Саги о Хаконе Добром». Он отклоняет предложение конунга креститься и «оставить веру отцов и всех предков, которой придерживались в век сожжения и ныне, в век курганов: а ведь они были лучшими людьми, чем мы, но и нам эта вера служила очень хорошо»<sup>96</sup>. Здесь память о «лучших» предках не случайно связана с погребальным обрядом. Сам Один обязан своей мудростью и другими свойствами тому, что «вызывал из земли мертвых»<sup>97</sup> (вспомним вёльву из «Прорицания провидицы»), «древних людей из домашних курганов»<sup>98</sup>. Обращение к авторитету предков в форме приношения жертв курганам, сидение на курганах в знак наследования свойств покойного, просьба о мудром совете и пророчества умершего — все это обычно для исландских саг<sup>99</sup>.

О значении погребения Фрейра в кургане уже говорилось: в стране сохранялись благополучие и мир. Еще явственней та же сторона погребального культа выступает в «Саге о Хальфдане Черном»: «Хальфдан конунг был самым счастливым на урожай из всех конунгов. Когда стало известно, что он умер, и тело его перевезено в Хрингарики, и его собираются там похоронить, то поехали знатные мужи из Раумарики, из Вестфольда и из Хейдмарка, и все просили дать им увезти тело, чтобы похоронить в своей области, и думалось им, что можно надеяться на урожай, если получат. И помирились на том, что тело его поделили по четырем местам, и голова положена в кургане в Стейне, в Хрингарики и каждый повез домой свою часть и похоронил в кургане, и все эти курганы называются курганами Хальфдана»<sup>100</sup>.

Курган предка важен для родового хутора, курган конунга — для всей страны. И хотя конунг Сигурд Ринг вознамерился по обычаю предков на

<sup>92</sup> S. Bersu, D. Wilson, *Three Viking graves in the Isle of Man*, London, 1966, p. 69, 70.

<sup>93</sup> Г. И. Анохин, *Общинные традиции норвежского крестьянства*, М., 1971, стр. 72, 73.

<sup>94</sup> H. R. Ellis, *Указ. раб.*, стр. 37.

<sup>95</sup> Там же; «Исландские саги», *Сага о людях из Лаксдала*, гл. 17.

<sup>96</sup> «*Наконаг saga goda*», гл. 15, цит. по: А. Я. Гуревич, *История и сага*, стр. 86.

<sup>97</sup> Снорри Стурлусон, *Сага об Инглингах*, гл. 7.

<sup>98</sup> «*Старшая Эдда*», *Песнь о Харбарде*, строфа 44.

<sup>99</sup> H. R. Ellis, *Указ. раб.*, стр. 99—119; G. Kluge, *Указ. раб.*, стр. 15; пророчества см. «Исландские саги. Ирландский эпос» (*Сага о Гренландцах*, гл. 6 и *Сага об Эйрике Рыжем*, гл. 6).

<sup>100</sup> «*Halfdanar saga Svatra*», гл. 9, цит. по: Е. А. Рыдзевская, *О земледелии в Норвегии и Исландии в IX—XIII вв.*, «Исторический архив», т. 3, Л., 1940, стр. 9.

погребальной ладье отправиться к Одину, он велел все же насыпать курган, названный курганом Ринга, а затем по волнам отправился в Вальхаллу<sup>101</sup>. Курган, будь то даже кенотаф, служил залогом присутствия покойного вблизи живых. В каком бы далеком загробном мире ни был умерший (как, например, рус Ибн-Фадлаца), курган «приближает» его к живым.

Это «приближение» испытали и сами отдаленные загробные миры: в «Флатейарбок» описан курган, в котором сражаются умершие воины. Исследователи сравнивают его с описанием Вальхаллы, которое, «видимо, связано некоторым образом с идеей жилища внутри кургана»<sup>102</sup>. Хель же сама по себе означала первоначально «укрытие», «могила»<sup>103</sup>; в сагах вход в курган обычно называют «вратами Хель»<sup>104</sup>.

Итак, для скандинавского язычества важно не то, где расположен загробный мир, что он из себя представляет, материальны или бестелесны его жители, а то, в каком отношении они находятся к живым. Будут ли они вредоносными «живыми мертвецами» или загробными благодетелями. Этот вопрос особенно важен для первобытной религии вообще<sup>105</sup>. Подобное отношение к умершим снимает проблему хаотичности и «нетрадиционности» изменчивых форм погребального ритуала в обществе, идеология которого зиждилась на традиции. В действительности обрядность в известном смысле была вполне последовательной. Языческий миф и обряд постоянно колебались между стремлением удалить умершего в загробный мир и оставить его близ сородичей.

#### TOWARDS A DEFINITION OF THE IDEAS AS TO LIFE BEYOND THE GRAVE HELD BY SCANDINAVIANS OF THE VIKING PERIOD (9th—11th CENTURIES)

Among the multifarious beliefs concerning the after-life, in connection with the variegated forms of burial ritual in pagan Scandinavia, two main types were distinguished already by Snorre Sturluson: 1) cremation of the body corresponding to a belief in the journey to Valhalla; 2) inhumation, which spelt a «life» of the dead in the grave.

Data from early Scandinavian literature shows that the pagan Scandinavians thought of their dead as living in a far-off world beyond death or near-by in their graves; but they could be removed from the latter and sent upon their after-life travels by their bodies being cremated. Some dead heroes of the Edda songs and the Sagas were represented as living both in the world-after-death and, at the same time, in their graves. Hence the constantly recurring combination in the burials of pagan Scandinavia of means for after-life travel with articles necessary for life in the grave.

A multitude of concepts on life within the grave and on travel to the after-life world may be traced in the Viking period. In a patriarchal society that had not finally ruptured its clan ties the dead man was remembered only in connection with his living clansmen. Hence mythology and ritual comprise mutually contradictory motives: that of rendering death harmless by removing the corpse and retaining, at the same time, the benefactor-ancestor by the side of his clansmen.

<sup>101</sup> H. Leach, *A pageant of Old Scandinavia*, N. Y., 1946, p. 182.

<sup>102</sup> H. R. Ellis, *Указ. раб.*, стр. 81, 82.

<sup>103</sup> H. Ueker, *Указ. раб.*, стр. 17.

<sup>104</sup> *The saga of King Heidrek the Wise*, N. Y., 1960, гл. 3; P. A. Münch, *Norrøne Gude og Heltesagn*, s. 1., 1967, s. 76.

<sup>105</sup> По словам Л. Леви-Брюля, «первобытный человек может их (покойников.— В. П.) бояться или надеяться на какое-то благодеяние с их стороны... Но что касается самих покойников, их существования вне их отношений с живыми, то сведения об этом остаются сбивчивыми, скудными часто противоречивыми. Первобытный человек, по-видимому, не так уж этим интересовался» (Л. Леви-Брюль, *Сверхъестественное в первобытном мышлении*, М., 1937, стр. 7, 8).

**Ю. И. Семенов**

## **ЕЩЕ РАЗ О МАТЕРИНСКОМ РОДЕ И БРАЧНЫХ КЛАССАХ**

Моя статья «Проблема перехода от материнского рода к отцовскому (опыт теоретического анализа)»<sup>1</sup> положила начало целой дискуссии. Первым откликнулся М. А. Членов<sup>2</sup>, вслед за ним — А. М. Хазанов<sup>3</sup>. Мои ответы<sup>4</sup> не удовлетворили названных авторов, и они снова выступили с возражениями<sup>5</sup>. Позднее в дискуссию включился М. В. Крюков<sup>6</sup>.

Все упомянутые выше авторы рассматривают разные вопросы, что вынуждает нас отвечать каждому отдельно.

### **I**

Так как приоритет в открытии дискуссии принадлежит М. А. Членову, то с его статьи я и начну.

В моей исходной статье в числе других разбирался вопрос о причинах раннего возникновения отцовского рода у австралийцев. Мной была предложена схема этого процесса, которая в качестве необходимого момента включала появление одновременно с отцовским родом системы четырех брачных классов. Эту схему и попытался опровергнуть в своей первой статье М. А. Членов. При этом он исходил из положения, что «перенесение логической модели в реальность становится закономерным только в том случае, если доказано, что данная модель является теоретически единственно возможной» (1, стр. 70), считая его само собой разумеющимся. Если этот тезис перевести на более понятный язык, он означает, что то или иное теоретическое построение может претендовать на истинность только в том случае, если оно является единственно возможным.

Исходя из этого положения как методологической основы, М. А. Членов предложил свою собственную схему возникновения брачноклассовой организации. И на одном только этом основании он сделал вывод, что наша схема ничего не дает для решения проблемы (1, стр. 71).

<sup>1</sup> «Сов. этнография», 1970, № 5 (в дальнейшем ссылки на эту статью, а также на статьи М. А. Членова, А. М. Хазанова и М. В. Крюкова даются в тексте, например, — Семенов, 1. Когда принадлежность статей ясна из контекста, фамилия опускается).

<sup>2</sup> М. А. Членов. Можно ли считать «австралийскую контроверзу» разрешенной?, «Сов. этнография», 1971, № 4 (Членов, 1).

<sup>3</sup> А. М. Хазанов. Природно-хозяйственные различия в каменном веке и проблема первичности материнского рода, «Сов. этнография», 1973, № 1 (Хазанов, 1).

<sup>4</sup> Ю. И. Семенов. Проблема исторического соотношения материнской и отцовской филиации у аборигенов Австралии, «Сов. этнография», 1971, № 6 (Семенов, 2); его же. О материнском роде и оседлости в позднем палеолите, «Сов. этнография», 1973, № 4 (Семенов, 3).

<sup>5</sup> М. А. Членов. Еще раз об австралийской контроверзе и методике ее рассмотрения, «Сов. этнография», 1974, № 6 (Членов, 2); А. М. Хазанов. О связи линейности и локальности с образом жизни. Там же, (Хазанов, 2).

<sup>6</sup> М. В. Крюков. Дает ли система брачных классов ключ к разгадке «австралийской контроверзы», «Сов. этнография», 1974, № 3 (Крюков).



Прежде всего следует сказать, что само методологическое положение, которым руководствовался М. А. Членов, вряд ли можно считать правильным. Существование нескольких теоретических объяснений одних и тех же явлений — дело совершенно обычное в науке. Установить, какое же из предложенных объяснений является истинным, можно лишь в процессе проверки их фактами, но не чисто логических рассуждений. Истинным признается такое логическое построение, которое объясняет все относящиеся к данной области факты и не находится в противоречии ни с одним из них.

Поэтому даже если бы схема, предложенная М. А. Членовым, была бы логически совершенно безукоризненной, то и в таком случае ее выдвижение, само по себе взятое, не явилось бы опровержением моей схемы. Нужно подтверждение фактами. Но эта схема далеко не безукоризненна в чисто логическом отношении, не говоря уже о соответствии с этнографическим материалом.

Схема эта, носящая чисто формальный характер, предполагает существование двух стадий. Первая из них характеризуется наличием двух отцовских родов, связанных отношениями группового дислокального брака. Это допущение чисто произвольно. Никаких данных о существовании в прошлом такой организации автор не приводит. Далее М. А. Членов столь же произвольно вводит в схему переход к матрилокальности, который сразу влечет за собой возникновение брачных классов. Это вторая стадия.

Возражая М. А. Членову, я указал, что дело даже не в том, что нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о существовании в прошлом системы двух отцовских родов, связанных групповым дислокальным браком. Мною было показано, что существование такой системы вообще невозможно (2, стр. 102—105). И как же реагировал М. А. Членов на это во второй своей статье? Стал доказывать, что такая организация могла существовать? Нет. «Ю. И. Семенов,— признает он,— справедливо упрекнул меня в попытке декларировать существование системы двух отцовских родов, связанных групповым дислокальным браком. Я полностью согласен, что гипотеза о дислокальном браке излишня как применительно к данному рассуждению, так, по моему мнению, и вообще в теории первобытности» (2, стр. 54). М. А. Членов, таким образом, признает справедливость моих доводов против первого этапа его схемы. И то обстоятельство, что его отказ от начального этапа этой схемы сопровождается декларацией об «излишности» допущения дислокального брака вообще, ничего не меняет. В отличие от системы двух отцовских родов, которая невозможна, система двух материнских родов, связанных дислокальным групповым браком, вполне возможна, что признает и сам М. А. Членов (2, стр. 57).

Так как схема развития, предложенная М. А. Членовым, включает лишь две стадии, отказ от первой из них означает признание несостоятельности всей схемы в целом. Но, может быть, он, отказываясь от старой схемы, предлагает новую? Внешне это выглядит именно так. «Вполне достаточно,— пишет он,— в качестве исходного пункта предположить два патрилинейных рода либо с произвольной локальностью, либо с матрилокальными правилами послебрачного поселения» (2, стр. 54). Вводя новую начальную стадию, автор сохраняет в качестве второй ту же самую, что была в первой схеме. Предлагаемые два варианта исходной стадии (один с произвольной локальностью брака, другой — с матрилокальностью) М. А. Членов рассматривает как равнозначные. Но нетрудно заметить, что при втором из них начальная стадия совпадает с заключительной. И в результате никакого выведения системы брачных классов из предшествующего состояния, когда этой системы не было, не получается. Что же касается первого варианта, то его вообще нельзя принять всерьез, ибо М. А. Членов никак не поясняет, что же

нужно понимать под произвольной локальностью, и не делает ни малейшей попытки набросать хотя бы схему общественной организации, характеризующейся такой локальностью. Таким образом, никакой, даже «формальной порождающей схемы» у М. А. Членова не получилось ни в первой, ни во второй статье.

В своей первой статье тезис о возникновении брачноклассовой организации в результате сочетания патрилинейности и матрилокальности М. А. Членов пытался подтвердить ссылкой на факты. Отвечая ему, я указал, что из четырех названных племен сочетание патрилинейности с матрилокальностью отмечено только у одного — *мундуруку*, причем у последнего не обнаружено ни зачатков, ни пережитков брачноклассовой организации. Мною было подчеркнуто, что науке не известен ни один случай существования брачных классов при сочетании патрилинейности и матрилокальности. М. А. Членов даже не попытался оспорить этих положений, признав тем самым их справедливость. Указал я также, что и сочетание матрилинейности с патрилокальностью, само по себе взятое, еще не порождает брачных классов. Известно много народов с магеринским родом и патрилокальным браком, но без каких-либо следов брачных классов. Все эти данные не мог в какой-то степени не принять во внимание и М. А. Членов. «Я не буду утверждать,— пишет он,— что эта разница (линейности и локальности.— Ю. С.) является решающим условием для возникновения брачных классов вообще» (2, стр. 54). Однако это не мешает ему буквально тут же отстаивать концепцию, в которой данное различие не просто решающий, а единственный фактор, вызывающий появление брачных классов.

И вообще более чем странной представляется сама по себе вся логика рассуждения автора. В самом деле, М. А. Членов фактически признал справедливость наших доводов против начального этапа его схемы и отказался от него, а тем самым и от всей схемы в целом, фактически согласился с тем, что его главная идея не имеет под собой никакого фундамента. И вдруг он задает вопрос: «Что не устраивает Ю. И. Семенова в этой схеме? Видимо, то, что исходным пунктом является отцовский род, так как на основании работ самого же Ю. И. Семенова известно, что первоначальной формой социальной организации человечества была дуальная материнско-родовая система при господстве дислокального брака... Здесь мы впервые сталкиваемся с системой доказательств, идущей по замкнутому кругу. Существует выдвинутая гипотеза, в которой ход эволюции представляется таким-то и таким-то образом. В рамках этой гипотезы утверждается, что существовало определенное явление. Автор гипотезы развивает ее дальше для доказательства того, что данное явление действительно существовало, и пытается обосновать это ссылками на саму же гипотезу! Подобного рода система аргументации порочна по существу» (2, стр. 53, 54).

Вся эта длинная тирада порождена противоречием между невозможностью опровергнуть мои доводы, с одной стороны, и стремлением убедить читателя, что все эти доводы успешно опровергнуты — с другой. На подмене опровержения видимостью опровержения построена собственно вся вторая статья М. А. Членова.

Помимо явно неудавшейся попытки опровержения предложенной мною схемы путем создания собственной М. А. Членов в первой статье выдвинул и целый ряд прямых возражений против моей схемы. В частности, он упрекнул меня в том, что я лишь вскользь говорю о переходе к патрилокальности (1, стр. 68). В ответе я указал, что в моей исходной статье переходу к патрилокальности было уделено особое внимание, и в доказательство сослался на соответствующие страницы. Но, по-видимому, для М. А. Членова этого оказалось недостаточно. Вероятно, мне надо было процитировать хотя бы несколько мест из статьи, в которых

говорилось о переходе к патрилокальности. Я этого не сделал, и в результате во второй статье М. А. Членова появилось утверждение, что о переходе к патрилокальности в моей статье вообще прямо не говорится, что об этом можно только догадываться. Приведа одно место из моей статьи, М. А. Членов пишет: «Здесь, правда, ничего не говорится о патрилокальности, но проницательный читатель может понять, что раз мальчики остаются в локале, то девочкам из локаля придется уйти» (2, стр. 54). Однако в действительности никакой проницательности от читателя не требуется. Чуть ниже приведенного места в статье прямо указывается, что «оставление мужчин внутри локалей должно было иметь своим неизбежным следствием переход женщин из одного локаля в другой. Переход в другой локаль происходил со вступлением в брак» (Семенов, 1, стр. 66). Что может быть яснее? Еще ниже: «Брак и в нашей теоретической схеме, и в действительности у австралийцев был патрилокальным» (Семенов, 1, стр. 68). Вряд ли нужно цитировать дальше.

Приписывая мне намерение по возможности прямо не говорить о переходе к патрилокальности, М. А. Членов объясняет его тем, что этот переход в условиях группового брака выглядит крайне странным, необъяснимым (1, стр. 69). Однако, согласно моей схеме, этот переход произошел в условиях не группового, а уже парного брака, о чем и было сказано в моем ответе М. А. Членову (2, стр. 109). Казалось бы, что М. А. Членову проще всего было проверить мое утверждение, а затем, в зависимости от результата, либо признать свою ошибку, либо уличить меня в искажении истины. Однако ничего подобного он не делает. Он снова повторяет свое утверждение, сопровождая его целой серией рассуждений, не имеющих никакого отношения к этому вопросу (2, стр. 55).

В своей последней статье М. А. Членов немало места уделяет доказательству того, что у народов с материнским родом может существовать и существует индивидуальный брак. При этом он делает вид, что опровергает положения, выдвинутые и отстаиваемые мною. Он пытается даже уличить меня в противоречии. «Ведь Ю. И. Семенов,— пишет он,— в своей схеме оперирует материнскими родами и тем не менее применяет к ним понятия отца и мужа, в которых они, по его собственному заверению, не нуждаются» (Членов, 2, стр. 53).

Но я никогда не доказывал и не собирался доказывать, что материнский род не совместим с индивидуальным браком. Существование такого брака у всех, без исключения, народов, известных этнографии, в том числе и тех, у которых был материнский род,— факт, который я никогда и нигде не ставил под сомнение. В своей статье я утверждал совсем иное, а именно: если «патрилинейная группа без индивидуального брака существовать не может», то «существование матрилинейной группы не предполагает с необходимостью наличия брачных отношений между индивидами» (2, стр. 104). Я намеренно привел те самые места из статьи, которые были процитированы М. А. Членовым. И они не допускают двоякого толкования. В них отнюдь не утверждается, что индивидуальный брак не совместим с материнским родом. В них говорится только, что существование материнского рода без индивидуального брака возможно, а отцовского — невозможно.

Согласно моей точке зрения, материнский род не только мог существовать без индивидуального брака, но и на самом раннем этапе своего развития действительно существовал без него. В дальнейшем на определенной стадии эволюции того же самого материнского рода возник индивидуальный брак (Семенов, 1, стр. 60, 61). И вполне понятно, что начиная с этого момента применение к материнско-родовому обществу понятий и «мужа», и «отца» становится не только возможным, но и необходимым.

Следует сказать, что М. А. Членов не мог не чувствовать крайней слабости своих позиций. От выдвинутой им схемы развития пришлось фактически отказаться. А ведь на ней, собственно, и была построена вся система опровержения. Несостоятельными оказались и все прямые доводы против предложенной мной схемы эволюции. «Модель, предложенная Ю. И. Семеновым,—вынужден был признать М. А. Членов (2, стр. 57),—возможно, не хуже любой другой; более того, возможно, что именно так и было...». По-видимому, это и побудило М. А. Членова объявить, что моя схема не имеет существенного значения для решения вопроса о характере первоначального рода у австралийцев. Причем он утверждает, что именно такого мнения придерживаюсь я сам. Доказательства? Вот они. В моем ответе на его первую статью было сказано, что в исходной работе «матрилинейный характер первоначального рода аборигенов Австралии обосновывается вовсе не методом создания чисто формальных моделей» (2, стр. 102). Это утверждение М. А. Членов толкует как признание мной того, что предложенная схема не является «центральным моментом доказательства» (2, стр. 52), «на самом деле носит подчиненный характер» (2, стр. 52) и т. п. И без каких-либо последующих доказательств далее утверждается: «Мы уже выяснили, что формальная схема не являлась для Ю. И. Семенова решающим аргументом в пользу существования у австралийцев изначального материнского рода, а лишь иллюстрировала его общие теоретические положения, в основе которых лежала посылка об универсальности материнского рода как изначальной стадии общественного развития» (2, стр. 55).

В действительности моя позиция не имеет ничего общего с той, которую М. А. Членов пытается мне приписать. Слова о том, что в моей статье первичность материнского рода у австралийцев доказывается вовсе не методом создания чисто формальных моделей, отнюдь не означают, что предложенная схема не является средством доказательства данного положения. Просто имелось в виду, что эта схема не является формальной. Не надеясь (и, как оказалось, совершенно правильно) на проницательность всех читателей, я специально это подчеркнул. «Представляя собой обобщение фактического материала, наша схема,—писал я,—является не чисто формальной, как это утверждает М. А. Членов, а содержательной. В отличие от той, которую пытался создать М. А. Членов, в нашей схеме отсутствуют ни на чем не основанные произвольные допущения» (2, стр. 108). Любая содержательная схема представляет ценность лишь постольку, поскольку она находит подтверждение в фактах. И вполне понятно, что большое внимание в моей статье было уделено именно фактическому обоснованию развиваемой в ней концепции. Приводя данные, говорящие в пользу этой схемы, я тем самым обосновывал и положение о первичности материнского рода у австралийцев. Совершенно очевидно, что я не пренебрегал и фактами, непосредственно свидетельствовавшими в пользу последнего тезиса. Были использованы все методы доказательства, исключая лишь тот, который пытается во что бы то ни стало приписать мне М. А. Членов в своей второй статье,—а именно тот, который в логике получил наименование «порочного круга».

В частности, М. А. Членов уверяет, что именно такой прием был использован мной для доказательства того, что из двух сосуществовавших у австралийцев филиаций первичной была материнская (2, стр. 55—56). Что ж, рассмотрим, какие в действительности аргументы были мной приведены.

Первый из них состоял в том, что «по самой своей структуре материнский род более архаичен, чем отцовский» (2, стр. 108). М. А. Членов возражает: «Первый аргумент, как известно, оспаривается многими исследователями, не только зарубежными, но и советскими» (2, стр. 56). Далее следует ссылка на две работы. Однако ни один из названных им

авторов не занимался сравнительным анализом внутренней структуры материнского и отцовского родов и не высказал своего мнения по этому вопросу. Они просто утверждали, что нельзя рассматривать материнский род как первоначальный, а отцовский как более поздний. М. А. Членов имел бы полное основание ссылаться на их труды, если бы мой аргумент заключался в утверждении, что материнский род является более древним, чем отцовский. Но в таком случае мы имели бы дело вовсе не с аргументом, а с самим доказываемым тезисом, и М. А. Членов был бы вправе упрекнуть меня в методе доказательства по принципу порочного круга. Однако в действительности я утверждаю иное, а именно, что по своей внутренней структуре материнский род более архаичен, чем отцовский. Доказательству этого положения я уделил много места в ответе М. А. Членову (2, стр. 103—105). Не желая повторяться, укажу лишь, что большую архаичность материнского рода по сравнению с отцовским я вижу в том, что первый мог существовать без индивидуального брака, а второй — не мог. Иначе говоря, материнский род мог существовать на стадии, характеризующейся наличием одного лишь группового брака, а отцовский не мог, его возникновение стало возможным лишь с появлением парного брака. Существует огромное количество фактических данных, которые свидетельствуют о существовании в прошлом группового брака и его большей древности, по сравнению с индивидуальным. Свидетельствуя об этом, они тем самым говорят и о большей древности материнского рода в сравнении с отцовским. Конечно, мою аргументацию можно оспаривать, но никакого порочного круга в ней нет. И кстати, никто ее пока не попытался оспаривать, не исключая М. А. Членова.

Второй мой аргумент состоял в том, что «науке не известен ни один случай перехода от отцовской филиации к материнской, в то время как зарегистрировано множество примеров обратного движения» (2, стр. 108). Опровергая его, М. А. Членов ссылается на исследование М. Джаспена, в котором, по его словам, описан совершившийся в 30-х годах XX в. у 18 южносуматранских этносов переход от отцовского рода к материнскому. Увы, и здесь мы имеем дело не с действительным опровержением, а с созданием видимости опровержения.

Прежде всего, в книге М. Джаспена описываются изменения общественной структуры лишь одного этноса — *реджанг*. Такие же изменения, трактуемые автором как переход от «патрилинейной организации к матрилинейной», произошли, по его утверждению, в те же самые 30-е годы XX в. еще у нескольких народов. В тексте книги упоминается лишь шесть таких этносов (не считая реджанг) <sup>7</sup>, причем об одном из них (*кисим*) чуть ниже сообщается, что счет родства у него остался для автора неясным <sup>8</sup>. Как признает автор, неясным для него остался и счет родства у *киким* <sup>9</sup>, что, правда, не помешало ему поместить на карте этот народ среди тех, что перешли от патрилинейности к матрилинейности <sup>10</sup>. Кстати сказать, на той же самой карте упоминавшиеся выше *кисим* отмечены как этнос, у которого матрилинейная организация существовала еще до 30-х годов. Относительно *семендо* мы узнаем, что по крайней мере последние три века у них существовали материнские роды. Автор предполагает, что когда-то у них существовала патрилинейная организация, но никаких доводов в пользу такого предположения не приводит <sup>11</sup>.

<sup>7</sup> М. А. J a s p a n, From patriliney to matriliney. Structural change among the Redjang of Southwest Sumatra, v. I—II, 1964, p. 359.

<sup>8</sup> Там же, стр. 363.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Там же, стр. 2.

<sup>11</sup> Там же, стр. 360—363.

Далее, как указывает сам М. Джаспен, по вопросу о характере изменений, происходивших у *реджанг*, существуют разные точки зрения. Крупнейший индонезийский исследователь Хазаирин в опубликованной в 1936 г. работе о *реджанг* утверждал, что эволюция общественной организации этого народа шла от материнского рода к отцовскому и от него к билатеральной организации<sup>12</sup>.

Но самое главное состоит в том, что если даже принять на веру все приводимые М. Джаспеном данные, то и тогда нарисованный им переход *реджанг* от патрилинейности к матрилинейности никак не может быть истолкован как смена отцовского рода материнским. Если верить данным М. Джаспена, у *реджанг* действительно в прошлом существовали подлинные отцовские роды, характеризовавшиеся унилинейностью и экзогамией<sup>13</sup>. К настоящему времени они исчезли. Но материнские роды на смену им не пришли. Сейчас у *реджанг* нет ни отцовских, ни материнских родов. У них существуют объединения, именуемые М. Джаспеном «кланами». Эти «кланы» делятся на «субкланы», а последние на «линиджи». Но ни одна из названных групп не может быть охарактеризована как род. Ни одна из них не является ни унилинейной, ни экзогамной<sup>14</sup>. Принадлежность человека к той или иной группе зависит от формы брака его родителей. При одной форме брака (*belékét*) человек причисляется к группе отца, при другой (у семендо) — к группе матери. В результате часть членов группы входит в нее потому, что к ней принадлежали их отцы, а другая часть — в силу того, что к ней принадлежали их матери. Таким образом, матрилинейность и патрилинейность, существующие в настоящее время у *реджанг*, не представляют собой филиации, т. е. счета принадлежности к экзогамной группе по одному из родителей<sup>15</sup>. Группировки, подобные тем, что ныне существуют у *реджанг*, не представляют собой уникального явления. Они принадлежат к тому роду объединений, которые в зарубежной этнографии получили название «неоднoliniейных» родственных групп. К настоящему времени о такого рода объединениях существует обширная литература<sup>16</sup>. Но М. Джаспен указывает, что в обществе *реджанг* принадлежность к группе по отцу становится все более редким явлением, а принадлежность к ней по матери — все более частым. Не логичным ли будет предположить, что этот процесс завершится возникновением чисто матрилинейных групп, обладающих всеми признаками родов? Весь материал, приводимый М. Джаспеном, дает основание только для отрицательного ответа. Параллельно с отмеченным М. Джаспеном сдвигом шел неуклонный процесс исчезновения экзогамии. Вначале перестали быть экзогамными кланы, затем субкланы и, наконец, линиджи. Сейчас брак невозможен фактически лишь между родными братьями и сестрами<sup>17</sup>. Иначе говоря, к настоящему времени экзогамия в обществе *реджанг* практически исчезла. Не являются экзогамными и те объединения,

<sup>12</sup> Hazairin, De Redjang: de Volksordening, het verwantschapshuwelijks — en erfrecht. Bandung, 1936. Взгляды Хазаирина изложены: М. А. Жаспан, Указ. раб., стр. 152.

<sup>13</sup> М. А. Жаспан, Указ. раб., стр. 141—150.

<sup>14</sup> Там же, стр. 150, 257, 319, 342, 356—358.

<sup>15</sup> См. об этом Ю. И. Семенов, Происхождение брака и семьи, М., 1974, стр. 161—162, 231—232.

<sup>16</sup> W. H. Goodenough, A problem in Malayo-Polynesian social organisation, «American Anthropologist», vol. 57, № 1, pt. 1, 1955; R. Firth, A note on descent groups in Polynesia, «Man», vol. 57, art. 2, 1957; W. Davenport, Nonunilinear descent and descent groups, «American Anthropologist», vol. 61, № 4, 1959; M. Ember, The nonunilinear descent groups of Samoa, Там же, vol. 61, № 4, 1959; N. L. Solien, The nonunilinear descent group in the Caribbean and Central America, Там же; R. Fox, Kinship and marriage, Harmondsworth, 1967.

<sup>17</sup> М. А. Жаспан, Указ. раб., стр. 342.

которые М. Джаспен именует «матрилиниджами». В них поэтому нельзя видеть не только материнских родов, но даже и зачатков таких родов.

Таким образом, вопреки утверждению М. А. Членова мой аргумент остается в силе: науке не известен ни один случай перехода от отцовского рода к материнскому. И вполне понятно, что применение его не имеет ничего общего с доказательством по принципу порочного круга.

Третий мой аргумент состоял в том, что «во всех известных обществах с двойной филиацией патрилинейность представляет собой явление более позднее, чем матрилинейность» (2, стр. 108). «Кем доказано? — парирует этот аргумент М. А. Членов. — Соответствующих ссылок в работе Ю. И. Семенова мы не находим. Нельзя же действительно делать такой вывод на основании цитаты из Дж. П. Мердока... Следовательно, и третий аргумент навеян скорее теоретическими воззрениями автора, нежели анализом конкретного материала» (2, стр. 56, 57).

Мне совершенно непонятно, почему М. А. Членов так легко сбрасывает со счета мнение Дж. Мердока, категорически утверждавшего, что «во всех обществах с вполне развитой двойной филиацией матрилинейные родственные группы возникли первыми, а правило патрилинейной филиации представляет собой явление, развившееся вторично»<sup>18</sup>. Ведь совершенно очевидно, что этот вывод никак не мог быть навеян теоретическими воззрениями автора. Как хорошо известно, Дж. Мердок всегда был противником материнскородовой теории. На какой же основе этот вывод был сделан? На самой прочной — на базе анализа конкретного фактического материала. Дж. Мердок одним из первых специально занялся исследованием двойной филиации. Со дня появления первой его работы, посвященной этой проблеме, прошло 35 лет<sup>19</sup>. И в последующие годы он активно работал в этой области, уделяя, в частности, особое внимание вопросу о том, какая из двух сосуществующих в том или ином обществе филиаций представляет собой более раннюю, а какая более позднюю<sup>20</sup>. Предложенное Дж. Мердоком решение этого вопроса в настоящее время в зарубежной литературе никем не оспаривается. Совсем неудивительно поэтому, что М. А. Членов в своей попытке опровергнуть его не смог опереться на мнение не только столь же авторитетного в этой области исследователя, но и вообще ни одного специалиста. Не смог он привести и фактических данных. Упрекая меня в отсутствии «соответствующих ссылок», сам он предпочел вообще обойтись без каких-либо доказательств. По-видимому, он полагает, что читатели ему обязаны верить на слово. Таким образом, выдвинутое нами в качестве третьего аргумента положение в достаточной степени обосновано. И опять-таки тот же самый вопрос: где же здесь аргументация по принципу порочного круга?

Кстати сказать, в своей статье при решении вопроса о том, какая же из двух существовавших в австралийском обществе филиаций более древняя, я вовсе не ограничивался лишь тремя приведенными выше общими аргументами. Я использовал конкретные материалы по этнографии австралийцев, достаточно убедительно, на мой взгляд, свидетельствующие о том, что материнский род у них более древний, чем отцовский (1, стр. 69, 70). М. А. Членов этих аргументов вообще не рассматривает. Почему? По-видимому, потому, что он не может их опровергнуть. И кроме того, что случилось бы тогда с его утверждением, что вся моя аргументация строится по принципу порочного круга?

<sup>18</sup> G. P. Murdock, *Social structure*, N. Y., 1965, p. 218.

<sup>19</sup> G. P. Murdock, *Double descent*, «*American Anthropologist*», vol. 42, № 4, pt. 1, 1940.

<sup>20</sup> G. P. Murdock, *Social structure*, p. 211, 212, 218.

В своей второй статье А. М. Хазанов старательно избегает основных пунктов, по которым у меня с ним шла полемика, сосредоточивая внимание на второстепенных моментах, а также поднимая вопросы, которые в его первой статье вообще не рассматривались. И это не случайно.

В самом деле, на что он претендовал в своей первой статье? На полное опровержение защищаемой мной концепции, необходимым моментом которой является положение об универсальной первичности материнского рода. И какое же средство он избрал для этого? Прежде всего он приписал мне взгляд, согласно которому причиной матрилейности первоначального рода была оседлость (1, стр. 119). Из этого следовало, что краеугольным камнем моей концепции является тезис о всеобщем характере оседлости в эпоху верхнего палеолита. И этот краеугольный камень он попытался выбить. Основная часть его статьи была посвящена обоснованию того, что по всей ойкумене, исключая лишь Европу и, может быть, Сибирь, люди в верхнем палеолите вели не оседлый, а бродячий образ жизни. Правильность этого положения он объявил не подлежащей сомнению. Отсюда следовал вывод, что защищаемую мной концепцию можно считать полностью опровергнутой.

В своем ответе я указал, что никогда не рассматривал оседлость как причину матрилейности первоначального рода и что поэтому вопрос о том, была ли оседлость в верхнем палеолите всеобщим явлением, или же наряду с оседлыми группами существовали и бродячие, не имеет принципиального значения для моей концепции. И даже более того — второе решение является более предпочтительным. А. М. Хазанов во второй статье даже и не пытается опаривать справедливость моих слов. Утверждения о том, что я вывожу матрилейность из оседлости, мы в ней больше не находим. Это можно понять только как признание его ошибочным. Но отказ от этого положения означает крушение всей системы аргументации. Ведь даже если бы А. М. Хазанову действительно удалось доказать, что по всей ойкумене, исключая Европу и Сибирь, господствовал бродячий образ жизни, то и это не означало бы опровержения моей концепции. Однако доказать это ему не удалось. Он использовал два приема для обоснования данного тезиса. Первый из них заключался в указании на условия среды, исключавшие, по мнению А. М. Хазанова, возможность существования у охотников и собирателей данного региона оседлого образа жизни. Для всех этих регионов мной были приведены примеры охотников и собирателей, которые вели переменнo-оседлый и сезонно-оседлый образ жизни (3, стр. 59—61). Второй — ссылка на работы археологов, в которых, по утверждению А. М. Хазанова, содержатся доказательства бродячего образа жизни верхнепалеолитических насельников того или иного региона. Я показал неточность всех этих ссылок. В одних работах на указанных страницах содержались лишь утверждения, что охотники и собиратели вели бродячий образ жизни, не сопровождаемые доказательствами, а в других — ни на указанных страницах, ни на других — подобных утверждений вообще не было (3, стр. 58—61). А. М. Хазанов во второй статье даже не пытается это опровергнуть. Он ограничивается заявлением, что «поскольку ссылки на соответствующую литературу имеются в подстрочных примечаниях к моей статье, любой желающий может сам проверить, кто из нас прав» (2, стр. 59). А ведь что могло бы быть проще? Трудно использовать цитирование для подтверждения того, что в данной работе отсутствуют те или иные положения. Но подтвердить путем приведения цитат наличие в работе тех или иных положений не представляет труда. И отказ от такого способа доказательства своей правоты равносителен признанию справедливости возражений. Собственно, А. М. Хазанов во второй статье уже и не настаивает на том, что осед-



льный образ жизни в позднем палеолите был ограничен лишь Европой и Сибирью. Он говорит лишь о том, что в верхнем палеолите наряду с оседлостью существовало и бродяжничество (2, стр. 59). Против такой точки зрения у меня нет возражений. Именно ее я и отстаивал в своем ответе А. М. Хазанову (3, стр. 61, 62).

Таким образом, во второй статье А. М. Хазанов фактически вынужден был снять основные положения, выдвинутые им в первой. И ему остается лишь упираться на то, что Ю. И. Семенов в своей исходной статье образ жизни в позднем палеолите характеризовал как оседлый, и трактовать признание его оппонентом в ответной статье сосуществования оседлости и бродяжничества в эту эпоху как существенное отступление от защищаемой им концепции.

В своем ответе А. М. Хазанову я уже отметил, что вопреки его утверждению никакой собственной концепции оседлости в позднем палеолите я не выдвигал. Я никогда не доказывал и не собирался доказывать всеобщего распространения оседлости в эту эпоху. О существовании оседлости в верхнем палеолите говорится в любом обобщающем труде по археологии. И я принял это положение, не вдаваясь в детали, не уточняя, в частности, было ли это явление всеобщим или нет, ибо, повторяю, то или иное решение вопроса не имело принципиального значения для развиваемой мною концепции первобытности. Статья А. М. Хазанова сделала необходимым уточнение моей точки зрения по этому вопросу. И я ее уточнил, что не потребовало от меня отказа ни от одного положения выдвинутой мной концепции.

Как известное отступление от моих первоначальных взглядов А. М. Хазанов пытается представить и введение мною дробной классификации образов жизни. В его изображении это столкнуло меня с «важным вопросом», который я постарался обойти (Хазанов, 2, стр. 58). В действительности же были затронуты совершенно незначительные детали моей схемы, которых не имело смысла касаться. И если я здесь эти детали рассматриваю, то только затем, чтобы положить конец такому толкованию.

Напомню, что в моей исходной статье были выделены три основных варианта эволюции. Это положение остается в силе. Первый вариант связан с вековой, годовой, переменной, а в некоторых случаях и с сезонной оседлостью. Бродячий, бродяче-оседлый, а в некоторых случаях и оседло-бродячий образы жизни влекли за собой (причем тем быстрее, чем более подвижным был образ жизни) с появлением избыточного продукта переход от системы двух материнских родов, связанных дислокальным групповым браком, к системе двух общин, каждая из которых состояла из мужской части одного материнского рода и женской части другого. И наконец, сохранение после этого перехода в течение крайне длительного времени бродячего (передвижно-бродячего и подвижно-бродячего) образа жизни могло привести к появлению наряду с материнским родом отцовского и соответственно системы брачных классов (третий вариант развития).

Непонятно, почему А. М. Хазанов пытается представить в качестве камня преткновения для моей концепции вопрос о влиянии на исходную дуально-родовую организацию переселения предков австралийцев из Юго-Восточной Азии в Австралию. На мой взгляд, в ходе его первоначальная дуально-родовая организация превратилась в упоминавшуюся выше систему общин. Община, состоящая из мужской части одного материнского рода и женской части другого, была не менее приспособлена к подвижному образу жизни, чем, скажем, локальная группа австралийцев XIX в.

И еще одно. В своей первой статье А. М. Хазанов заявил, что мной осталось совершенно не объясненным, каким же образом дислокальный брак мог сочетаться с подвижным образом жизни (1, стр. 120, 121).

В ответе я указал на ряд обычаев и легенд, которые позволяют представить, каким именно образом могли осуществляться половые отношения между раздельно проживающими мужчинами и женщинами. Во-первых, группа представителей одного пола могла посещать места, где в данный момент находились представители другого, во-вторых, два материнских рода, связанные узами брака, могли время от времени сходиться на короткий период.

Стал ли после этого А. М. Хазанов доказывать, что дислокальный брак в принципе не мог сочетаться с подвижным образом жизни, что мне не удалось показать возможность их совмещения? Нет, не стал. Он занялся другим: стал утверждать, что предложенную мной интерпретацию названных обычаев нельзя считать доказанной. Но единственный его довод против предложенного мной истолкования обычаев типа улатиле состоял в том, что я не рассмотрел и не опроверг всех вообще возможных объяснений этих явлений. Перед А. М. Хазановым стояла гораздо более легкая задача — опровергнуть одно-единственное объяснение происхождения этих явлений — мое, показать его несоответствие с фактами. И он с этой задачей не справился. Не смог он предложить и какое-либо иное объяснение происхождения данных обычаев.

Вряд ли, на наш взгляд, подкрепляет позицию А. М. Хазанова ссылка на то, что не он один выступает с критикой используемого мной метода реконструкции прошлого состояния человечества по данным этнографии, а также обращение в этом вопросе к авторитету Б. Малиновского (2, стр. 60).

Ведь даже зарубежные исследователи признают, что взгляды Б. Малиновского по вопросу о так называемых пережитках отличаются крайним эмпиризмом и антиисторизмом<sup>21</sup>. Он прямо отвергал возможность реконструкции прошлого состояния общества по его современному состоянию<sup>22</sup>. Но такая реконструкция нередко является единственным способом проникнуть в глубины времен. И поэтому совершенно неудивительно, что тем методом, который осуждается в статье А. М. Хазанова, успешно пользовались и пользуются многие советские ученые, среди которых можно упомянуть А. М. Золотарева, С. П. Толстова, Ю. П. Аверкиеву.

Привлекаемые мной в качестве доказательств данные фольклористики А. М. Хазанов опровергает несколько иным путем. Прежде всего он приписывает мне мысль, что некогда существовавшие общественные институты нашли свое адекватное отображение в фольклоре. Затем он утверждает, что в приведенных мной примерах такого адекватного соответствия не существует, и на этом основании делает вывод о несостоятельности моей аргументации.

Но всего этого А. М. Хазанову кажется мало, и он обращается к истории этнографии и фольклористики. Как он утверждает, еще в конце XIX в. была продемонстрирована несостоятельность антропологической школы в фольклористике, развивавшей ту же самую идею. И всякие попытки возродить ее неизбежно обречены на провал. Доказательство — ссылка на работу Е. М. Мелетинского «Герой волшебной сказки».

При чтении этого места статьи А. М. Хазанова создается впечатление, что он плохо понял мою точку зрения.

Прежде всего, считая, что некогда существовавшие общественные институты и обычаи могли найти свое отображение в фольклоре, я никогда не рассматривал это отражение как адекватное. По моему мнению, оно с неизбежностью должно было носить во многом иллюзорный характер. Можно говорить лишь о рациональных зернах в легендах, преданиях

<sup>21</sup> См.: I. C. Jarvie, *The revolution in anthropology*, London, 1964; E. Gellner, *Cause and meaning in social sciences*, London and Boston, 1973, p. 138—143.

<sup>22</sup> B. Malinowski, *Scientific theory of culture and other essays*, Chapel Hill, 1944, p. 28—31.

и т. п., использование которых помогает попытке реконструировать отдельные черты прошлого общественного устройства, обычаи, верования и т. д. О таком именно подходе в достаточной степени убедительно свидетельствуют приведенные примеры.

Сама по себе идея отображения некогда существовавших общественных институтов, верований, обычаев в фольклоре и была, и остается глубоко научной. Большую роль в ее разработке сыграла в свое время антропологическая школа. Попытки объявить научно несостоятельной основную ее идею были предприняты лишь представителями различных антиэволюционных течений. В противовес им объективные истории фольклористики всегда отмечали тот крупный вклад в науку, который был сделан «антропологистами»<sup>23</sup>. Не отрицал научных заслуг «антропологистов» и Е. М. Мелетинский<sup>24</sup>. И критиковал он их вовсе не за принятие ими идеи отображения обычаев, верований в фольклоре, а за присущую им ограниченность в трактовке этой идеи, за ошибки, допущенные при конкретном ее применении<sup>25</sup>. Истинность самой этой идеи бесспорна для большинства советских ученых. На новой методологической основе она получила свою разработку в блестящем труде советского фольклориста В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки» (Л., 1946), получившем высокую оценку того же Е. М. Мелетинского<sup>26</sup>. Можно назвать также работы А. М. Золотарева, С. П. Толстова, Б. О. Долгих, Б. А. Рыбакова, Ю. П. Аверкиевой и самого Е. М. Мелетинского.

### III

Статья М. В. Крюкова выгодно отличается от двух рассмотренных выше. В ней спор идет по основным вопросам. Правда, к сожалению, отдельные неточности в изложении моей концепции имеются и в данной статье. М. В. Крюков, например, утверждает, что в своей статье я фактически выделяю «три различных этапа родового строя» (стр. 61), связывая переход от второго из них к третьему с превращением потребительской ячейки (сусу или парной семьи) в ячейку хозяйствования и накопления, и отношу к этому последнему этапу аборигенов Австралии. Здесь мне приписана явная бессмыслица. Ведь выходит, что, согласно моей точке зрения, у австралийцев парная семья уже превратилась в ячейку накопления и хозяйствования, т. е. что у них не только начался, но и уже далеко зашел процесс накопления богатств в руках отдельных лиц, процесс становления обособленной собственности и имущественной дифференциации. Но тогда ни о какой «австралийской контроверзе», с моей точки зрения, не может быть и речи. А ведь именно ее разрешение и посвящена значительная часть той самой моей статьи, которую критикует М. В. Крюков. И в ней суть «австралийской контроверзы» определена значительно более четко и ясно: хотя у австралийцев процесс накопления богатств в руках отдельных лиц еще не начался, отцовский род у них уже существовал.

Ошибка М. В. Крюкова связана с тем, что он не обратил должного внимания на то, что в моей статье выделены три разных варианта развития. В одном из них, а именно в том, который находится в центре внимания М. В. Крюкова, — варианте, завершившемся возникновением брачных классов, действительно можно выделить три этапа, но переход от второго из них к третьему никоим образом не связан с превращением парной семьи в ячейку хозяйствования и накопления.

<sup>23</sup> См., например, Д. Коккьяра, История фольклористики в Европе. М., 1960, стр. 451—486.

<sup>24</sup> Е. М. Мелетинский, О книге Д. Коккьяра, в кн.: Д. Коккьяра, Указ. раб., стр. 9, 10.

<sup>25</sup> Е. М. Мелетинский, Герой волшебной сказки, М., 1958, стр. 4, 5.

<sup>26</sup> Там же, стр. 7.

Отметив эту неточность, перейдем к сущности возражений М. В. Крюкова против отстаиваемого мной взгляда на возникновение брачноклассовой организации австралийцев. Различие его и моей точек зрения по этому вопросу коренится в принципиально разном понимании сущности брачных классов. М. В. Крюков исходит из того, что брачные классы существуют не только у австралийцев, но и вообще в любом обществе с дуально-родовой организацией. Но в большинстве таких обществ, считает он, брачные классы обозначаются только терминами родства, носящими относительный характер. У австралийцев же брачные классы имели также и абсолютные названия, возникшие позже относительных терминов. Кроме австралийцев, именованные брачные классы существовали и у древних китайцев.

Соответственно с этим перед М. В. Крюковым встают две разные проблемы. Первая — вопрос о том, как возникли сами брачные классы, вторая — вопрос о том, как и почему у некоторых народов наряду с относительными обозначениями брачных классов возникли и абсолютные их наименования. Так как брачные классы, как понимает их М. В. Крюков, существовали не только у австралийцев, но и у народов как с одним лишь материнским, так и с одним лишь отцовским родом, то вполне понятно, что проблема их происхождения не имеет никакого отношения к вопросу о переходе от материнской филиации к отцовской вообще и к австралийской контроверзе в частности. Согласно мнению М. В. Крюкова, четыре брачных класса возникли в результате пересечения деления на поколения с делением на экзогамные половины дуально-родовой организации. Они не требуют для своего появления существования в обществе двух противоположных филиаций — материнской и отцовской. Обращаясь ко второму вопросу, М. В. Крюков принимает то его решение, которое было предложено Э. Сервисом. Последний объяснял возникновение абсолютных названий брачных классов австралийцев подвижностью групп аборигенов. И в такой постановке этот вопрос тоже не имеет никакого отношения к австралийской контроверзе. Но верна ли сама эта постановка?

По моему мнению, развиваемое в статье М. В. Крюкова понимание сущности брачноклассовой организации ошибочно. Правильное решение рассматриваемой проблемы можно дать лишь исходя из правильного понимания отношения между социальными явлениями, с одной стороны, и обозначающими их терминами — с другой. Термин есть выражение понятия. Понятия же — своеобразные образы, снимки действительности. Отсюда вытекает, что не возникновение понятия вызывает к жизни соответствующее социальное явление, а, наоборот, возникновение социального явления влечет за собой появление отражающего его понятия и соответственно обозначающего его термина. Будучи субъективными по форме, понятия объективны по своему содержанию. Их содержание — отображаемая ими действительность. И поэтому причину различий в характере понятий, отражающих те или иные явления, следует искать в различии самих явлений.

Различие, которое подметили в упоминаемой М. В. Крюковым статье А. Ромни и Е. Эплинг между классификационными терминами родства, с одной стороны, и названиями брачных классов, — с другой, есть различие не только между выражаемыми ими понятиями, но и прежде всего между обозначаемыми ими социальными явлениями. Пытаясь определить отличие относительных терминов родства от абсолютных названий брачных классов, названные авторы по существу, сами того четко не осознавая, указывают на различие между двумя типами социальных группировок. Как явствует из приведенной М. В. Крюковым цитаты, абсолютность наименования брачного класса они видят в том, что оно обозначает группу, к которой человек принадлежит от рождения до самой смерти.

И различие между социальными группировками, которые можно было бы назвать относительными, и такими, которые можно обозначить как абсолютные, существует реально. Относительными являются такие группировки людей, которые выступают по-разному в отношениях к разным такого же рода группировкам. И так как члены данной группировки выступают в отношениях к членам разных такого же рода группировок не в одном и том же качестве, а в разных качествах, последние применяют для их обозначения не один и тот же термин, а разные термины. Относительность терминов, применяемых для обозначения членов данной группировки, коренится, таким образом, в относительном характере самой группировки. Не потому она относительна, что для ее обозначения применяются относительные термины, а, наоборот, относительные термины применяются для ее обозначения потому, что она сама относительна. Примерами относительных группировок могут послужить те группы, или, как их иногда называют, классы, на которые делились родственники в родовом обществе. Соответственно относительными являются и обозначающие их классификационные термины родства.

Абсолютной является такая группа, члены которой выступают в одном и том же качестве по отношению как друг к другу, так и к членам других таких же групп. И в силу абсолютности группы абсолютен и термин, применяемый для обозначения как самой группы, так и ее членов. Ярким примером абсолютной группы может быть род. Член рода Орла выступает как таковой и в отношении к членам своего рода, и в отношении к членам других родов.

Абсолютными группами являются и брачные классы австралийцев. Член брачного класса Мури — Мата выступал как таковой и в отношении к членам своего класса, и в отношении к членам остальных трех классов. И в этом заключается качественное отличие брачных классов австралийцев и китайцев от групп родственников, существующих у всех народов с дуально-родовой организацией. Последние — группировки не абсолютные, а относительные. И это реальное различие игнорирует М. В. Крюков. Он видит лишь терминологическое различие, не замечая его объективной основы.

Одна из причин, помешавших М. В. Крюкову увидеть объективное различие между «именованными брачными классами» и «неименованными брачными классами», заключается в том, что люди, образовавшие брачный класс с абсолютным названием, всегда одновременно составляли и относительную группировку родственников, обозначаемую относительными терминами родства. Это и привело его к выводу, что абсолютные названия и относительные термины суть различные обозначения одной и той же группировки людей.

Однако одна и та же совокупность людей совершенно не обязательно должна представлять собой одну и только одну социальную группировку. Например, одна и та же совокупность детей может одновременно быть и школьным классом, и пионерским отрядом, и ученической бригадой. И в данном случае мы имеем дело не с тремя названиями одной и той же организации, а с тремя разными организациями, состоящими из одних и тех же людей. Именно существование трех организаций и объясняет нам наличие трех различных обозначений одной и той же совокупности людей.

Подобно этому и у аборигенов Австралии одни и те же люди входили в состав двух качественно отличных социальных группировок — абсолютной (брачный класс) и относительной (группа родственников). И существование у австралийцев двух разных социальных группировок, объединяющих одних и тех же людей, объясняет нам бытование у них для обозначения данной совокупности людей наряду с относительными терминами родства также и абсолютные названия. Что же касается подавляющего большинства народов с дуально-родовой организацией, то у

них те же самые совокупности людей были группировками только относительно. Именно поэтому они не имели абсолютных названий и обозначались исключительно относительными терминами родства.

Уже из того, что брачные классы существовали не у всех народов с дуально-родовой организацией, а только у некоторых из них, следует, что их становление представляет собой процесс, отличный от возникновения совпадающих с ними по составу относительных группировок родственников. И поэтому все, что сказано М. В. Крюковым о происхождении «неименованных брачных классов», независимо от того, насколько это соответствует действительности, не имеет отношения к генезису «именованных брачных классов», т. е. настоящих брачных классов. А предлагаемое им объяснение возникновения «именованных брачных классов», в котором их генезис сводится к появлению наряду с относительными терминами абсолютных названий, методологически ошибочно. Ведь если его принять, то получится, что возникновение абсолютных группировок было результатом появления абсолютных терминов. В действительности же только возникновение абсолютных группировок могло повлечь за собой появление абсолютных терминов.

Становление брачных классов есть формирование особого рода абсолютных группировок, отличных от классов родственников, являющихся группировками относительными. Именно из такого взгляда я исходил, создавая схему становления брачно-классовой организации австралийцев. Она находится в полном соответствии с тем воззрением на брачные классы австралийцев, которого придерживалось большинство исследователей, занимавшихся этой проблемой. Они считают, что брачные классы это такие группы, которые возникли в результате наложения отцовской филиации на материнскую. Но самое главное, моя схема находится в полном соответствии со всеми имеющимися данными. М. В. Крюков, несмотря на все усилия, не смог привести ни одного факта, который бы находился с ней в противоречии. Действительно, рассмотрим все его конкретные возражения.

М. В. Крюков объявляет ошибочным содержащееся в моей статье утверждение, что у большинства австралийских племен, имевших систему четырех брачных классов, мужская и женская часть каждого из них терминологически различались. И в качестве доказательства он приводит данные, относящиеся к 71 племени, из числа которых, как он сам же указывает, 41 терминологически различало мужскую и женскую части и только 30 не различали (стр. 83, 84). Вот уж поистине, выражаясь словами самого же М. В. Крюкова, «нужно быть очень увлеченным своей гипотезой, чтобы не увидеть этих очевидных фактов!»

Но главное не в этом. Предположим, что в этом вопросе М. В. Крюков оказался бы прав. Явилось ли бы это аргументом против предлагаемой мною схемы возникновения системы четырех брачных классов? Ни в коем случае. Терминологическое различие мужской и женской частей брачного класса не играет в ней сколько-нибудь существенной роли. Как явствует из моей статьи, это всего лишь мелкая деталь (1, стр. 67). Наличие такого различия является дополнительным доводом в пользу моей концепции. Именно поэтому оно и упомянуто. Но даже полное отсутствие такого различия ни в малейшей степени не находилось бы в противоречии с предложенной мной схемой. Последняя не предполагает с необходимостью существования этого различия.

Второе возражение: Ю. И. Семенов связывает возникновение брачных классов с бродячим образом жизни, но следы таких классов зафиксированы в памятниках китайской письменности середины I тысячелетия до н. э., спустя по крайней мере пять тысячелетий после того, как предки китайцев перешли к оседлой земледельческой жизни. М. В. Крюков, как явствует из его статьи, относит появление «именованных брачных классов» у китайцев к периоду между V и I тысячелетиями до н. э. Тем са-

мым он вступает в непримиримое противоречие со своей же собственной точкой зрения по этому вопросу, согласно которой появление абсолютных терминов связано с бродячим образом жизни. Но, опровергая сам себя, М. В. Крюков ни в малейшей степени не затрагивает моей точки зрения. Я никогда не утверждал, что брачные классы у китайцев возникли в период между V и I тысячелетиями до н. э. По моему мнению, это произошло раньше, скорее всего в мезолите, когда предки китайцев еще вели бродячий образ жизни.

М. В. Крюков считает, что социальная структура яншаоского общества (конец V тысячелетия до н. э.) соответствует «второму этапу развития родового общества в его оседлом варианте» (стр. 64). Насколько можно понять из этого, он придерживается мнения, что каждая община яншаоского общества состояла из двух взаимобрачающихся материнских родов. Однако приведенные им данные, свидетельствуя о существовании у яншаосцев дуально-родовой организации, сами по себе взятые, еще ничего не говорят о характере филиации. Если мы будем исходить из того, что единственное крупное здание в каждом селении было мужским домом, то более логичен вывод, что все мужчины селения принадлежали к одному роду, а не к двум разным. В противном случае следовало бы ожидать существования в селении не одного, а двух мужских домов. Социальная организация яншаоского общества скорее всего была сходной с той, что мы находим у тех групп папуасов Новой Гвинеи, у которых селение состояло из одного большого мужского дома и нескольких небольших жилищ, где жили женщины и дети.

Далее. Самым слабым звеном в моей схеме М. В. Крюков объявляет толкование института мужских инициаций как оформления перехода мальчиков из детской подгруппы женско-детской группы в мужскую группу своего рода. Рассматривая это толкование как абсолютно новое в этнографической литературе, М. В. Крюков противопоставляет ему интерпретацию инициаций как приобщение к роду, как «социальное рождение» членов рода. Но во-первых, в нашем толковании инициаций ничего чрезмерно нового нет. Оно не только не противоречит, но, наоборот, в основном согласуется с тем, что является общепризнанным в этнографической литературе. Достаточно сослаться хотя бы на статью в «Советской исторической энциклопедии», где инициации определяются как «универсально распространенная в родовом обществе система обычаев, связанная с переводом юношей и девушек в возрастную класс взрослых мужчин и женщин»<sup>27</sup>. Во-вторых, оно не находится в непримиримом противоречии с интерпретацией, предлагаемой М. В. Крюковым. Переход из детской подгруппы женско-детской группы в мужскую группу своего рода означал «социальное рождение» мальчика как члена рода.

И наконец, М. В. Крюков ставит передо мной вопрос: существовало ли в обществе на стадии, предшествовавшей, по моему мнению, возникновению брачноклассовой организации, разграничение поколений? Допущение того, что оно не существовало, находится, по мнению М. В. Крюкова, в противоречии с данными науки. Современной этнографии неизвестны народы, в системе родства которых так или иначе не проводилось бы разграничение поколений. Но если такое различие в рассматриваемом обществе проводилось, то уже тем самым, согласно взгляду М. В. Крюкова, в нем существовала и система брачных классов.

Все эти возражения бьют мимо цели. Как мы уже видели, относительные группировки родственников в обществах с дуально-родовой организацией, которые М. В. Крюков именуется брачными классами, и подлинные брачные классы представляют собой явления, качественно отличные друг от друга. Возникновение первых не есть появление вторых. В моей статье из этих двух проблем рассматривается лишь одна — вопрос о

<sup>27</sup> «Советская историческая энциклопедия», т. 6, стлб. 36.

происхождении брачных классов. Другой проблемы я не затрагиваю.

Вопрос о том, почему и как возникло разграничение поколений у народов с дуально-родовой организацией, но без брачных классов, относится к числу сложных. В частности, сам М. В. Крюков никакого ответа на него не дает, несмотря на всю ту важность, которую он придает этому явлению в своих теоретических построениях. Одно из возможных решений этого вопроса было предложено мной несколько лет назад<sup>28</sup>, однако оно нуждается в дальнейшей разработке и обосновании. И пока эта проблема не будет решена, невозможно будет дать ответ на вопрос: возникло ли разграничение поколений у народов с брачноклассовой организацией только вместе с этой организацией, или же оно существовало и до ее появления? Данные, на которые ссылается М. В. Крюков, сами по себе не свидетельствуют ни в пользу одного, ни в пользу другого решения вопроса. Если даже принять за совершенно достоверный факт, что разграничение поколений проводится в системах родства всех народов, изученных этнографией, то из него никак еще не следует, что оно проводилось всегда, на всех этапах эволюции первобытного общества. Но самое, пожалуй, главное: ни то, ни другое решение вопроса не находится в противоречии с предложенной мной схемой происхождения брачных классов. Различение поколений могло возникнуть как до появления брачных классов, так и вместе с ними. Это ничего не меняет в схеме.

Таким образом, М. В. Крюков не смог привести ни одного довода, который ставил бы под сомнение изложенную в критикуемой им статье концепцию генезиса брачноклассовой организации. Последняя находится в соответствии со всеми имеющимися в распоряжении науки фактами.

#### ONCE MORE ON THE MATRILINEAL GENS AND MARRIAGE CLASSES

The article is the last in the prolonged discussion begun by the present author's paper «The problem of transition from the matrilineal to the patrilineal gens (an attempt at theoretical analysis)» («Sovetskaya Etnografiya», 1970, № 5). A reply is given to M. V. Kryukov («Sovetskaya Etnografiya», 1974, № 3), M. A. Tchlenov and A. M. Khazanov («Sovetskaya Etnografiya», 1974, № 6). The author points out that, contrary to the assertions of M. A. Tchlenov, nothing in his articles resembles a system of proof on the principle of a vicious circle: the truth of his conception is substantiated by facts, and only by facts. And, in the author's opinion, his opponents have proved unable to adduce a single fact that could cast a doubt on his concept which is in complete agreement with all the material available to science. M. A. Tchlenov's statement in his latest article about a shift from the patriarchal to the maternal clan having taken place among the Rejangs is erroneous: M. Jaspen's work shows that no maternal clan has arisen among the Rejangs. The author criticizes M. Kryukov's thesis that marriage classes existed among all peoples having a dual-clan organization. It is shown that there is a fundamental qualitative difference between marriage classes and the kinship groups (composed of the same members) that occur among all peoples possessing a dual-clan organization.

<sup>28</sup> См. Ю. И. Семенов, Рецензия на кн. «Social life of early man», N. Y., 1961, «Вопросы антропологии», вып. 14, 1963, стр. 119.

**ОТ РЕДАКЦИИ.** В вопросе об историческом соотношении материнского и отцовского рода заметное место принадлежит так называемой «австралийской контроверзе» — причинам раннего появления отцовского рода у многих племен Австралии. Поэтому значительный интерес представляет гипотеза Ю. И. Семенова, по которой возникновение у австралийцев, наряду с первоначальным материнским, отцовского рода было вызвано длительным существованием у них бродячего образа жизни. Проведенный на страницах журнала обмен мнениями показал, что «австралийская контроверза» все еще требует дальнейшего исследования, однако редакция надеется, что дискуссия внесла свой вклад в разработку одного из существенных вопросов развития родовой организации.



Р. С. Липец

## О ЗНАЧЕНИИ СВОДНЫХ ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ СОБРАНИЙ

(СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ФОНДА И. В. КОСТОЛОВСКОГО)\*

Разрозненность материалов одного собирателя, находящихся в разных архивохранилищах, — обычная и тяжелая помеха при учете и исследовании его научного наследия. Известно, что рассеяны по нескольким архивам записи таких крупных собирателей дореволюционного времени, как И. В. Костоловский, В. Н. Добровольский, П. И. Иванов и др. Даже архив С. И. Гуляева, так много сделавшего для изучения этнографии и фольклора Южной Сибири, до настоящего времени не только не опубликован полностью, но и не объединен. Обнаружение записей одного собирателя в разных местах объясняется главным образом тем, что местные собиратели были связаны, как правило, с несколькими научными обществами и учреждениями, куда и посылали свои материалы. Публиковалась обычно незначительная часть, а все остальное оседало в архивах обществ и в их редакционных портфелях.

Несомненно, что при одном из крупных научных архивохранилищ должен быть сконцентрирован сведенный воедино исчерпывающий фонд того или иного собирателя, первично систематизированный (по этнографическим рубрикам и по фольклорным жанрам); а также переписка.

Такое сводное собрание, составленное на базе рукописного фонда, взятого за основной, и приложенных к нему копий (машинописных, фотокопий, микрофильмов) с материалов того же собирателя, находящихся в других архивохранилищах, дало бы возможность получить с наименьшей затратой усилий представление о его деятельности и научном наследии. Вероятно, это наиболее доступная форма создания полного индивидуального фонда.

Целесообразно было бы, скопировав затем это сводное собрание при помощи машинописи, множительных машин или иными средствами, предоставить по экземпляру его в другие архивохранилища, также содержащие фонды этого собирателя.

Создание таких сводных собраний важно во многих отношениях. Во-первых, большинство собирателей прошлого века и начала нашего века работали стационарным методом, собирая фольклорно-этнографический материал в местности, где сами жили десятки лет. Они обычно изучали этот материал комплексно, привлекая и историю, и экономику, и данные по культуре местного края. Систематизированные и объединенные в сводном собрании записи позволяют воссоздать с наибольшей полнотой картину историко-этнографической специфики и бытования фольклора

\* В основу статьи положен доклад, сделанный на Сессии Отделения истории АН СССР, посвященной итогам этнографических и антропологических работ в 1973 г.

у населения определенной местности в определенный отрезок времени, ограниченный длительностью жизни одного собирателя.

Во-вторых, благодаря обнаруженным в том или ином архиве дополнительным к основному исследуемому фонду материалам, обогащается содержание каждой отдельной темы, ярче выявляется методика работы собирателя.

В-третьих, сравнение ряда сводных собраний из разных районов страны, составленных примерно по одному образцу, позволило бы выявить и специфику и сходство фольклорно-этнографической культуры этих районов и, возможно, даже увязать ее с определенными хозяйственно-культурными типами и историко-этнографическими областями.

Ознакомление с объединенным фондом фольклорно-этнографического наследия собирателя может способствовать лучшей ориентировке участников современных экспедиций, направляемых в ту же местность, и сделать их работу продуктивнее. Они имеют огромные преимущества перед прежними собирателями, так как располагают не только разработанной методикой сбора материала, но и новой техникой звукозаписи, киноаппаратурой и пр., обеспечивающими точность и быстроту фиксации материала. Все это помогает в известной степени возместить недостатки кратковременного пребывания в «поле», особенно в «маршрутных» экспедициях, т. е. обследующих большое число пунктов. Данные современных экспедиций, в свою очередь, позволят дополнить и прокомментировать материал прежних собраний.

В архивах нашей страны хранится огромное богатство ценнейших фольклорных материалов (большей частью ныне не бытующих), иногда даже совершенно подготовленных к печати самим собирателем<sup>1</sup>. Более интенсивная публикация таких записей, к тому же объединенных в сводном собрании, была бы весьма целесообразна. Ведь в современных записях нередко уже фрагментарные, стертые тексты традиционного фольклора.

## 1.

В данной статье использован опыт автора по составлению сводного фольклорно-этнографического фонда одного из наиболее даровитых и деятельных собирателей дореволюционного, а отчасти и советского периода — Ивана Васильевича Костоловского (14.I.1861—7.VII.1935), работавшего в б. Ярославской губернии.

В Архиве Института этнографии АН СССР хранится фонд Этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (далее ОЛЕАЭ). В нем находится и собрание И. В. Костоловского, содержащее разнообразные этнографические материалы (по занятиям населения, жилищу, обычному праву, верованиям, обрядам и обычаям), отдельные сообщения по археологии и истории края, а также свыше 600 фольклорных текстов хорошей сохранности (песни, пословицы и поговорки, присловья и другие мелкие жанры, не считая дублетов и вариантов).

При разборе мною материалов Костоловского из архива Института этнографии АН СССР (далее АИЭ), было установлено, что значительные аналогичные материалы этого собирателя имеются в рукописных фондах Института русской литературы АН СССР (далее ИРЛИ) и

<sup>1</sup> Таковы, например, вторая часть харьковского сборника П. В. Иванова «От колыбели до могилы» — 406 текстов сказок (Архив Ин-та этнографии АН СССР); собрание И. Ф. Калининкова (в основном из б. Орловской губернии), содержащее свыше тысячи текстов разных жанров фольклора (Государственный Литературный музей); собрание С. И. Гуляева, преимущественно его этнографическая часть (Рукописный отдел Ин-та русской литературы АН СССР).

Географического общества СССР (далее АГО) в Ленинграде. Все эти материалы были пересланы в течение ряда лет самим собирателем в ОЛЕАЭ, Географическое общество и Институт антропологии и этнографии АН СССР, откуда впоследствии и поступили в места нынешнего хранения<sup>2</sup>. Лишь небольшая и далеко не самая ценная часть этих материалов была напечатана в изданиях обоих научных обществ: «Этнографическом обозрении» и «Живой старине».

После обследования ленинградских фондов И. В. Костоловского, они были сличены с фондом ОЛЕАЭ, учтены дублетные тексты и разночтения, а также весь дополнительный материал<sup>3</sup>.

В Географическом обществе СССР оказались, помимо записей произведений фольклора и этнографических сообщений, большой историко-этнографический очерк «Еремейцевская вотчина» (древнее топонимическое название, охватывающее несколько сел Ярославской губернии) и пространное описание многодневного свадебного обряда (на 75 страницах in folio) с включением песен.

В ИРЛИ кроме фольклорных и этнографических записей сохранились историко-этнографические очерки, написанные Костоловским в последний период жизни (цикл очерков о Волге, о перестройке быта села в 30-е годы), и обширный раздел переписки. Систематизированные ответы на программу ОЛЕАЭ по обычному праву и верованиям<sup>4</sup>, естественно, вошли только в фонд этого общества<sup>5</sup>.

Машинописная копия всех трех архивов (частично после микрофильмирования) была систематизирована мною (на базе собрания в Институте этнографии). Ее объем составил 25 авторских листов (более 600 страниц), не считая дублетов и близких вариантов<sup>6</sup>.

Добросовестно записанные и вдумчиво комментированные материалы Костоловского относятся, как уже упоминалось, к б. Ярославской губернии (родине собирателя; он был уроженцем г. Углича): уездам Угличскому, Мышкинскому, Рыбинскому; в основном же — к селу Корма Рыбинского уезда и к соседним селам и деревням. Записи фольклора сделаны преимущественно в 900-е годы. К недостаткам записи, свойственным многим собирателям тех лет, приходится отнести отсутствие большей частью указания на исполнителя и известную суммарность ссылок на место записи. Датировка же, даже в пределах месяцев одного года, всегда может быть установлена по сопровождающему посылаемые материалы письму собирателя.

---

<sup>2</sup> Архивные шифры соответственно: АИЭ, фонд ОЛЕАЭ, ед. хр. 80, 352—355 (1898—1907 гг.); АГО, разряд 47, оп. 1, № 49—55 (1894—1935 гг.); ИРЛИ, разряд V, коллекция 41, папки 1 и 2 (1933—1935 гг.). Дальше в тексте статьи названия этих фондов, номера разрядов, коллекций и описей уже не приводятся.

<sup>3</sup> В обработке архивных данных мне оказали помощь сотрудники Ин-та этнографии АН СССР Т. С. Макашина (выявила публикации И. В. Костоловского и литературу о нем, а также составила перечень научных учреждений и обществ, корреспондентов которых он был), О. В. Якимова (продела расшифровку микрофильмов); Н. В. Новиков (сличал тексты пословий в двух ленинградских архивах, установив разночтения и дополнительные к московскому архиву тексты). Следует отметить, что Н. В. Новиковым был уже проведен опыт подобной подготовки сводного собрания (См. «Песни, сказки, пословицы, поговорки, загадки, собранные Н. А. Иваничем в Вологодской губернии». Подготовка текстов, вступительная статья и примечания Н. В. Новикова, Вологда, 1960). Мною в настоящее время предприняты поиски материалов Костоловского в архивах Ярославской области.

<sup>4</sup> «Вопросные пункты по обычному праву (право собственности, артели, преступления и наказания, судоустройство и судопроизводство) и верованиям», М., 1891.

<sup>5</sup> См. об этом: Р. С. Липец, Изучение обычного права в конце XIX — начале XX в. (Ответы И. В. Костоловского на «Вопросные пункты» ОЛЕАЭ), «Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии», вып. IV, М., 1968.

<sup>6</sup> Содержание сводного собрания И. В. Костоловского см. в приложении к настоящей статье. Сама машинописная копия хранится в Архиве Ин-та этнографии АН СССР (Москва) в фонде ОЛЕАЭ. Впоследствии предполагается публикация этих материалов.

Несколько слов о самом собирателе.

И. В. Костоловский был членом или корреспондентом ряда научных обществ и учреждений. Поэтому изучение его фольклорных и этнографических материалов раскрывает в какой-то мере и установки в практической, отчасти и теоретической работе столичных и местных культурных центров.

Он был действительно «самоучкой», как определял его И. С. Абрамов, опубликовавший в выдержках его автобиографию<sup>7</sup>. Костоловскому мучительно не хватало знаний, общей культуры, хотя он и старался преодолевать это с огромной целеустремленностью. «Вполне сознаю,— писал он,— что мои труды требуют немалой обработки, но что же делать, я одно могу сказать, что я пишу одну только истину» (АИЭ, ед. хр. 355, л. 1, 15. VIII. 1902). Он мечтал приехать в Петербург для консультаций в Русском Географическом обществе и для знакомства со специальной литературой, которая в провинции ему была малодоступна (письмо хранится в АГО, № 51, лл. 30—31, 19. IV. 1902). Его интерес к науке был чрезвычайно велик.

Вырос Костоловский в очень трудных условиях. Бедность в семье была такая, что по дороге в городское училище мальчик вместе с нищими получал свой ломоть ржаного хлеба из особого окошечка в доме купцов Русиновых, таким способом подававших милостыню каждому, кто приходил за ней<sup>8</sup>. Но наблюдательный и любознательный с детства, Костоловский жадно впитывал знания, используя для этого малейшую возможность.

Вскоре в школе он выделился среди своих сверстников хорошим голосом и попал сначала в школьный, а затем в церковный (монастырский) хор. С хором он посещал окрестные деревни, дома горожан и помещичьи усадьбы, жадно приглядываясь к окружающей жизни и получая тем самым навыки к этнографическим наблюдениям.

Позднее Костоловский высказывал сожаление об упущенной возможности изучения помещичьих усадеб. «Как было бы дорого, если бы они были своевременно исследованы,— писал он.— Бытовая жизнь помещика и дворовых. Возникновение и начало усадьбы, их постройки. Сельское хозяйство при усадьбах... Часто помещики привозили крепостных крестьян из других мест; так, например, начнешь расспрашивать старожилы, выдающихся поговору, и узнаешь, что помещик завез крестьян из другой губернии»<sup>9</sup>. Костоловский не ограничивался изучением сельского населения, нередко обращаясь и к городу.

После многих лет скитаний по хорам, уже взрослым, Костоловский вернулся в Ярославскую губернию и поселился в с. Корма. Вел он здесь и метеорологические наблюдения для Главной физической обсерватории, что давало ему «скудные средства». Костоловский пытался было стать учителем. Обработывая свой клочок земли, он настойчиво готовился к сдаче экстерном экзаменов на звание народного учителя. «Труд для меня был немалый. Помню, как я во время сенокоса: поворочаешь сено граблями, а потом вынимаешь из кармана грамматику Пуцыковича и начинаешь учить коренные слова на букву ять»<sup>10</sup>. Экзамен он сдал, но учительствовать по каким-то причинам не смог, возможно потому, что числился «политически неблагонадежным».

<sup>7</sup> См.: И. С. Абрамов, Краеведы-самоучки. По материалам, присланным в ЦБК, «Краеведение», 1928, № 2. Автобиографические данные есть и в письмах собирателя (АИЭ, ед. хр. 352, 1909; ИРЛИ, п. 2, № 15, лл. 1—6 об. и др.). Об И. В. Костоловском также см.: А. М. Астахова, И. В. Костоловский [некролог], «Советский фольклор», М.—Л., 1936, № 4—5; Р. С. Липец, Указ. раб.

<sup>8</sup> И. С. Абрамов, Указ. раб., стр. 101.

<sup>9</sup> Там же, стр. 99.

<sup>10</sup> Там же, стр. 100.

Великая Октябрьская социалистическая революция всколыхнула деревню, стимулировала горячий интерес к своему краю. Костоловский был типичной для своего времени фигурой. Он увлекся открывшейся ему возможностью практически участвовать в самых различных областях общественной жизни, тогда как в царской России его инициатива была скована. А эта новая деятельность отвлекала его от скрупулезного сбора материалов по этнографии и фольклору, и в 20—30-е годы Костоловский несколько отошел от этих занятий. Так поступали тогда и многие видные этнографы: В. К. Арсеньев, Г. Ф. Чурсин, Л. Я. Штернберг и др.

Костоловский участвует в поисках полезных ископаемых, составляет важные метеорологические прогнозы (ИРЛИ, п. 2, № 28, 22. X. 34), читает лекции и доклады, пишет очерки о современной жизни деревни, стремясь уловить и зафиксировать зыбкие переходные формы быта, хлопочет об организации краеведческого музея, журнала и народного хора в с. Корма. По-прежнему интенсивно поставляет он только словарный материал в Постоянную словарную комиссию АН СССР.

К фольклору же он возвращается, видимо, лишь в последние два года жизни. Но и тут он (как видно из сличения архивных записей фольклора) в основном только приводит в порядок старый запас материалов. Толчком к этому послужила анкета, присланная ему из Фольклорной секции вновь организованного в системе Академии наук СССР Института антропологии и этнографии, с вопросами о его биографии и деятельности и, очевидно, с предложением присылать фольклорные записи. Передачей своего собрания в надежное место он, будучи уже в очень пожилом возрасте, был особенно озабочен. Он стал систематизировать и тщательно перебеливать песни и пословицы, лишь частично дополняя их отдельными текстами и этнографическими наблюдениями — тем, что уже было подготовлено им раньше.

В течение 1934—1935 гг. Костоловский отправлял в Фольклорную секцию то песни (иногда по нескольку текстов), то законченный «многолетний труд» — собрание пословиц (тоже отдельными «сериями»). Работа шла медленно, так как он снабжал тексты новыми подробными примечаниями, показывая бытование фольклора в условиях местной жизни. Посылал он и очерки, написанные заново, с просьбой передать их в Географическое общество, если они не понадобятся здесь.

Подготовке своего собрания Костоловский отдавал все время. Посылая последние «серии» пословиц, он писал: «Я очень доволен, что мои собранные ... народные краткие творения нашли себе место. За них я беспокоился, так как живу предпоследние годы своей жизни. Этнографического материала у меня еще весьма много. Время от времени он будет Вам пересылаться» (ИРЛИ, п. 2, № 30, 23. XI. 34, лл. 1—2). Предчувствие близкой кончины (он был тяжело болен) пронизывает в этот период письма Костоловского, но на смерть, мужественно ожидая ее, он смотрел как на помеху в своих делах. Работал он буквально до последних дней, хотя силы его слабели. Последнее письмо И. В. Костоловского написано на узком, неровно оторванном клочке бумаги: «Сообщаю Вам, что я очень болен и посылаю Вам песни. И. Костоловский». Эти две песни написаны уже другой рукой, со школьным нажимом, все в строку, подпись неразборчива, дата — 30 июня 1935 г. Он скончался через неделю.

### 3.

Собрание И. В. Костоловского складывалось, таким образом, свыше 40 лет. Этнографический материал — обычаи, обряды и пр. — зафиксирован им в непосредственном бытовании, а фольклор — в период его относительно цветущего состояния. Большинство фольклорных текстов в собрании полноценны, имеют несомненную художественную значимость и достаточно надежны для всякого рода исследовательских построений.

Достоинство собрания Костоловского и в том, что оно — яркий образец применения в области изучения местной культуры и быта стационарного метода, убежденным сторонником которого он был. Собирателем, проживший десятки лет в одном селе, имел возможность проникнуть в глубь общественной психологии и скрытых от поверхностного, постороннего наблюдателя явлений (касающихся семейной жизни, например). Костоловский был участником жизни населения описываемого им района: и на свадебных торжествах, и на похоронах, и в волостном суде, и в полевых работах.

Для собирателя характерна также комплексность изучения: уверенное и постоянное привлечение при исследовании этнографии и фольклора (не мыслившихся им раздельно, как и вообще в науке того времени) социально-экономических данных, обращение к истории, археологии, лингвистике, естествознанию (больше всего метеорологии). «Я в местности все изучал: в естественноисторическом, в археологическом, климатическом и этнографическом отношениях», — писал он (ИРЛИ, п. 2, № 18, 1934, л. 1 об.). Фольклорно-этнографические наблюдения были для него только частью общего изучения края.

Но этнографии он все же придавал особое значение, чутко улавливая важность этнографических наблюдений для познания не только прошлого, но и настоящего. «Этнография поддерживает и подкрепляет нас в наших гипотезах, она показывает нам реальную жизнь. Археология и история без этнографии иногда — мертвая буква, темная неразрешимая загадка» (АИЭ, ед. хр. 80, № 166, л. 1 об.).

Занятия этнографией все больше увлекали Костоловского и стали, наконец, содержанием его жизни. Они были тесно связаны с общественными интересами собирателя. Он писал В. В. Богданову в 1909 г., что, наблюдая тяжелое положение крестьян, он решил «взяться за перо и описывать ... их современный быт, вместе с ними страдать и болеть одними с ними болезнями» (АИЭ, ед. хр. 352). Это была установка прогрессивной части русских этнографов того времени<sup>11</sup>. В ответе на присылку ему программы РГО в 1903 г. он отмечал преобладающую роль в собирательской деятельности местных работников, в первую очередь учителей: «Только учителю деревни можно вполне видеть жизнь нашего крестьянина ... его бедность ... неурожай, радости его и скорби, его веселие и скуку» (АГО, № 32, л. 1 и об., 31. VIII. 1903).

С этих позиций и подходил Костоловский к сбору этнографических и фольклорных материалов. Несмотря на «заказ», так сказать, столичной науки собирать материалы в основном по духовной культуре, отчасти о семейно-общественных и морально-этических взаимоотношениях крестьян, Костоловский явно тяготел к социально-экономическим вопросам и уделял им большое внимание. При этом он старался, по его выражению, всегда «быть честным перед самим собой».

С наибольшей силой это выявляется, конечно, именно при описаниях экономики и быта дореволюционного села. Высказывания его в этом плане очень резки и прямолинейны. Так, ответы Костоловского на программу ОЛЕАЭ по обычному праву, далеко выходя за пределы ее пунктов, представляют по существу обвинение строя царской России, базирующееся на конкретном материале, который к тому же не лежал на поверхности, а мог быть известен только человеку, тесно связанному с деревней и пользовавшемуся доверием крестьян. Здесь его сообщения вытекают из самой тематики программы. Но иногда эти обличения вкраплены в этнографический материал в самом неожиданном месте.

<sup>11</sup> Сопоставим это письмо с тем, что писал о своих занятиях русской этнографией В. В. Берви-Флеровский: «Я жил страданиями этого народа, я желал на себе испытать всю трудность его положения, чтобы изображать его во всей реальности» (Н. Флеровский, Три политические системы (без места издания), 1897, стр. 252).

Например, в середине описания одного из приемов народной ветеринарии он вдруг отклоняется от своего предмета (АГО, № 54, л. 23—27). Бросив замечание о захудалости беспородного и тощего крестьянского скота и плохом уходе за ним, он с жаром обрушивается на тяжесть условной деревенской жизни в 900-х годах. «Куда ни заглянешь в крестьянскую семью, — пишет он, — везде видна и повсюду сквозит нужда беспросветная. Зайдешь в дом — сразу бросается в глаза неряшливость: пол немытый целые года, в избе холод; несчастные детишки лежат в кори, в заушице и в других болезнях... Хозяин дома вечно с нечесаными волосами... Во всем крестьянском сословии, особенно небогатых семейств, проглядывает страшная забитость. Мужик боится всякого начальства, начиная с деревенского десятского и кончая высшим начальством... Недаром у народа сложилась поговорка: „Ох, уж едет становой, видно пахнет уж грозой!“». Дальше он описывает, как волостной старшина добивается на сходе «раскладки» с крестьян по 50—60 копеек на его поездку в столицу, «в память бракосочетания их императорских величеств», с поднесением «хлеба-соли и святой иконы». «А где взять бедному мужику, у которого часто соли нет, и хозяйка берет из куриного гнезда остальные (т. е. последние. — *Р. Л.*) яйца, несет их продавать в город для того, чтобы соли фунта 2—3 купить?... Много, много неправды в волостных правлениях и его судах!» Затем он переходит к другой области деревенской жизни: «В деревне процветает тип торговца-кулака, который жмет несчастного крестьянина во всем. Мне очень часто приходилось наблюдать, как на наших сельских базарах обвешивают, обсчитывают крестьян, особенно женщин, продающих лен». Урядник «куплен торговцами за три рубля за весь базар, т. е. урядник никаких жалоб на торговцев не принимает... Одна женщина плачет — ее обсчитали, другая ревет — ее на 22 фунта в партии в 4 пуда льна обвесили. И вообще на базарах такая бессовестность, что стыдно становится за людей!», и т. д. Несмотря на народнический привкус в изображении якобы полной пассивности крестьянства, по этой гневной тираде можно понять, почему Костоловский «как бытописатель и за боевые корреспонденции» в газетах подвергался преследованиям и «жандармским розыскам» (ИРЛИ, п. 2, № 15, л. 1 и об.).

Принцип комплексности в изучении ярко выступает в очерке по истории «коноводства», т. е. передвижения судов конской тягой по Волге и ее притокам. В этом очерке в живой и увлекательной форме изложены сведения об организации артелей коноводов, о самом процессе передвижения судов, о быте деревень, откуда набирались рабочие, об их поверьях и быте и пр.

Неповторимы уже очерки о коренной перестройке быта ярославской деревни в 20—30-е годы<sup>12</sup>. Надо отметить, что в свои очерки Костоловский обильно вводит диалектизмы, фрагменты прямой речи, т. е. по существу использует жанр устного рассказа.

Фольклорный материал Костоловский записывал выборочно, руководствуясь своими оценками, в которых чувствуется то же влияние народничества. Песни он признавал только такие, «которые вытекают от сердца самого народа» (ИРЛИ, п. 2, № 21, 20. VIII. 34), «которые народ сам творил», причем собиратель «не интересовался народными песнями разных писателей» (там же, № 18, после 21. VIII. 34, л. 1—2) и отрицательно относился к песням, принесенным с собой, как он выражался, «фабричной цивилизацией». Пословицы он записывал только услышанные изустно, а не изданные в «книгах для школ» и вообще опубликованные.

<sup>12</sup> К сожалению, большая часть написанных им в 20—30-е годы статей на различную тематику затеряна в редакциях этнографических изданий и известна лишь по упоминанию Костоловским их названий («На пороге двух эпох», «О музыкальном исследовании русской народной песни» и др.).

Большинство песен снабжено примечаниями собирателя, помещенными непосредственно за текстом песни. В примечаниях Костоловский старается дать сведения о распространённости песни, времени и месте исполнения, об обстановке и ситуациях, в которых она пелась. Исполнителей он указывает, как уже упоминалось, очень редко, лишь для того, чтобы точнее определить происхождение песни или особенности ее бытования. Так, он называет исполнителя исторической песни «Померкла, поблекла восточная звезда» о смерти царевича Димитрия, занесенной в Углич из Москвы портным Николаем Тихоновичем Кудрявцевым. По словам исполнителя, песня считалась «кантой», и потому московский «хозяин» разрешал мастерам петь под праздник именно ее<sup>13</sup> (см. АГО, № 49, л. 123, 124 и др.).

Иногда примечания намного превышают объем самой песни. К свадебным и игровым песням он прилагает подробное изложение сопровождающего их действия. Такова, например, в собрании запись «сговорённой песни», приуроченной к моменту раздачи невестой даров и «выкупа» ее у подруг женихом:

«Ты, камка, ты наша камочка,  
Золота камка узорчата,  
Не давай, камка, отвертываться  
Ни атласу, ни бархату,  
Ни тому ли штофу на́ золот.  
Что Иван-от ли волю взял,  
Что Васильевич-то большую,  
Что ту камку поразвернул,  
Все узоречка порассмотрел,  
Занавесочки пораспахнул,  
Всех подружек порастолкнул,  
Что и Анну за ручку взял,  
Что Дмитриевну за правую».

«Эта песня,— пишет собиратель в примечании,— поется девицами тогда, когда после сговорки невеста сделает всем дары и после дарения отправляется жених с невестой в сопровождении свих в горенку или другую избу обедать, так как во время сговорочного обеда молодые за все время целуются, исполняя [пожелание] гостей. Когда жених проходит с невестой мимо поющих девиц, которые припевали гостям песню, то девицы постараются отхватить невесту от жениха и поставить ее сзади себя. Жених остается один, а девицы, пропев песню, требуют от жениха за невесту выкуп, что жених и исполняет: дает девицам денег и выдергивает свою невесту из рядов девичьих и идет в горенку обедать. Обычай этот очень старинный и, к сожалению, стал оставаться, но еще вполне не оставлен. Я его уже проверял нынешним 1901 годом» (АИЭ, ед. хр. 353, № 66, л. 4 об.— 5).

Состав песен в собрании Костоловского очень разнообразен. Всего записано им более 80 произведений (не считая вариантов и дублетов): песни свадебные, календарные, беседные, игровые, а также некоторые песни литературного происхождения (по его терминологии, «не-народные»). Костоловский располагал песни в своих подборках в порядке их убывающей архаичности, а свадебные — согласно течению обряда, к которому они были довольно тесно прикреплены (например, «сговорённые», «застольные» песни, «будильные» причеты и т. д.).

Хочется отметить редкость некоторых видов свадебного фольклора, представленного в собрании. Таковы «будильные» причеты невесты, об-

<sup>13</sup> Песня опубликована с другого списка в записи И. В. Костоловского, датированного 1915 г.; см.: «Песни и сказки Ярославской области» [Ярославль] 1958. Примечания собирателя к тексту из АГО и к печатному тексту дополняют друг друга.



ращенные ею к матери и подругам, в утро свадьбы. Эти причеты имеют устойчивую структуру. После вопроса как «спалась» им эта ночь, невеста сообщает, что сама она, проведя ночь без сна, «приуснула» на заре и увидела печальный вещий сон о своей судьбе:

«На восходе красного солнышка,  
Нехороший сон привиделся:  
Будто я млада-младешенька заблудилася,  
В холодной росе обмочилася,  
[Заблудилася] я во чужих людях,  
Обмочилася я в горьких слезах».  
(АГО, № 49, лл. 109 об. — 110)

Очень специализированы величальные песни: женатым и холостым, «шаферу», вдове, сироте и пр.

Знание нот и отличный слух помогли Костоловскому избежать неполноценности записей, обычной для большинства собирателей фольклора того времени, фиксировавших только словесный текст произведения. Костоловский записывал песни вместе с их мелодией; за эти записи, в числе прочих его трудов, он и был удостоен в 1916 г. серебряной медали РГО. К текстам песен сделаны им примечания: «Усвоен хорошо мною их напев» (ИРЛИ, п. 2, № 26, от 10.IX.34) и т. п. К большому сожалению, его нотные записи утеряны<sup>14</sup>.

Костоловский ясно ощущал большие сдвиги, происшедшие в облике деревни в 900-е годы, в период бурного развития капитализма. «Деревня со своим укладом весьма изменилась, совершенно,— она не та стала, что была 10—20 лет тому назад»,— писал он в 1903 г. (АГО, № 49, лл. 135—136). Уделяя большое внимание отходничеству, он находил его влияние и в песенном репертуаре, где наряду с мощными традициями древней песенной культуры пышно расцвел жанр «городского», в том числе и «жестокоего», романса, проникшего в село и через непосредственное общение отходников с городом, и через лубочные песенники. Конечно, этот жанр не может идти в сравнение по своему художественному уровню с традиционным фольклором, но ведь и город поворачивался к отходнику не лучшей своей стороной. «Город давал деревне при капитализме то, что ее развращало политически, экономически, нравственно, физически и т. п.»,— писал о «культурных сношениях» деревни с городом В. И. Ленин<sup>15</sup>. Свое место в этих «культурных сношениях» занимал и мещанский фольклор.

Однако Костоловский не заметил более раннего пласта песен книжного происхождения, отразивших влияние литературных направлений еще XVIII — начала XIX в.— сентиментализма и романтизма («Сережа-пастушок», некоторые баллады). Эти песни могли прийти к крестьянам не только из города, но и через те же помещичьи усадьбы<sup>16</sup>.

#### 4.

Что же дает объединение всех фольклорно-этнографических материалов Костоловского, т. е. организация сводного собрания?

Только в Географическом обществе имеется историко-этнографический очерк «Еремеевская вотчина», очерки о жилище и построй-

<sup>14</sup> После Октябрьской революции Костоловский пропагандировал идею организации правильно поставленных народных хоров. «Русские народные песни должны стоять на первом месте в наших крестьянских хорах,— писал он в 1928 г.— В городах уже открылось много народных хоров, но в деревни они проникают весьма слабо» (И. С. Абрамов, Указ. раб., стр. 101).

<sup>15</sup> В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 45, стр. 367.

<sup>16</sup> И. С. Абрамов, Указ. раб., стр. 99.

ках Ярославской губернии с рисунками и планами и отдельные очерки по местным промыслам. В соединении с очерками по истории реки Волги, написанными в этнографическом аспекте, они составляют довольно солидное историко-этнографическое вступление к остальным материалам собрания. Лишь в фонде ОЛЕАЭ находятся развернутые ответы на программу ОЛЕАЭ по обычному праву и верованиям, по существу тоже в форме очерков, под иным углом показывающие социальные отношения и древние традиции культуры в дореволюционном селе. В этих «ответах» выступает очень колоритно личность самого собирателя, острого публициста.

Большая часть свадебных песен была прислана Костоловским в оба научных общества и в Академию наук в более или менее разрозненном виде. Суммарное описание свадебного обряда и обычаев, сохранившееся в фондах Географического общества, помогает приурочить песни к определенным моментам обряда. В описание обряда вкраплены целиком немногие песни, но ряд других упомянут. Пользуясь этим описанием и сопоставив его с более краткими примечаниями собирателя к отдельным текстам песен в собрании, можно увереннее систематизировать их все. Наличие в трех архивах дублетов и вариантов отдельных песен всех жанров и пословиц позволяет свести воедино (конечно, с соответствующими ссылками) примечания собирателя, во многих случаях существенно дополняющие друг друга. Каждая из трех подборок пословиц содержит 300—400 текстов; но так как Костоловский включал в нее не только дублетный (и в вариантах) материал, но и новые тексты, всего в его собрании свыше пятисот пословиц. Несколько изменял он и расположение текстов, но лишь в подборке из ИРЛИ дал тематические подзаголовки к разделам, что позволяет четче представить его принцип рубрикации, тщательно разработанный, хотя, конечно, во многом не удовлетворяющий нас теперь. В подборке из ИРЛИ даны и наиболее продуманные и обширные примечания, показывающие применение пословиц в конкретных житейских обстоятельствах; например: «„Не сгодится овес, что мимо житницы провез; весной втридорога заплачу, да тебя ворочу!“ Обыкновенно в царское время крестьянская беднота, как только намолотят овса,— и скорее его везут продавать за бесценнок, а весной для посева покупают тот же овес в три-четыре раза дороже» (ИРЛИ, п. 1, № 13).

Жанру пословиц Костоловский, видимо, отдавал особое предпочтение, как наиболее соответствующему его публицистическим и философским наклонностям. «Сознавая великую мудрость народную, выраженную в пословицах и поговорках, я всякую поговорку неоднократно проверял и расспрашивал ее значение» (АИЭ, № 334, 13—14 мая 1903 г.); записывал «именно те, которые народ говорит» (там же). В 30-е годы свое старое собрание пословиц Костоловский подверг существенному пересмотру, удаляя все, что, по его разумению, не следовало помещать, как не соответствующее эпохе (ИРЛИ, п. 2, № 28, 22. X. 1934).

При компоновке сводного собрания целиком помещена все же полная подборка пословиц из фонда ОЛЕАЭ (взятого вообще за основу), а дублеты и существенные разночтения к этим текстам из двух других фондов указаны в примечаниях к каждой пословице. Дополнительные же тексты, вместе с примечаниями к ним, идут вслед за этой подборкой, так как вводить их в соответствующие по тематике места — значило бы нарушить цельность всех трех подборок.

Судя по некоторой вариативности многих текстов песен (и пословиц), можно сделать вывод, что записывал их собиратель нередко по памяти, зная издавна как местный старожил.

Если фольклорные тексты Костоловский большей частью систематизировал сам, то этнографический материал зачастую присылал как бы россыпью. Но все же в ряде случаев можно проследить намеченную им

группировку записей, соответствующую программам ОЛЕАЗ и РГО, которыми он пользовался. Эта рубрикация материалов, характерная не только для него, но и для научных установок его эпохи, была учтена мною при компоновке этнографических материалов собрания.

Костоловского в этнографических явлениях интересовала в первую очередь связь их с бытом и социальной средой, их место в жизни села (иногда и города, с которым у сельского населения были, конечно, постоянные контакты). Чтобы наиболее выпукло выявить эту установку собирателя, в сводном собрании мною объединен, по возможности, фольклорно-этнографический материал с единой функцией, независимо от его жанровой принадлежности (приметы, поверья, гаданья и пр.); например, благополучие отдельных отраслей сельского хозяйства, народная медицина. Традиционное народное миропонимание, восходящее к глубокой древности, но еще не изжитое полностью на рубеже нашего века, комплекс народных знаний, нередко содержащих рациональное зерно, выявляются наиболее четко при расположении материала по его функциям.

Письма Костоловского, сопровождавшие большей частью присылку фольклорно-этнографических материалов, нередко дополняют примечания к ним, помогают их датировке. Помещенные в хронологической последовательности, они позволяют проследить жизненный путь Костоловского, его взгляды на принципы собирательской и исследовательской работы. Значительная часть писем относится к советскому времени. Костоловский внимательно следил за тем, что происходило в области излюбленной им издавна науки. Живо воспринял он Первый Всесоюзный съезд писателей (1964 г.) с призывом А. М. Горького к молодым писателям изучать устное народное творчество. «Особенно меня интересует литературный подъем... Какое широкое поле открывается для деятельности молодых этнографов! Все надо записывать и заносить в этнографическую и фольклорную историю: что сегодня не запишешь,—завтра уже исчезло»,—делится он своими мыслями в одном из писем (ИРЛИ, п. 2, № 34, 18.IV.35, л. 1 об.—2). В то же время его беспокоило, что занятия самой этнографией как бы уходят в тень: «Мало весьма у нас этнографов, все стремятся быть писателями, а этнографии не изучают, да и не знают, как ее и изучать» (ИРЛИ, п. 2, № 35, л. 3, 3.IX.34). Он как бы стремится передать эстафету новому поколению собирателей; в ответе на анкету Фольклорной секции он обращается к сотрудникам.е: «Не останавливайтесь, и к Вам придет вера в свои силы!... В настоящее время от Академии наук очень много требуется энергии и дела» (ИРЛИ, п. 2, № 15, л. 6).

\* \* \*

Хочется закончить статью теплым отзывом академика Э. К. Пекарского об Иване Васильевиче Костоловском. В 1916 г., когда Костоловскому присуждалась серебряная медаль РГО, Пекарский писал: «И. В. Костоловский принадлежит к числу скромных провинциальных тружеников в области русской этнографии... задавшихся целью вести, так сказать, этнографическую хронику всем тем бытовым явлениям местной жизни, которые проходят перед его глазами или о которых ему удастся узнать от местных жителей». Ценность наблюдений Костоловского, пишет он далее, «неоспорима именно потому, что ведется она с редкой добросовестностью и черпается из непосредственного источника местным работником, у которого, говоря его словами, „вся народная жизнь как на ладонке“». Указав, что Костоловский уже давно по своим заслугам избран членом-сотрудником Общества, «которым, в полном значении этого слова он и является», что часть его записей напечатана, он пишет: «Остальная часть хранится в архивах ученых обществ... и ждет заботливой руки, которая бы извлекла ее оттуда, систематизировала разрозненный

материал и затем опубликовала в каком-либо издании» (АГО, р. 110, оп. 1, № 263, л. 179—181). Этот завет может быть выполнен в отношении не только Костоловского, но и целого ряда других его современников, путем создания сводных собраний и публикации их, чтобы долгие труды этих собирателей послужили на пользу советской этнографии и фольклористике, а дело их жизни было завершено.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### СОДЕРЖАНИЕ СВОДНОГО ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ И. В. КОСТОЛОВСКОГО \*

#### Историко-этнографические очерки (стр. 1—70)

*Прошлое края.* Курганы. Пустошь Жегалиха. Деревня Черны. Найденный клад. Судная изба XVII в.

*Еремейцевская вотчина* (с. Еремейцево Рыбинского у. и соседние села).

*Сведения о постройках* в Ярославской губернии.

*Занятия населения.* (Гончарное производство. Сусальное производство. Крупорушки).

*Волга.* (Исторический очерк об истоке Волги. Коноводство на рр. Волге, Мологе и Шексне. Наводнение 1926 г. Приметы и поверья береговых жителей, связанные с Волгой.)

*Быт деревни 20—30-х годов.*

#### Ответы И. В. Костоловского на программу ОЛЕАЗ по обычному праву (стр. 71—127)

#### Обычаи, приметы, поверья (стр. 128—307)

*Метеорологические.* Значение комет. Поверья в луну. О грозе. О зарнице. Ветер-крышенник. Паводки. Ледоход и ледостав. О наступлении холодов. Узнавание погоды по птицам, насекомым. Ведро и ненастье. Погода «на теплые горшки». 1-е апреля. О режиме зимы и лета.

*Аграрные поверья и приметы.* О будущем урожае. Жажины и дожины хлеба. Первая охапка соломы. О льне.

*О скоте и домашних животных.* Покупка скота. Выгон скота весной. Отёл, удои и пр. Падеж скота и народная ветеринария. Поверье в «отвод» семенн, зерна, молока. Поверья о роге, об уходе за упряжной лошастью, обрубании у нее хвоста и подстригании гривы. Поверья о курах, наседках, яйцах. Пчелы. О кошках, мышах, домашних паразитах.

*Народные поверья о птицах.* Ворона. Ласточка. Галка. Кукушка. Ворон. Грач. Иволга. Воробы. Трясогузка. Снегирь. Сова.

*Бытовые обычаи и поверья* (дом, утварь, одежда). Закладка бревен. Место для колодца. Печь. Облизывание ложки. Значение пояса. «Ляпотное вино».

*Народная медицина.* Укус змей. Зубы. Чирей. Бородавки. Чиханье. Детские болезни. Паралитики. Нервные и душевные болезни. Талисманы: железо, орех, сучок и пр. Четверговая вода. Роды у женщин.

*Обычаи и поверья, связанные со смертью.* О соборовании. Предсмертный момент. Поминки. Тайная милостыня. Будет ли еще покойник в доме? О частях тела покойника.

*Демонологические представления.* Щишкы. Домовые. Намной. «Наваливание стены».

*Особые дни.* Тяжелые дни. Благовещение. Четвертая неделя великого поста. Вознесенье. Петров день.

*Свадебные обычаи* (с включением песен), *поверья и приметы.* Гаданья о браке. Поверья. Свадебный обряд (Сватовство. Гошение. Смотрины дома жениха. Богомолье, или

\* Заголовки разделов и подразделов даны автором статьи.

благословление. Побывашки. Сговорённая баня. Родительские, или приданные сухарики. Сговорка, или сговорёнка. Девичник. Ночь перед венчанием и будильные причеты. Венчанье — свадьба. Крутильное. Свадебный пир. Княжий стол. Порошенье. Первая Сая новобрачных. Отводины). Вьюнины.

### **Песни (стр. 308—428)**

Свадебные песни \* (сговорённые, или подблюдные, застольные, припевальные, причеты и пр.). Игровые, гулевые и плясовые песни. Доловые песни. Беседные «обыкновенные». «Народные» (традиционные лирические и сатирические) песни. «Не-народные» песни («фабричные», литературного происхождения и стиля — баллады и романсы). «Постные стихи». Стих калек переходящих. Исторические песни.

### **Малые жанры фольклора (стр. 429—547)**

Пословицы и поговорки. Загадки. Присловья. Скороговорки. Потешки. Дразнилки. Звукоподражания и пр.

### **Переписка (стр. 548—606)**

## **ON THE ROLE OF COMPOSITE FOLKLORE-ETHNOGRAPHIC COLLECTIONS (THE COMPILATION OF A SINGLE I. V. KOSTOLOVSKI FUND)**

The article describes the author's experience in compiling a complete folklore-ethnographic collection of an important local collector; I. V. Kostolovski whose records from the former Yaroslavl Province date in the main from the turn of the present century.

The importance of compiling such combined folklore-ethnographic funds of individual collectors is argued in the article. At present materials gathered by each collector are dispersed among many of the country's archives. These materials should be assembled (partly in copies) and systematized in one of the greater archives (with a complete copy transferred to other archives possessing funds of the same collector). This would conduce to: 1) a clearer view of the various methods used by the collector (stationary field base, complex methods etc.); 2) a re-creation of a general view of folklore and ethnographic characteristics prevailing among the population of a particular locality at particular time periods; 3) a comparison of the local peculiarities of material from various areas with the economic-cultural types and historical-ethnographic regions and, within each region, with temporal changes.

Studying such collections gathered by their precursors would promote better orientation and higher productivity in collecting materials by newly-organized expeditions.

Publication of valuable materials recorded by collectors in a period when traditional folklore was flourishing, and ethnographic phenomena, now dead and gone, were living and functioning, has a number of advantages compared to their fragmentary registration in a tarnished state that prevails at present. Present-day expeditions, on the other hand, have as their aim mainly observation and recording in the press of life as it is lived, not as it is artificially re-created.

---

Терминология песен везде И. В. Костоловского.

---

А. Д. Евсюгин

## СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ ЕВРОПЕЙСКИХ НЕНЦЕВ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В ненецких стойбищах на европейском Севере в XIX — начале XX в. широко бытовали различные свадебные обряды, характер которых был тесно связан с кочевым образом жизни обитателей тундры и их основным занятием — оленеводством.

Первым шагом к заключению брачного союза был выбор родителями жениха свата — *нэву* и его помощника — *ясавзя*. Сватами могли стать любые родственники со стороны отца: замужняя женщина, холостой или вдовый мужчина. В последнем случае свата должна была сопровождать замужняя женщина (например, мать или сестра жениха). Когда отец жениха имел основания сомневаться в успехе сватовства, он приглашал в качестве свата шамана — *тадеба*.

Сват получал от отца жениха определенные полномочия и имел право предлагать выкуп за невесту. В чум отца невесты сват входил с посохом в руках и становился у двери, изображая старого человека. Посохом могли служить *па* — крюк для подвешивания котла, шомпол, обломок хорея; в Большеземельской тундре — *ядабць* — обшитый мехом специальный посох с привязанным к нему колокольчиком. Войдя в чум, сват, ни слова не говоря, набрасывал на руки отцу невесты шкуру чернобурой лисицы. Принятие подарка означало согласие на брак. Палочка, молча вложенная в руки свату, означала отказ. Существовали и другие формы отказа свату, например, отец невесты просто выходил из чума. Через некоторое время мать невесты сообщала свату, продолжавшему стоять в той же позе, что ее муж уехал в другое стойбище. Иные родители, давая понять, что не желают разговаривать, гасили светильники. Если сват был настойчив, то чтобы избавиться от него, отец невесты запрашивал слишком высокий выкуп. Если и это не помогало, отец невесты произносил: «Хуркари нея» — «Не согласен», после чего недовольный сват выходил из чума со словами: «Ноги нашей больше у вас не будет».

При согласии на брак отец невесты начинал беседу первым и говорил примерно следующее: «Коли вы не сват, то рядом садитесь, гостем будете!». *Нэву* отвечал, что приехал сватать дочь хозяина, называл отца жениха и осведомлялся, не опоздали ли сваты. Отец невесты в знак согласия на замужество дочери брал из рук свата посох и ставил его на почетное место. Затем все приехавшие приглашались в чум.

Описанный обряд сватовства при сходстве основных элементов несколько варьировался у разных групп ненцев. В Большеземельской тундре сват, войдя в чум отца невесты, некоторое время молча стоял у дверей, опираясь на *па*. Затем он сообщал, кем послан, вручал шкуру лисицы и также без слов уезжал. Если подарок принимался, т. е. дава-

лось согласие на брак, сват с женой, отец и мать жениха, а иногда и сам жених ехали договариваться о выкупе и приданом. Вместо па сват брал деревянную бирку и, войдя первым в чум, подавал ее отцу невесты. Тот делал на бирке зарубки, означающие размер выкупа — *мир* за невесту и возвращал ее свату, отдававшему бирку отцу жениха, который срезал лишние, по его мнению, зарубки. Затем *нэву* снова шел к отцу невесты, чтобы передать ему условия стороны жениха. Вся церемония происходила в полном безмолвии. Достигнув соглашения, отцы жениха и невесты на концах бирки вырезали каждый свое родовое клеймо, а бирку раскалывали надвое: одна половина оставалась у отца невесты, другая у свата, для проверки уплаты выкупа (олений, пушнины, сукна, денег). Когда договор был скреплен, родня жениха приглашалась в чум невесты для угощения<sup>1</sup>. Во время сватовства невеста обычно лежала в чуме в углу, накрытая шубой матери, и слышала все разговоры.

На полуострове Канин к упряжке *нэву* часто привязывали предназначенного в подарок отцу невесты оленя-быка, которого украшали попоной — *ной еиня* из цветного сукна и ошейником с колокольчиком. Невесте сват дарил золотое кольцо и шерстяной или гарусный пояс. Через некоторое время в чум жениха приезжали родители невесты. Мать невесты получала от отца жениха в подарок новую меховую шубу — *паны*. После этого вопрос о бракосочетании считался окончательно решенным. Отцы скрепляли договор о брачном союзе детей рукопожатием, а сват разнимал их руки ударом своей руки снизу вверх.

Размер выкупа за невесту определялся ее молодостью, красотой, достатком отца и часто был довольно значителен. Богатые оленеводы требовали до 200 оленей, 40—50 шкурок песца, шкурки лисиц, бобров, 20—30 метров сукна (зеленого, желтого, красного), деньги. Многие бедняки не могли жениться, потому что им не под силу был и гораздо более скромный выкуп.

После завершения сватовства начинались приготовления к *тюне* — свадьбе. Отец жениха, получив от отца невесты известие, что к свадьбе все готово, рассылал по соседним стойбищам нарочных на оленьих упряжках — приглашать на свадьбу родных и знакомых. Родители объявляли сыну о своем решении женить его, сообщали имя отца невесты и день выезда на свадьбу. Как правило, вопрос о браке решали родители; согласия жениха и невесты не требовалось.

В назначенный день прибывали одетые по-праздничному родственники и гости. Красочной одеждой выделялся жених — *нелеванда*. На нем была новая малица из шкуры оленя, маличная рубаха из зеленого сукна с окантовкой красным сукном по подолу и обшлагам рукавов, новая шапка, отделанная цветным сукном; пимы были украшены подвязками и кистями; накрест через плечо была перекинута шелковая полоска яркой материи. Мать жениха в красивой новой шубе ехала на нартах, в которые были запряжены белые, с ветвистыми рогами олени, покрытые опускавшимися почти до земли попонами из трехцветного сукна. Уздечки были убраны кистями из крашеной ровдуги с костяными украшениями из моржовой кости; нарты были обтянуты цветным сукном, закрепленным гарусным цветным поясом. Нарядной оленьей упряжке, обязательно новой, прочной придавалось большое значение. Ее поломка во время свадебной поездки считалась дурной приметой, предвещавшей неблагополучие в жизни молодых и даже смерть одного из супругов.

Первым ехал *ясавэй*, за ним — *нэву*, в нартах у которого справа сидел жених (жениху не полагалось ничего делать, даже править оленями). Далее следовали на отдельных оленьих упряжках отец и мать же-

<sup>1</sup> О подобных обрядах сватовства и о браке у ненцев см.: В. И с л а в и н, Самоеды в домашнем и общественном быту, СПб., 1847, стр. 125—132.

ниха, а за ними — остальные гости в соответствии со степенью родства и занимаемым положением.

Не доехав до чума невесты метров семьсот, свадебная процессия останавливалась на видном месте. Отец невесты поднимал на хорее трехцветный флаг, сшитый из тонкого сукна, а затем вместе с женой и другими родственниками (до 6 человек) выезжал навстречу процессии. Сделав вокруг приехавших три круга по направлению движения солнца, он останавливал упряжку. Первым из саней выходил кто-нибудь из близких родственников невесты и здоровался за руку сначала с женихом, которого поздравлял с вступлением в брак, а затем с отцом жениха и другими мужчинами. Начиналось угощение. Встречавшие привозили вареное и сырое мясо, копченую грудинку, свежую и соленую рыбу, пряники, сушки, вино в специальном деревянном бочонке — *ня хор*. Вино черпали деревянным ковшом — *ярако*. Первый ковш подавался нэву, второй — жениху, потом — всем остальным. Родственники жениха оставались в санях, куда им подносили угощение (мужчины — мужчинам, женщины — женщинам) с учетом степени родства, положения и богатства. Затем отец невесты приглашал всех к себе в чум. Наступал ответственный момент свадебной церемонии. От него зависело пойдет свадьба своим чередом или расстроится.

Гостей встречали у чума невесты, где совершался обряд ловли оленьих упряжек, на которых прибыла родня жениха. Все приехавшие с женихом делали три почетных круга (по солнцу) вокруг чума невесты. Впереди — ясавай, за ним нэву с женихом. Стоящая среди родственников невесты пожилая женщина махала вслед оленьим упряжкам флагом из красного сукна, приговаривая пожелания счастья молодым и добрых родственных отношений обоим семьям. Родные невесты должны были поймать за вожжу передового (крайнего слева) оленя и на полном скаку остановить оленью упряжку. Мужчины ловили мужские упряжки, женщины — женские. Упряжку нэву с женихом полагалось остановить, прежде чем она сделает три круга (каждый круг отмечался холостым выстрелом в воздух, допускалось применение аркана — *тынзей*). Если за положенное время остановить упряжку не удавалось, сват прекращал езду и громогласно заявлял: «Вы не сумели нас остановить — невесту берем без выкупа», и отъезжал в сторону. Тогда родственники невесты подходили к упряжке, просили не гневаться, свадьбу не расстраивать и вручали свату и жениху подарки за удаль и ловкость.

Нерасторопность родственников невесты иногда приводила к тому, что разочарованный жених уезжал. Так же могла поступить и его мать. За повернувшими назад санями нэву с женихом или матери жениха тянулась вся процессия — свадьба расстраивалась. Это считалось позором для родных невесты и приносило материальный ущерб. Поэтому ловля оленьих упряжек принимала характер упорной, азартной борьбы-игры. Раздетые, вспотевшие родственники невесты, не обращая внимания на мороз, стремительно бегали за оленями, стараясь схватить за вожжу передового. А гости обычно заранее специально тренировали передовых оленей и подбирали сильных пелеев — крайних справа в упряжке.

Пойманные упряжки подводили к чуму и за вожжу передового привязывали: сани свата к «чистым» нармам — *пой-нуту* — со стороны *синякуя*, передней части чума напротив входа (а за ними одну за другой все мужские упряжки), сани матери жениха — к «нечистым» нармам — *сябу* со стороны дверей, а за ними все упряжки женщин. Тем, кто сумел остановить оленей, подносилось угощение. После этого родственники невесты распрягали оленей (мужчины — мужские упряжки, женщины — женские) и отпускали их на выпас в тундру.

Важное место в свадебной церемонии занимала группа обрядов, носившая название *тэмдава* — выкуп двери. Мать невесты приглашала



родственников жениха войти в чум. Нэву брал под руку жениха, подводил к двери, но как ни старался, не мог ее открыть. Дверь держали изнутри женщины, требуя выкупа. Выкупом служил кусок трехцветного сукна, с привязанным колокольчиком. Приходилось проявить немалую ловкость, чтобы просунуть сукно внутрь чума непременно в щель между *ея* (верхним покрытием чума) и *мюйко* — подночьем (нижним его покрытием), не выше перекладки, на которой висели чайники и котлы, причем в *мокода* (дымоход) и под *ея* передавать подарок запрещалось; его выбрасывали, если он попадал в чум этим путем. Церемония проходила под шутки и смех, сопровождавшие поиски щели. Дверь открывалась, когда подарок, наконец, попадал по назначению. Тот кто сумел передать его, входил первым, разрывал сукно на ленточки и раздавал женщинам, защищавшим дверь. Мать невесты приглашала гостей отведать парного оленьего мяса с кровью. Это блюдо готовилось во время ловли упряжек и выкупа двери. Со стороны синякуя сажали мужчин и жениха, а у дверей — женщин и невесту. За женихом ухаживал нэву — он резал и подавал ему мясо, за невестой — кто-нибудь из ее ближайших родственников.

После угощения начинались национальные игры у чума и катание на оленях. Затем отец невесты приглашал гостей к свадебному столу. Для празднования богатой свадьбы, на которую съезжалось много гостей, ставился специальный свадебный чум. Первой в него вводили невесту: ее сажали на середине чума на белую оленью шкуру лицом в сторону синякуя. Поэтому нэву под руку вводил жениха и усаживал его на той же шкуре, вплотную к спине невесты. Таким образом, во время свадебного пира жених и невеста не могли видеть лиц друг друга. Входящих гостей нэву и отец невесты приветствовали рукопожатием. Нэву садился у ног жениха, рядом с женихом — его отец и мать, рядом с невестой — ее родители. Остальные родственники и гости занимали места в соответствии со степенью родства и общественным положением.

Согласно обычаю, жених и невеста за свадебным столом должны были сидеть спокойно, держаться скромно, смотреть только в пол, есть и пить очень умеренно, в соответствии с обычаем. Чай, вино и бульон им подавали в одной посуде. Нэву давал сосуд с жидкостью жениху, тот отпив немного, передавал его невесте, левой рукой, пронося ее под правую. Таким же способом невеста возвращала посуду жениху. Запрещались какие-либо проявления чувств: нельзя было разговаривать между собой, держаться за руки.

Перед началом свадебного застолья двум пожилым людям поручалось наблюдать за поведением жениха и невесты. Недалеко от жениха садился старик (это мог быть и тадеба), поблизости от невесты — пожилая женщина. Оба наблюдателя — *ерабада* в течение всей свадьбы старались быть как можно менее заметными, ели немного, вина не пили совсем.

За столом было оживленно и весело: в адрес молодых произносились поздравления, пожелания, наставления. Издалека привозили известных певцов и рассказчиков. Во время свадебного застолья наряду с обрядовыми свадебными — лирическими и дидактическими (о необходимости трудолюбия, уважения к старшим, соблюдения древних законов и т. п.) пели шуточные песни и песни о реальных исторических героях, боровшихся за счастье своего народа, рассказывали сказки — *вадако*.

Свадебное угощение состояло из оленьего мяса — сырого и жареного на костре, костного мозга из ног оленя, сырой мороженой и соленой рыбы. Каждому в отдельную деревянную миску наливали бульон, который полагалось выпивать через край. Потом подавали горячий крепкий чай с сахаром, сухарями, сушками и топленым коровьим маслом. Вина в первый день свадьбы пили мало — каждый гость по ярако (позже — по рюмке).

Застолье завершалось играми и весельем. Все присутствующие выходили из чума, жениха выводил под руку сват, невесту — одна из близких родственников. Популярна была игра *амдаво*. Участники ее становились в круг, держась руками за веревку. Жених и невеста могли находиться во время игры в разных местах. В середину круга выходил человек с завязанными глазами. Он должен был схватить кого-нибудь из участников игры (мужчина — женщину или девушку). Стоявшие в кругу двигались все вместе, стараясь не дать водящему поймать жертву: они перегруппировывались, двигались то вправо, то влево. Были и другие игры: прыжки в длину, прыжки через нарты, метание топора, тынзея, борьба, игра с мячом, гонки на оленьих упряжках и др.

В чуме в это время собирали ужин. Гости занимали прежние места. Жениху и невесте на особом блюде подавали сердце и язык оленя с пожеланиями дружной и счастливой жизни: теперь у них на двоих одно сердце и один язык. Только после этого обряда, завершавшего первый день свадьбы, гостям разрешалось пить вино вволю. Пока продолжалось праздничное веселье, родители устраивали для новобрачных постель у синякуя. Жених и невеста, в верхней одежде (невеста с поясом на панице) ложились спинами друг к другу, жених лицом к синякую, невеста — лицом к двери.

После окончания свадебной церемонии в чуме невесты начинались приготовления к отъезду в чум жениха. Родители и близкие родственники невесты собирали ее в дорогу, укладывали приданое. Приданое богатой невесты составляло целый караван — *мея мюд*, который вела жена свата. В этот караван входило следующее.

1. Легковые нарядные женские нарты — *не хан* — в них ехала невеста в сопровождении одной из близких родственников. Сопровождающая держала в руках дубовый хорей — *тюр* с медным наконечником — *тюр мал* и железным копьём, на которое были подвешены медные кольца. Сопровождающая невесту родственница не должна была держать в руках вожжи: этим подчеркивалось, что молодой не следует рассчитывать на самостоятельность.

2. Нарты — *вата*, куда грузили меха, сукна, украшения невесты. Эти нарты завязывались специальной длинной веревкой *хурко* из оленьих сухожилий.

3. Нарты — *вандако*, в которых везли всю меховую одежду и запасы меховых шкур.

4. Нарты — *ларь хан* — деревянный водонепроницаемый ящик с крышкой, служивший главным образом для перевозки продуктов: сухарей, круп, сахара, масла, муки, печенья и т. д. Все продукты помещали в отдельную посуду, причем обычай требовал, чтобы она была заполнена доверху. На ларь отец невесты укладывал половину специально заготовленной оленьей туши — яловки.

5. Нарты — *юхуна*, или *юна*, для постельных принадлежностей: перин, подушек, овчинных одеял, обтянутых цветным сукном, циновок из травы — *нутер*, пологов. С обеих сторон к нартам привязывали по важенке.

6. Нарты — *сябу*, предназначавшиеся для «нечистых» предметов таких как *латы* — доски для пола, железные листы для костра, циновки — *хунер* из березовых прутьев, тазы, ведра, женская обувь. Сверху нарт грузили целый ея или его половину.

7. Нарты — *си тер*, или *нүто*. Сюда погружали шесты на чум или половину чума, чайники, крюки, ящики с посудой, предметы религиозного христианского культа, а сверху — подночье — *мюйко*.

Из приданого невесты мать оставляла в родном чуме только *пады* — суконный мешок с одеждой и обувью. По обычаю дочь с мужем после свадьбы должны были приехать в гости к отцу и матери специально за пады.

В мея мюд запрягали 16—20 оленей-быков, которые оставались у молодоженов. Однако на ушах оленей сохранялось родовое или семейное клеймо отца невесты.

Убранство самых нарядных женских нарт — нарт невесты — было традиционным для праздничной упряжки ненцев. Сходные детали украшений мы находим, к примеру, в упряжке матери жениха. Оленей, от передового до пелея, покрывали попоной — ной иня, на шею каждому из них подвешивали медный колокольчик на ошейнике из цветного сукна. Уздечки украшали плетеными замшевыми кистями — *ямде* красного цвета; на костяных деталях уздечки — медные подвески, иногда из медной цепочки. На нащепях нарт — плетеные из красной ровдуги кисти, у первого копыла нарт справа — медный колокольчик; все копылья обтягивали зеленым и красным сукном, верхнюю дощатую часть — сукном разных цветов. Изнутри нарты устилали оленьей шкурой. Обычай не позволял, чтобы нарты невесты в полном убранстве были открыты, поэтому сверху на них набрасывали легкий яркий шелк.

Когда невеста была готова к отъезду, сват под руку подводил к ней жениха и предлагал им помолиться перед христианской иконой, затем вручал жениху ковригу хлеба, а тот передавал ее невесте. Теперь жениху полагалось поцеловать невесту. После поздравлений и добрых напутствий обоих отцов жених в сопровождении родителей под руку вел невесту к нартам. При выходе из чума родственники невесты принимали у нее ковригу хлеба. Отец брал дочь на руки и бережно клал на бок в нарты, на оленью шкуру. Затем невесту накрывали цветным сукном, а отец произносил: «Ты теперь не наша дочь, ты выдана замуж. Люби мужа, живите дружно, слушайся старших». Нэву приглашал родственников и гостей невесты на свадьбу в чум жениха.

Свадебный поезд составлялся следующим образом: первым ехал ясавэй, за ним нэву с женихом, потом жена нэву с невестой, а затем мать и отец жениха на отдельных нартах каждый, за ними все остальные гости. Обряды, связанные с отъездом, приближением к чуму, встречей, были аналогичны тем, которые совершались во время поездок родни жениха к невесте. Отец невесты, провожая новобрачных и гостей, поднимал трехцветный флаг из сукна и махал им вслед упряжкам, которые делали три прощальных круга (по солнцу) вокруг чума невесты, после каждого круга производился выстрел. Недалеко от чума жениха свадебный поезд останавливался, отец невесты снова поднимал флаг — теперь это был знак, что свадебная процессия ждет приглашения и угощения. Мать и отец жениха, не останавливаясь, ехали в чум и привозили угощение. Теперь уже сторона жениха делала три почетных круга по солнцу вокруг гостей. Затем следовало угощение, причем вино подносили только мужчинам. Отец жениха приглашал всех в гости.

Веселая, быстрая езда вокруг чума жениха (по солнцу, с тремя холостыми выстрелами после каждого круга), ловля оленьих упряжек — все происходило так же, как у чума невесты. Старались, чтобы не опрокинулись сани невесты и не случилось какой-нибудь поломки — это считалось плохим знаком.

Соблюдался такой же, как и у чума невесты, порядок в привязывании нарт. Только женские упряжки здесь привязывали к саням жены нэву, а не матери жениха. Сани невесты и двух важенок ясавэй привязывал к саням нэву и жениха. При этом он произносил, обращаясь к жениху: «Я привел тебе сани, а в них — невесту. Прими ее, и живите счастливо». Весь мея мюд невесты привязывали к нартам сябу.

Жених должен был сам выпрячь всех оленей и отпустить их на выпас. Упряжь надо было аккуратно сложить на санях, чтобы она не волочилась по земле и не упала, так как, по поверью, это сулило новобрачным несчастье, означая, что невесту берут не по любви. Если жени-

ху не везло и он упускал упряжь, родные приглашали тадебя принести жертву *тадебциям* — шаманским духам — для предотвращения беды. За работой жениха следили двое наблюдателей, оценивая его умение и сноровку в хозяйстве. Затем жена свата и сопровождающая женщина открывали и сажали невесту. Родственники жениха с соблюдением тех же правил, что и у чума невесты, обносили всех вином. Нэву подавали на подносе две рюмки вина. Он брал за руку жениха, подводил его к невесте и подавал ему рюмку, предлагая угостить невесту и поцеловать ее. После этого нэву протягивал вино сопровождающей невесту родственнице.

Затем гостей угощали парным оленьим мясом, после чего их приглашали в чум за свадебный стол. Жених под руку вводил невесту, родные жениха — под руку родных невесты (мужчины — мужчин, женщины — женщин). Новобрачные сидели рядом на почетных местах, теперь уже разрешалось, чтобы их лица были обращены в одну сторону. Гости рассаживались опять по степени родства, общественному и имущественному положению. Жених и невеста соблюдали тот же ритуал, как во время первого застолья, но жених сам мог брать со стола все, что пожелает.

На второй день свадьбы в чуме жениха невеста должна была угощать всех припасами, привезенными из дома. Она обносила гостей, а те в ответ дарили ей подарки — украшения, деньги, цветное сукно, а иные обещали оленей-быков, важенок, сыриц (важенок-первотелок).

Потом все выходили из чума, начиналось веселье, катание на оленях, национальные игры. Нэву на санках возил жениха и невесту вокруг чума по направлению движения солнца, но ловить упряжку уже не полагалось. Во время игры амдавко жениху, согласно древнему обычаю нельзя было ловить другую девушку. Если это случалось, игру прекращали. На четвертый день для молодых готовили брачную постель.

В последний день устраивали специальный стол для угощения наблюдателей, следивших за выполнением свадебных обрядов. Отец жениха благодарил нэву за усердную службу и вознаграждал его несколькими оленями (4—5 голов), мясом, оленьими шкурами, сухожилиями, цветным сукном, *камусами* (оленьи лапки, белые и темные, служившие для украшения паницы).

Отец и мать невесты, уезжая, напоминали, что ждут молодоженов к себе в гости за пады. Эту поездку новобрачные совершали примерно через неделю после свадьбы вместе со свекром и свекровью, каждая пара на отдельной упряжке. Вручая пады, тесть и теща просили зятя называть их отцом и матерью. Богатый отец дарил дочери меховую шубу, пимы, а брат дарил сестре женские нарты с упряжью и перстень. Дочь, выданная замуж, в семье мужа в течение пяти лет носила одежду и обувь, полученную в приданое. По существовавшим обычаям, она могла посещать родителей только один раз в год.

Молодым, уехавшим за пады, не полагалось по возвращении входить в чум, если он стоял на прежнем месте, а тем более ночевать в нем. — это считалось большим грехом и предвещало им несчастье. Поэтому сразу после отъезда молодых чум вместе со всем хозяйством перекочевывал на новое место.

Со временем, под влиянием общения с русскими в описанных обрядах, связанных со сватовством и свадьбой, произошли изменения, однако в целом ненецкая свадьба сохранила яркий национальный колорит.

**А. П. Хокконен**

## **КАРЕЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ ВЫШИВКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА**

Народное декоративно-прикладное искусство, и в частности вышивка, привлекает все более пристальное внимание исследователей. Это объясняется тем, что традиционная вышивка как важная составная часть народной культуры является средством выражения художественных вкусов, национальных особенностей народа, его мировоззрения. Орнамент тесно связан с историческими судьбами создававшего его народа. Это своеобразный «документ», отражающий историко-культурные взаимосвязи между народами.

Вышивку русского населения Европейского Севера изучают давно и систематически. Вышивка же карел изучена мало. Ее привлекали лишь в качестве сравнительного материала — при исследовании искусства других этнических общностей (работы Г. С. Масловой, И. П. Работновой, В. И. Плотнокова и др.)<sup>1</sup>.

В задачу настоящей статьи входит общая характеристика Карельской народной вышивки как источника, помогающего вскрыть некоторые аспекты исторического прошлого карел.

Работа написана на основе полевых материалов, собранных автором в 1969—1973 гг. в районах расселения трех этнолингвистических групп карел: ливвиков, людиков и собственно карел<sup>2</sup>. Изучены также коллекции карельской народной вышивки, хранящиеся в различных музеях<sup>3</sup>. В результате зафиксировано более 500 образцов народной вышивки, относящихся к середине XIX — началу XX в.

Для выявления географического распространения отдельных видов орнаментальных мотивов автор использовал метод картографирования. Прилагаемые к статье карты — первый опыт картографирования народной карельской вышивки второй половины XIX — начала XX в. Карты составлены по различным видам орнаментальных мотивов с учетом техники исполнения. Основной картографируемой единицей была волость.

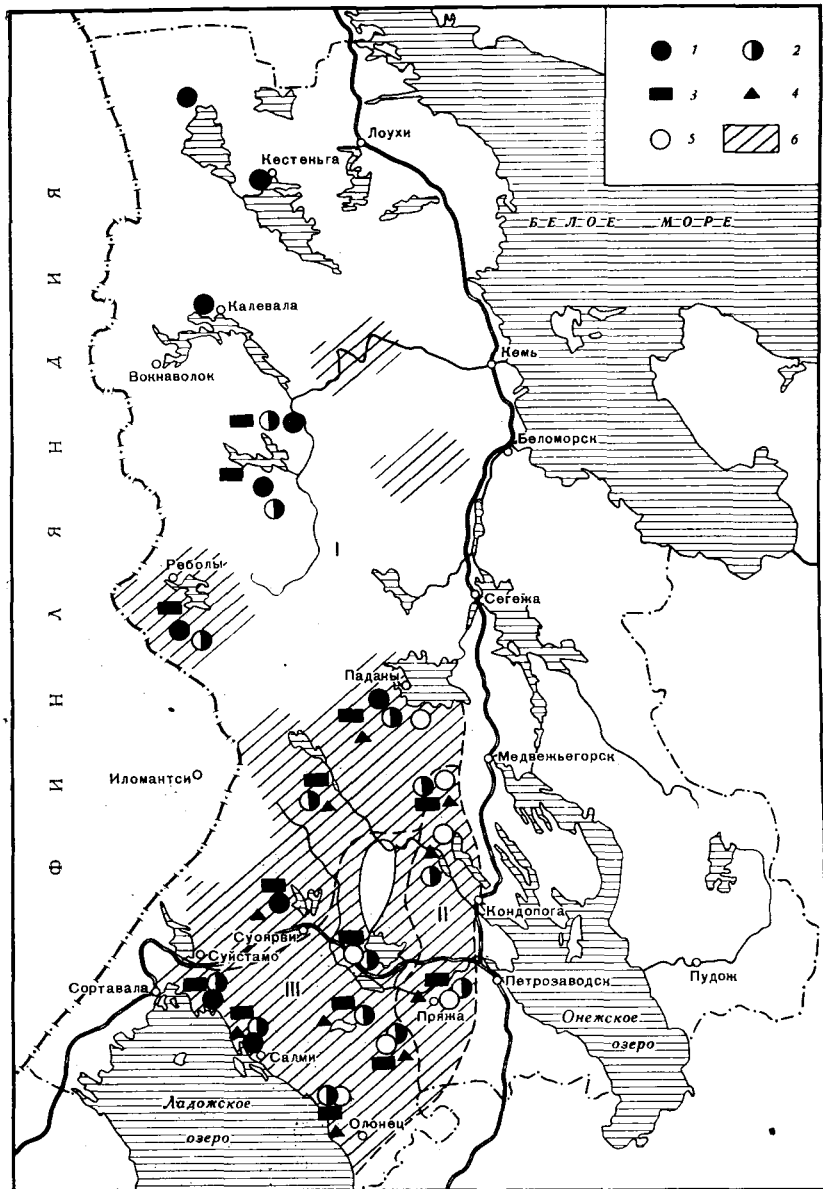
В карельской вышивке четко выделяются геометрические и сюжетные мотивы. Последние подразделяются на узоры антропоморфные, орнитоморфные, зооморфные, растительные, а также смешанные, в которых сочетаются разные мотивы<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Более подробно об изучении вышивки карел Карельской АССР см.: А. П. Хокконен, Народное декоративное искусство карел в работах русских и финляндских исследователей, «Некоторые проблемы современной этнографической науки. Источниковедение и историография», М., 1974, стр. 153—162.

<sup>2</sup> Исследования проводились в восточной части Суоярвского, в Олонецком, Пряжинском, Кондопожском, Медвежьегорском, Беломорском, Кемском и Калевальском районах Карельской АССР.

<sup>3</sup> В Государственном музее этнографии народов СССР (Ленинград); Карельском Государственном краеведческом музее (Петрозаводск), районных музеях гг. Олонца и Медвежьегорска, пос. Калевала. Использованы также описания коллекций карельских вышивок, хранящихся в Национальном музее Финляндии (Хельсинки), сделанные Р. Ф. Никольской и любезно переданные ею автору.

<sup>4</sup> Несмотря на обилие разрозненных сведений, автор столкнулся с определенными трудностями при распределении материалов по отдельным районам. Это связано с тем, что систематическое обследование вышивки начато недавно, и многие ее образцы безвозвратно исчезли. К тому же и методика картографирования вышивки до сих пор не разработана.



Карта. Распространение геометрических и сюжетных узоров в карельской народной вышивке второй половины XIX — начала XX в. I — собственно карелы; II — людики; III — ливвики;

1 — геометрические узоры, выполненные в технике косого стежка и набором; 2 — геометрические узоры, вышитые двусторонним швом и крестом; 3 — растительные мотивы, выполненные двусторонним швом; 4 — растительные мотивы, исполненные техникой «по-выдергу»; 5 — растительные мотивы, вышитые тамбуром; 6 — сюжетные мотивы с антропоморфными и зооморфными персонажами.

Другие орнаментальные мотивы требуют дополнительного изучения. Однако и имеющиеся у нас материалы дают представление об ареалах бытования различных типов вышивки, ее локальных вариантах, помогают выявлению историко-культурных взаимосвязей карел с другими народами.

Основными видами украшения текстильных изделий у карел в XIX — нач. XX в. были вышивка и тканые узоры, распространенные повсеместно.

но, но неравномерно. В одних районах (в Медвежьегорском — куст Пада- ны, Олонецком — около г. Олонца) преобладало узорное ткачество, в других (Суоярвском, Пряжинском, Кондопожском, Муезерском) — вышивка. В Олонецком, Прионежском, Медвежьегорском и других районах одежда и ткани бытового назначения украшались как вышивкой, так и ткаными узорами. На севере Карелии бытовали полихромная вышив- ка (шелковыми нитками), вязание и простейшие способы станочного тканья; вышивкой хлопчатобумажными нитками здесь почти не зани- мались.

Искусство вышивки у карел нередко имело характер ремесла. На- пример, в деревнях Седокса, Рыпушкалица и других бывшего Олонец- кого уезда, где подзоры, полотенца и различные изделия изготовлялись для продажи<sup>5</sup>. Но чаще всего вышивание оставалось в крестьянских семьях сугубо домашним занятием, сохраняя немало архаических черт, восходящих к искусству XVIII в. и более раннего периода.

Украшенные вышивкой изделия выполняли не только различные утилитарные функции, но и были одним из обязательных элементов декоративного убранства жилища во время многочисленных праздников и торжеств. Кроме того, им принадлежала значительная роль в обрядах. Так, существовал обычай развешивать вышитые полотенца на могиль- ных крестах, оградах, деревьях, считавшихся «священными». «Освящен- ные» полотенца были необходимым атрибутом во время поминальных обрядов<sup>6</sup>.

Вышивкой карелы украшали женскую одежду — рубаху (rätsšinä) и головной убор — сороку (sorokka), а также полотенца (käsiपाikka, вюограikka) и подзоры (terä). Орнамент вышивки выполнялся косым стежком (puoliristi), набором (poimenäluadu), двусторонним швом (kaksčuraiseksi), «крестиком» (risti), «по-выдергу» (nyhitty, väsimytty) тамбуром (koukku ombeltu, tamburall) и др.<sup>7</sup>

Для орнамента вышивки карел, как и для орнамента финно-угорских народов севера Восточной Европы, характерны геометрические узоры. Следует заметить, что многие геометрические мотивы распространены во всем мире и считаются наиболее древними видами орнаментации<sup>8</sup>.

Геометрическими узорами на территории северо-запада Восточной Европы текстильные изделия украшали на протяжении многих веков. На это указывают археологические материалы раннего средневековья из курганов Приладожья, в которых найдены фрагменты шерстяных тканей с узорами из многоугольников, ромбов, простой и сложной свастики, S-образных фигур, выполненных нашивками бронзовых спиральных пронизок<sup>9</sup>. Хотя хронологический разрыв между древним орнаментом и вышивкой XIX в. весьма велик, к тому же и этническая принадлежность племен, оставивших культуру приладожских курганов, окончательно не выяснена, тем не менее глубокая преемственность, традиционность геометрических узоров в искусстве населения северо-западных окраин Вос- точной Европы несомненна.

<sup>5</sup> T. Wahter, Itä-Karjalan kansanomaista käsitoistä, «Muinaista ja vanhaa Itä-Karjalaa», Helsinki, 1944, s. 231; Полевые материалы автора за 1970 год.

<sup>6</sup> А. Собо́ров, К истории культуры Олонецкой Карелы, «Олонецкие губернские ведомости», 1876, № 4, стр. 482; «Олонецкий сборник», I, Петрозаводск, 1875—1876, стр. 133; В. Дашков, Похоронные обряды олончан, «Олонецкие губернские ве- домости», 1844, № 5, стр. 18; T. Wahter, Указ. раб., стр. 221.

<sup>7</sup> Здесь не рассматривается золотопшвейное и жемчужное шитье, так как это тема специального исследования.

<sup>8</sup> Б. А. Рыбаков, Происхождение и семантика ромбического орнамента, «Сбор- ник трудов Научно-исследовательского ин-та художественной промышленности», вып. 5, М., 1972, стр. 127.

<sup>9</sup> T. Schwindt, Tietoja Karjalan rautakaudesta, «Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja», т. XIII, 1893, к. 349—355, 376.

Во второй половине XIX — начале XX в. геометрические мотивы занимали доминирующее место в вышивке одежды всех этнографических групп карел (см. карту). Значительно реже встречались сюжетные (растительные и орнитоморфные) изображения. Для одежды населения соседних русских районов (Каргопольского, Пудожского, Онежского) характерно преобладание сюжетных узоров. Лишь на наплечных вставках — «намышниках» — вышивались геометрические узоры<sup>10</sup>.

Несмотря на известное единообразие геометрического орнамента карел, в нем довольно четко выделяются определенные вариации в трактовке и композиции, технике и расцветке узоров.

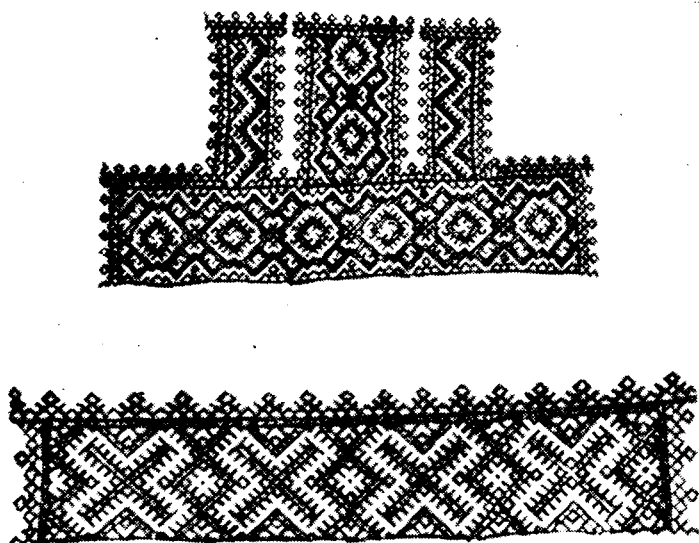


Рис. 1. Наплечная вставка — *tuiska* женской рубахи. Вышивка многоцветными шелковыми нитками (Северная Карелия). Все фотографии к статье выполнены С. Краевым

Особый интерес представляют геометрические узоры на старинных женских рубахах с очень длинными рукавами (*tuiska rätsšinä*), которые встречались у собственно карел и ливвиков на северо-западном побережье Ладожского озера еще в середине XIX в.<sup>11</sup> Но уже тогда эти рубахи были только обрядовыми — свадебными. Их носили с глухим косоклинным сарафаном (*košto*) и вышитой сорокой из холщевого материала. Верхнюю часть рукавов (*tuiska*) и ворот (*kaglušta*) вышивали разноцветным шелком, иногда шерстью и красной хлопчатобумажной нитью. Узоры на сороках повторяли элементы вышивки *tuiska rätsšinä*. Основные мотивы — косые кресты, скобчатые фигуры, в различной манере разработанные мотивы ромба и свастики. S-образные фигуры — выполнялись техникой косого стежка и набора (рис. 1). Узоры полихромной вышивки были мелкими, дробными, с небольшими просветами фона холста, напоминая в целом ковровые узоры.

<sup>10</sup> И. Я. Богуславская, Русская народная вышивка, М., 1972, стр. 7; К. Э. Кнатц, Вышивка Заонежья, «Искусство Севера. Заонежье», т. I, Л., 1927, стр. 65.

<sup>11</sup> Д. К. Зеленин, О старом быте карел Медвежьегорского района Карело-Финской ССР, «Сов. этнография», 1941, V, стр. 124; U. T. Sirelius, Suomen kansanpuken historian, «Suomalais-ugrilaisen seuran journal», XXXI, Helsinki, 1916, s. 80; Y. Blomstedt, V. Suksdorff, Karjalaisia rakennuksia ja koristemuotoja, Helsinki, 1901, s. 180, 181; T. Wahter, Указ. раб., стр. 225, 226.



Очень интересен геометрический узор на женских рубашках более позднего типа, которые носили во второй половине XIX — начале XX в. в южной и средней Карелии. «Воротушку» (hiemat) — верх рубахи шили из фабричной ткани, а «надставу» (emušta) — из холста. Вышивку двусторонним швом или «крестиком» по счету нитей холста располагали по подолу. Преобладали Г-образные фигуры, меандры, четырех-восьмиконечные звезды, ромбы, прямые и косые кресты (рис. 2). Для этих вышивок характерны бордюры из небольшого количества довольно крупных по размерам фигур. Подобное художественное решение имеет близкие аналогии с трактовкой узоров браного ткачества и резьбы по дереву.

Геометрические мотивы, выполненные техникой двустороннего шва и «крестика» (со сходным с карельской вышивкой композиционно-стилистическим решением), были распространены и в одежде вепсов (прионежских, оятских) и представляют собой своеобразное явление в искусстве этих народов.

Вышивки с сюжетными мотивами, в частности с изображением женских персонажей, у карел были распространены не столь широко, как геометрические (см. карту). Вышивки с антропоморфными изображениями были сконцентрированы главным образом в южной Карелии — преимущественно у ливвиков, украшавших ими полотенца и подзоры (рис. 3). У людиков и собственно карел подобные мотивы встречались реже. В карельской вышивке сюжеты с женскими фигурами представлены по традиционной схеме, характерной и для искусства соседних народов, в частности русских. У последних композиции с антропоморфными изображениями распространены как на севере, так и в центральных областях<sup>12</sup>.

Трехчастные композиции, состоящие из женской фигуры или дерева в центре с симметрично расположенными по обеим сторонам всадниками, конями, деревьями, птицами, в карельской вышивке выполнялись двусторонним швом красными бумажными нитками по холсту. Образы трактованы в условной, геометризированной форме (рис. 4). Эти сюжеты у карел получили своеобразное воплощение, так как вышивальщицы разрабатывали их соответственно своим традициям и вкусам. Например, изображение женской фигуры часто сочеталось с геометрическими фигурами ромбической или иной формы. Орнаментальные композиции карельских вышивок нередко обрамляли бордюры из небольших сосенок, елочек, водоплавающих птиц.

Орнитоморфные и зооморфные сюжеты в вышивке карел довольно разнообразны. Это окружавшие карельского крестьянина дикие и домашние птицы, лошади, а также представители южной фауны — барсы, пав-

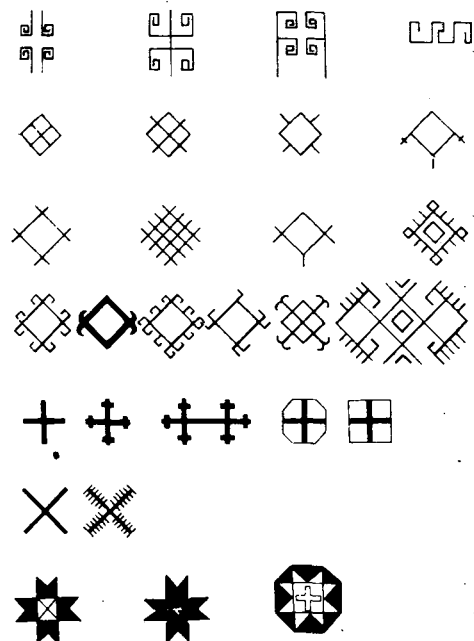


Рис. 2. Основные элементы геометрического орнамента в вышивках карел

<sup>12</sup> И. Я. Богуславская, Указ. раб., стр. 11.

лины, которыми украшали полотенца и подзоры. Вышивка выполнялась двусторонним швом или «по-выдергу». В последнем случае — белыми нитками по холсту. Встречаются и изображения фантастических животных. Видное место среди них занимает двухголовая птица-конь с деревом или антропоморфной фигурой на спине. Эти персонажи, встречающиеся также в резном орнаменте карельских домов и бытовых предметов, весьма архаичны, что подтверждается археологическими находками в Приладожье<sup>13</sup>. И. П. Работнова, прослеживая эти мотивы в русской вышивке, справедливо связывает их с искусством древних финноязычных племен<sup>14</sup>.

Композиции с водоплавающими и лесными птицами вышивались хлопчатобумажными нитками и жемчугом (на очельях олонеецких девичьих венцов — *žemčugat* — и на повойниках, украшенных золотым шитьем — *šorši*). Изображение водоплавающих птиц глубоко традиционно для изобразительного искусства Европейского Севера. Связь с космогоническими мифами отражена в карело-финском эпосе «Калевала». Развитие этих мотивов в русской орнаментике Севера и в карельском искусстве происходило на основе древних местных традиций.

Древние орнитоморфные и зооморфные мотивы сохранились в вышивке всех трех этнографических групп карел. Для вышивок людиков и ливвиков наиболее характерны мотивы павлинов, львов-барсов и двухголовых орлов, которые будучи сказочными образами, часто трактовались по-разному. Павлины нередко имели большое сходство с домашними птицами (*kukpo-kiġat* — «узоры петуха»), а барсы подчас напоминали коней. Мотив русской геральдики — двуглавый орел — иногда трансформировался в изображение ястреба с раздвоенной головой. Называли этот узор *haikka* — «ястреб». У карел указанные мотивы в вышивке появились, видимо, в позднем средневековье. Они близки к сюжетам русского искусства.

Особо следует остановиться на вышивках с растительным узором. Ими украшали полотенца, подзоры, иногда обрядовую — свадебную одежду. Эти древние вышивки, выполняемые двусторонним швом крас-



Рис. 3. Конец полотенца. Вышивка красными нитками по холсту. Техника: двусторонний шов (Южная Карелия)

<sup>13</sup> В. И. Равдоникас, Памятники эпохи возникновения феодализма в Карелии и юго-восточном Приладожье, «Известия Государственной Академии истории материальной культуры», вып. 94, М. — Л., 1934, стр. 26.

<sup>14</sup> И. П. Работнова, Финно-угорские элементы в орнаменте северо-русских вышивки и тканей, «Русское народное искусство Севера», Л., 1968, стр. 88.

ными бумажными нитками по холсту, представляли собой геометризованный узор, в котором выделялось (если композиция трехчастная) центральное дерево. Ареал бытования этих вышивок шире, чем других разновидностей сюжетных мотивов. В количественном отношении они одинаково представлены в вышивке трех этнолингвистических групп карел.

В этой группе узоров преобладали композиции из одного либо двух-трех деревьев, видное место занимали здесь также мотивы деревьев, контаминированные с человеческими фигурами — чаще всего женскими.

Одним из характерных образцов геометризованного растительного узора, наделенного человеческими чертами, может служить орнамент на

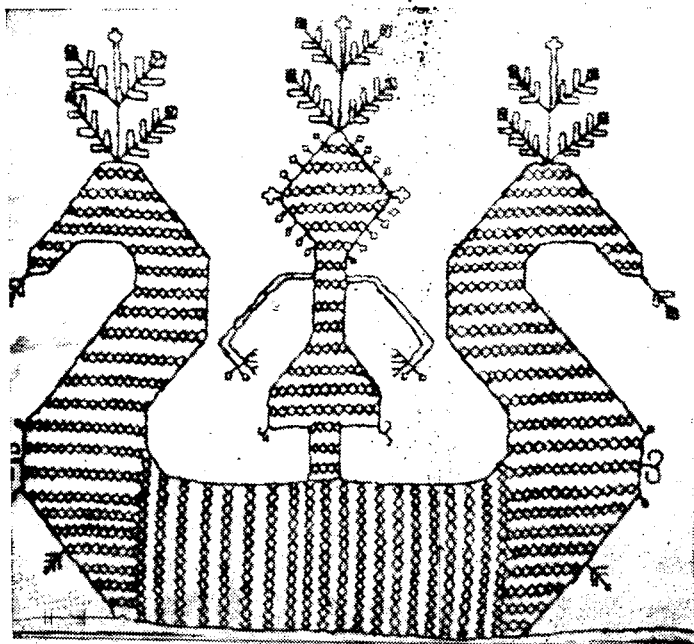


Рис. 4. Конец полотенца. Вышивка красными нитками по холсту. Техника: двусторонний шов (Северная Карелия)

полотенце из с. Пряжа Пряжинского района. Обращает на себя внимание центральный узор — дерево, верхняя часть которого изображена в виде человеческой фигуры с поднятыми вверх руками. Ветви дерева многократно повторяются в виде поднятых человеческих рук. По бокам центральной оси располагаются типичные для карельской вышивки изображения геометризованных деревьев, состоящих из ромбов и треугольников. Своеобразен и бордюр из всадников и деревьев, окаймляющий композицию снизу.

В вышивке свадебных рубах растения, наделенные антропоморфными чертами, часто располагались напротив друг друга.

Однако подобные узоры встречались и в тамбурной вышивке (у людей), появившейся в искусстве карел значительно позднее, чем техника двустороннего шва. Это, несомненно, указывает на устойчивость и традиционность охарактеризованных мотивов в орнаменте карельской вышивки.

Мотивы геометризованных деревьев (без антропоморфизации) в вышивках настолько разнообразны, что с трудом поддаются какой-либо классификации. Это либо узоры, изображающие хвойные деревья с многочисленными ветвями (*kuusen, pedajön kirjat*), либо геометрические построения, имеющие отдаленное сходство с деревом, очевидно, хвойным

Вполне вероятно, что изображения деревьев (в том числе деревьев, наделенных антропоморфными чертами), встречающиеся в вышивке XIX—начала XX в., в далеком прошлом выполняли не только эстетические функции: они, возможно, были отголоском дохристианского культа, связанного с обожествлением лесной растительности. Небезынтересно отметить, что именно хвойные растения были древнейшими оберегами<sup>15</sup>. Обычай почитания деревьев в прошлом существовал у карел, вепсов, саамов и других финно-угорских народов. Из «Калевалы» узнаем, что божества и небесные светила пребывают на деревьях; лесные духи наделены антропоморфными чертами: Мизлиikki — «леса чудная хозяйка», Тапитар — «роскошная дочь леса» и т. д.<sup>16</sup>. Этнографические материалы подтверждают широкое бытование у карел культа лесной растительности: священных рощ и отдельных деревьев<sup>17</sup>. Ограниченные размеры статьи не позволяют умножить сведения об особой значимости этих образов среди местного населения Европейского Севера, добавлю лишь, что дерево было основным мотивом вышивок и у вепсов; встречалось оно и в орнаменте финнов-суоми (в восточных областях Финляндии)<sup>18</sup>. В соседних русских областях Севера орнамент, состоящий из одних деревьев, встречался редко: чаще всего деревья сочетались с другими узорами<sup>19</sup>. Исключение составляли вышивки Заонежья, в которых, как отмечала Е. Э. Кнатц, «нельзя не отметить резкого преобладания орнамента растительного...» (правда Е. Э. Кнатц наряду с совершенно «самостоятельным» растительным орнаментом имела в виду и мотивы, комбинируемые с другими узорами)<sup>20</sup>.

Более поздними являются растительные мотивы, выполненные техникой «по-выдергу» и тамбуром белыми нитками по холсту, реже по кумачу. В вышивках тамбуром нитки подбирали контрастного цвета по отношению к тканям — красного или белого. Узоры (цветущие кусты, цветы и пр.) напоминали «свободные» росписи карельских прялок или орнамент золотого шитья. Часто встречались своеобразно переработанные мотивы вазонов, аканта, орнамента эпохи Возрождения. Эти вышивки больше всего были распространены в районах расселения людиков, особенно северных, превалируя над другими типами текстильного орнамента. В орнаменте ливвиков и собственно карел они встречались реже.

Художественные традиции тамбура развивались у карел (особенно у людиков) под влиянием искусства вышивания соседнего с ними Заонежья, где тамбурное шитье (часто в сочетании со строчкой) преобладало над другими типами вышивки<sup>21</sup>. Изделия заонежских мастериц пользовались необычайным спросом и славой на ежегодных местных ярмарках<sup>22</sup>. Естественно, что, попадая к карелам, они служили образцами для вышивки.

Вместе с тем нельзя преувеличивать степень влияния заонежских вышивок на орнаментальное творчество карел, так как тамбурная вышивка последних имела свои особенности. В частности, карелки в отличие от заонежских вышивальщиц не восприняли жанровых сцен. Мотивы

<sup>15</sup> Д. К. Зеленгин, Топемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов, «Труды Ин-та антропологии, археологии, этнографии», т. XV, вып. 2. М.—Л., 1937, стр. 51.

<sup>16</sup> «Калевала», Петрозаводск, 1940, песни 14, 49.

<sup>17</sup> «Олонекский сборник», вып. IV, Петрозаводск, 1902, стр. 56—57; И. В. Оленев, Карельский край и его будущее в связи с постройкой Мурманской железной дороги, Гельсингфорс, 1917, стр. 76.

<sup>18</sup> U. T. Sirelius, Ompelukirjaus «Suomen kansanomaista kulttuuria», II-osa, Helsinki, 1919, s. 460.

<sup>19</sup> И. Я. Богуславская, Указ. раб., стр. 22.

<sup>20</sup> Е. Э. Кнатц, Указ. раб., стр. 70, 71.

<sup>21</sup> Там же, стр. 74.

<sup>22</sup> «Кустарная промышленность в Олонецкой губернии», Петрозаводск, 1895, стр. 103.

вазона имели у них большое сходство с традиционным изображением дерева и т. д. К тому же карельские вышивки выполнялись не столь искусно, как заонежские: им присуща некоторая наивность в манере исполнения.

Традиционная вышивка карел Карельской АССР охарактеризована в данной статье лишь в самых общих чертах. Тем не менее уже в настоящее время можно говорить о ней как о единой большой области орнаментального искусства, с присущими ей чертами своеобразия. Для карельской вышивки характерно обилие геометрических и растительных орнаментов, выполнявшихся приемами старинной техники. От вышивки сопредельных русских областей ее отличают: отсутствие жанровых сцен; большая простота и лаконичность трактовки узоров с антропоморфными фигурами; отсутствие зачастую орнаментального оформления фона холста между основными фигурами, а также дополнительных декоративных деталей (полосок лент, кумача), характерных для вышитых изделий русского населения смежных районов.

Несмотря на известную общность, в вышивке карел имелись некоторые местные различия, что обуславливалось конкретными историческими условиями развития отдельных этнографических групп карельского народа. По ряду признаков вышивка делилась на южно-, северно- и среднекарельскую (внутри каждой группы имелись еще местные особенности). Однако четкого разграничения между ними не было, так как отдельные элементы вышивки порой встречаются далеко за пределами основного ареала (см. карту), что является свидетельством более широкого бытования этих вышивок в прошлом или отражением взаимосвязей между различными группами населения.

В южнокарельской вышивке преобладают сюжеты с антропоморфными и зооморфными мотивами, что объясняется, видимо, русским влиянием на материальную и духовную культуру карел, особенно сильным в южнокарельских районах<sup>23</sup>. Изучение орнаментов вышивки показало, что наиболее значительное влияние русской культуры испытали южные карелы (особенно людики) в восточных районах их расселения. В этих местах архаические варианты вышивки были вытеснены более поздними: «по-выдергу», тамбуром. Аналогичные явления наблюдаются и в других областях народного искусства, где также прослеживаются многочисленные, притом недавние инновации, преобладающие над традиционными элементами. Однако переработанные в местной среде, они и в модифицированном виде воспринимаются как специфически карельские. Мнение, что карелы-людики были «основными проводниками» русской культуры среди карельских крестьян, высказывалось также языковедами<sup>24</sup>.

В вышивке глубинных южно-карельских районов доминировали более древние типы орнаментов (геометрические узоры, выполненные различными способами шитья, все виды сюжетных мотивов, вышитые старинной техникой — двусторонним швом). Традиционными со временем стали и некоторые сюжетные мотивы (например, с женским персонажем), проникшие сюда из соседних районов. Резкого разграничения между этими зонами нет — переход плавный, едва уловимый.

При рассмотрении художественного творчества нельзя забывать и то обстоятельство, что карельское народное искусство, как и северно-русское, развивалось на основе древней местной культуры, восходившей, очевидно, к финноязычному компоненту. Об этом свидетельствует, в частности, то, что жители Пудожского района «еще недавно (в конце

<sup>23</sup> См.: Р. Ф. Тароева, Матерьяльная культура карел (Карельская АССР). Этнографический очерк. М. — Л., 1965; Ю. Ю. Сурхаско, Об историко-этнической типологии карельской свадьбы, «Сов. этнография», 1972, № 4, стр. 102—107.

<sup>24</sup> Д. В. Бубрих, Происхождение карельского народа, Петрозаводск, 1947, стр. 46.

XIX в.— А. Х.) помнили свое финское происхождение»<sup>25</sup>, а для русского населения Заонежья, как показывают данные антропологии и лингвистики, характерен сильный «финский» субстрат<sup>26</sup>. Не исключено, что именно этим и объясняется общность многих образов, встречающихся в искусстве обоих народов (водоплавающие птицы; изображения деревьев, составляющие самостоятельные композиции).

Следует заметить, что южнокарельский орнамент тесно связан с орнаментальным искусством вепсов, с которым он имеет ряд общих черт, малохарактерных для соседних народов. Так, например, у тех и у других в вышивке одежды доминирует геометрический орнамент. Эта близость — результат исторического развития обоих народов, их длительных культурных и бытовых контактов<sup>27</sup>.

Отличительной особенностью севернокарельской вышивки являются полихромные геометрические узоры. В прошлом они были широко распространены среди карел. Но в южнокарельских уездах этот древний тип орнаментации начал исчезать значительно раньше, чем в севернокарельских и сохранился в рассматриваемый период лишь небольшим «островком» (см. карту). Полихромная вышивка коврового типа (с применением шелка и шерсти) и сходная с ней вышивка древними геометрическими мотивами характерна для верхневолжских карел и ряда народов прибалтийско-финской группы. Она встречается в вышивках головных уборов родственного карелам народа — ижор, финнов-суоми, у народов Поволжья (мари, удмуртов, чувашей и др.) и в некоторых русских районах Европейского Севера. В севернорусских регионах ареал ее распространения соответствовал тем территориям, где древние «финские» элементы были особенно значительными (например, в Пудожском и Каргопольском уездах Олонецкой губернии).

Наиболее существенные различия наблюдаются в вышивках крайних северных и южных районов. Вышивки же, бытующие в центральных районах, как бы объединяют черты, характерные для удаленных друг от друга областей (преобладание геометрических и растительных узоров и сравнительно редко — сюжетные композиции с женской фигурой и др.; типологически поздние тамбурные вышивки). Здесь же проходит зона деления хозяйственно-культурных типов, выделенных Р. Ф. Таровой, и основных этнолингвистических групп карел.

---

<sup>25</sup> Н. Н. Харузин, Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда Олонецкой губернии, «Олонецкий сборник», вып. III, Петрозаводск, 1894, стр. 306.

<sup>26</sup> М. В. Витов, Антропологические данные как источник по истории колонизации русского Севера, «История СССР», 1964, № 6, стр. 108; Н. П. Гринкова, К изучению олонекских диалектов, «А. А. Шахматов», М.—Л., 1947, стр. 388.

<sup>27</sup> Д. В. Бубрих, Указ. раб., стр. 36; его же, Сопоставительная грамматика русского, финского, карельского языков, «Труды Карельск. филиала АН СССР», вып. XII, 1958, стр. 8; В. В. Пименов, К вопросу о карельско-вепсских культурных связях, «Сов. этнография», 1960, № 5.

**А. П. Пестряков**

## **АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА**

### **I**

Антропологическое изучение таджиков и соседних с ними народов началось со второй половины XIX в. Методика антропологического исследования в то время значительно отличалась от современной, поэтому материалы первых исследователей населения Средней Азии часто трудно сопоставить с современными данными. Однако работы А. И. Федченко, К. Е. Уйфальви, С. Д. Масловского, Н. В. Богоявленского, В. А. Благовещенского, А. Стейна особенно ценны тем, что эти исследователи видели население изучаемого нами региона несколько иным, чем теперь: за последние 50—70 лет произошли значительные социальные и демографические изменения, и современные исследователи столкнулись с уже значительно измененной популяционной структурой изучаемого населения.

У многих дореволюционных исследователей (Уйфальви, Масловского, Богоявленского) проводится мысль о большой антропологической гетерогенности населения этой территории. Особое внимание они уделяли гипотетической длинноголовой, светловолосой и светлоглазой «арийской» расе, которая якобы обитала в наиболее труднодоступных горных районах и представляла собой пласт наиболее древних насельников этой территории. Известный исследователь Средней Азии Н. А. Аристов пишет об этом: «В восточной части Средней Азии существовала особая, как признают антропологи, длинноголовая раса со светлой окраской кожи и волос, с зелеными или голубыми глазами...»<sup>1</sup>. С. Д. Масловский выделяет среди таджиков пять типов, в том числе северный, который он называет славянским<sup>2</sup>. Н. В. Богоявленский пишет о четырех типах населения в горных районах юго-восточной части Средней Азии.

После Октябрьской революции антропологическое исследование населения Таджикистана и других районов Средней Азии было продолжено советскими антропологами: В. В. Бунаком (1925 г.), С. Э. Циммерманом (1925 г.), Б. Н. Вишневским (1926 г.), Г. И. Петровым (1927 г.), А. Ф. Коровниковым (1928 г.), А. И. Ярхо (1928—1931 гг.), В. К. Ясевичем (1930—1932 гг.), В. В. Гинзбургом (1931—1937 гг.) и др. Огромный вклад в антропологическое изучение населения Таджикистана и других территорий Средней Азии внес Л. В. Ошанин. Он пришел к выводу, что таджики (и памирцы) представляют собой единый самостоятельный автохтонный тип, названный им расой Среднеазиатского междуречья. Этот тип характеризуется им как брахицефальный вариант восточно-средиземноморской расы, на который в Средней Азии наложился тип

<sup>1</sup> Н. А. Аристов, Этнические отношения на Памире и в прилегающих странах по древним, преимущественно китайским, историческим известиям, «Русский антропологический журнал» (далее — РАЖ), 1900, № 3, стр. 3.

<sup>2</sup> С. Д. Масловский, Гальча (первобытное население Туркестана), РАЖ, 1901, № 2, стр. 24.

центральноазиатских монголоидов. Аналогичный тип выделяют А. И. Ярхо, называя его памиро-ферганским, и В. В. Гинзбург (последний называет его припамирским европеоидным типом).

Начиная с 1956 г. большую работу по изучению памирцев провел Ю. Г. Рычков. Его вывод об антропологическом типе памирцев согласуется с данными Л. В. Ошанина, А. И. Ярхо и В. В. Гинзбурга. Он пишет: «В современном населении Памира сохранился своеобразный антропологический тип, довольно нейтральный по отношению к южному и северному вариантам европеоидной расы, что можно расценивать как указание на его большую древность»<sup>3</sup>.

Таким образом, общим местом современной антропологии Средней Азии является утверждение о наличии однородного европеоидного темноволосого брахикефального типа, характерного как для южного, так и для северного Таджикистана. В наиболее чистом виде этот тип сохранился в горных районах, малодоступных или недоступных для проникновения монголоидных групп. Однако представление об антропологической однородности древнего земледельческого населения юго-востока Средней Азии противоречит сложной картине этнической истории этого региона.

Гиссарская культура (таджикский неолит), датируемая А. П. Окладниковым не позднее III тысячелетия до н. э.<sup>4</sup>, приблизительно на тысячу лет предшествует появлению в этом регионе культуры степной бронзы, носителями которой были андроновцы, вероятно, принесшие в Среднюю Азию иранские (или индоиранские) языки. «Мнение о том, что андроновские племена были ираноязычными, принято многими авторами (Мольнар, Черников и др.). Положение об иранской или индоиранской принадлежности андроновцев наиболее распространено среди археологов и специалистов по древней истории Средней Азии и Казахстана...»<sup>5</sup>.

В I тысячелетии до н. э. на территории Таджикистана мы уже находим две городские цивилизации: Согдиана (на севере) и Бактрия (на юге), которые впитали в себя как автохтонное неолитическое земледельческое население; так и потомков полукочевых племен, носителей культуры степной бронзы. Последних, вероятно, было довольно много (особенно на севере, в Согдиане), так как они ассимилировали по языку неолитическое население, которое было неиндоевропейским (во всяком случае не ираноязычным).

С этого времени и вплоть до исламизации Средней Азии (которая сопровождалась в дальнейшем переходом на фарси) население территории нынешнего Таджикистана сохранило этническое, лингвистическое, часто и политическое различие между севером и югом, географически отделенными друг от друга тремя параллельными высокими горными хребтами — Туркестанским, Зеравшанским и Гиссарским (в настоящее время этнографы проводят эту границу приблизительно по Зеравшанскому хребту).

Эта географическая и этнокультурная разобщенность населения Таджикистана должна была сказаться и на антропологической характеристике северных и южных таджиков<sup>6</sup>, вне зависимости от степени примеси монголоидного элемента. Ниже попытаемся показать это на нашем антропологическом материале.

<sup>3</sup> Ю. Г. Рычков, *Антропология и генетика изолированных популяций*, М., 1969, стр. 164.

<sup>4</sup> В. В. Гинзбург, Т. А. Трофимова, *Палеоантропология Средней Азии*, М., 1972, стр. 36, 37.

<sup>5</sup> Э. А. Грантовский, *Ранняя история иранских племен Передней Азии*, М., 1970, стр. 48.

<sup>6</sup> Н. А. Платонова, *Антропологическое исследование в Средней Азии, «Новое в этнографических и антропологических исследованиях», «Итоги полевых работ Института этнографии в 1972 г.», ч. II, М., 1974, стр. 126—129.*



В основу исследования положен антропометрический (кефалометрия) и антропоскопический материал, полученный во время экспедиций 1970, 1971 и 1973 гг. Весь материал собран и обработан автором.

На изучаемой территории исследовано 10 групп населения (1065 мужчин): три — из южного Таджикистана, одна — с Памира, три — из северного Таджикистана, три — из Сурхандарьинской области Узбекской ССР (к западу от центрального и южного Таджикистана).

Обследованные группы. 1. Узбеки-локайцы Советского района (92 чел.). Выборка взята из кишлаков Жазак, Бурдангал, Дават, Булакдашт, расположенных к западу от среднего течения р. Кызылсу, в урочище Джарибкуль. Популяция, смешанная с таджиками, но смешение незначительное. Локайцы — узбекское племя, пришедшее в эти места в XVI в. из Дешти-Кипчака с Шейбани-ханом, даже среди тюркских племен отличается довольно строгой эндогамностью<sup>7</sup>. Являясь довольно типичными представителями южносибирской расы, они внешностью напоминают казахов.

2. Таджики среднего и верхнего течения р. Яхсу (136 чел.). Выборка взята в Восейском районе на среднем течении р. Яхсу на высоте 600—700 м над ур. моря (кишлаки Нонджемес, Пушион-поен, Пушион-миёна, Пушион-боло). В этих кишлаках, кроме коренных жителей, живут переселенцы с верховьев рек Яхсу и Кызылсу. Популяция чисто таджикская без примеси узбеков.

3. Таджики Муминабадской котловины (120 чел.). Выборка взята из кишлаков Сармайдон, Дебаланд, Куль-Чашма, Новабад и Геш Кулябского района, расположенных к востоку от среднего течения р. Яхсу. Популяция таджикская с очень слабой узбекской примесью, географически сравнительно изолирована.

4. Шугнанцы Гунта (97 чел.). Выборка взята на Западном Памире из кишлаков Ванкала, Миён-шахр, Вир, Штам, Вуж, Ривак, Мун, Барсим и Сучан, расположенных на высоте от 3300 до 2100 м над ур. моря вдоль течения р. Гунт. Шугнанцы представляют собой довольно однородную европеоидную популяцию.

5. Таджики Варуха (111 чел.). Выборка взята из Исфаринского района (север Таджикистана). Кишлак Варух насчитывает около 10 тыс. жителей и расположен в среднем течении р. Исфары на высоте 1500 м над ур. моря, населен таджиками. Имеется довольно поздняя очень слабая примесь киргизов, так же как и в кишлаках Чорку и Сурх.

6. Таджики Чорку и Сурха (141 чел.). В Чорку живет около 14 тыс. чел. (самый большой кишлак в Таджикистане), в Сурхе — 3—4 тыс. чел. Кишлаки расположены в 3 км друг от друга, заметно ниже Варуха по течению р. Исфары (около 1000 м над ур. моря), население таджикское. В кишлаке Чорку исследовано 106 чел., в Сурхе — 35 чел. В связи с малой численностью выборки из Сурха и близостью этого кишлака к Чорку автор счел возможным объединить эти выборки.

7. Таджики нижней части Исфаринской долины (72 чел.). Выборка взята из следующих кишлаков: Чоркишлак, Зумратшох, Калачи-Дукчи. Население каждого кишлака около 1500 чел.

8. Узбеки-тагчи Сурхандарьинской области Узбекской ССР (95 чел.). Выборка взята из кишлаков в ущельях Сангардак и Хандиза (1300—1500 м над ур. моря). Кроме того, в эту выборку попали переселенцы из этих ущелий на равнину, живущие сейчас в колхозах «Ленинизм» и им. Ахунбабаева. Группа на вид довольно европеоидна.

<sup>7</sup> Л. В. Ошанин, Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез ее народов, ч. 3, Ереван, 1959, стр. 23—25.

Сравнение кефалометрических данных некоторых групп населения  
Таджикской ССР и Сурхандарьинской области Узбекской ССР. (в мм)

Название группы	Узбеки- локай- цы	Таджи- ки до- лины р. Яхсу	Таджи- ки Му- мина- бадской котло- вины	Шуг- нанцы долины р. Гунт	Таджи- ки киш- лака Варух	Таджи- ки киш- лаков Чорку и Сурх	Таджи- ки низ- овьев р. Исфари	Узбеки- тагчи	Таджи- ки-чага- таи	Таджи- ки-ку- хистани
Номер группы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Признаки	Численность									
	92	136	120	97	111	141	72	95	108	93
Продольный диа- метр головы	183,5	182,5	182,55	186,7	188,0	187,8	185,4	185,6	186,6	181,2
Поперечный диа- метр головы	157,4	152,8	154,6	156,3	157,4	158,1	158,9	159,4	156,1	157,7
Величина головного модуля	170,45	167,65	168,6	171,5	172,7	172,95	172,15	172,5	171,35	169,45
Головной указатель	85,8	83,7	84,7	83,7	83,7	84,2	85,7	85,9	83,7	87,0
Наименьшая шири- на лба	105,15	105,2	105,0	106,9	107,1	107,5	107,1	107,3	106,8	106,7
Скуловой диаметр	147,5	141,8	142,4	143,4	145,4	145,5	146,1	146,2	143,15	143,2
Нижнечелюстной диаметр	112,3	108,7	108,6	109,3	113,1	112,9	114,5	114,5	112,7	113,2
Физиономическая высота лица	193,0	185,6	186,8	188,1	188,7	186,3	188,2	188,4	188,3	184,95
Морфологическая высота лица	131,5	128,3	127,6	131,6	132,3	132,6	131,5	129,1	130,4	127,8
Морфологический указатель лица	82,3	90,5	89,6	91,8	91,0	91,1	90,0	88,3	91,1	89,2
Высота носа (от бровей)	59,4	59,4	59,1	61,5	62,75	61,45	62,4	60,7	61,5	60,5
Высота носа (от переносья)	52,8	53,2	52,9	55,7	53,7	52,5	53,8	54,7	55,3	54,1
Ширина носа	37,8	36,7	36,2	36,8	36,0	36,6	37,1	35,3	34,0	35,1
Носовой указатель	63,6	61,8	61,3	60,0	57,3	59,5	59,5	58,1	55,3	58,0
Ширина рта	53,3	52,0	51,9	52,95	51,15	50,9	51,2	51,7	51,3	50,8
Высота верхней губы	16,7	14,8	15,7	15,1	15,6	15,0	16,7	14,8	13,8	14,3
Толщина обеих губ	14,2	11,0	11,3	11,7	13,7	14,5	11,7	12,7	11,7	13,0

9. Таджики-чагатаи (108 чел.). Выборка взята также из ущелий Сангардак и Хандиза из тех же кишлаков, что и узбеки-тагчи.

10. Таджики-кухистани (93 чел.). Выборка взята среди жителей колхозов «Ленинизм» и им. Ахунбабаева, в которых живут переселенцы из ущелья Туполанг (из кишлаков Хуфар, Тамшуш, Звар, Шатурут и др.).

Все эти группы изучались по обычной антропометрической (кефалометрической) программе, принятой в Институте этнографии АН СССР и в Институте антропологии МГУ. Не брались следующие признаки: рост (взяты в 4 группах из 10), волосы (в связи с тем, что взрослые мужчины, таджики и узбеки, почти всегда бриты наголо), цвет кожи.

Средние по изученным кефалометрическим данным сведены в табл. 1 и 2.

Измерительные признаки. Из табл. 1 видно, что по большинству признаков северные таджики (группы 5—7) заметно отличаются от южных таджиков (группы 2, 3). Так, например, величины головного модуля (полусуммы двух диаметров головы—продольного и поперечного) у северных таджиков равны 172,7, 172,95, 172,15 мм, а у южных—167,65 и 168,6 мм; т. е. у последних заметно меньшие. Локайцы, шугнанцы Гунта и западные (группы 8—10) группы занимают по этому признаку промежуточное положение между группами северных и южных тад-

жиков. Аналогичная картина наблюдается и по большинству других признаков, представленных в табл. 1.

Таким образом, по измерительным признакам наш материал довольно четко разбивается на две антропометрически, разные территориальные группы — северные и южные таджики.

Северные таджики по сравнению с южными более крупноголовые, лица у них шире и выше, лоб несколько шире, нижнечелюстной диаметр больше, нос немного крупнее и уже. По ряду измерительных признаков головы группы северных таджиков сближаются с узбеками-тагчи Сурхандарьинской области (группа 8).

Южные таджики по всем параметрам имеют голову меньше, являясь среди изученных нами групп на этой территории антиподом северным таджикам. С южными таджиками по многим признакам сближаются таджики-кухистани из Сурхандарьинской области (группа 10).

Шугнанцы Гунта и таджики-чагатай Сурхандарьинской области (группы 4 и 10) занимают в этой системе промежуточное положение.

Узбеки-локайцы (группа 1) занимают особое положение, будучи более монголоидными, чем другие представленные здесь группы. По ряду измерительных признаков: по физиономической высоте лица, скуловому диаметру, ширине носа, высоте верхней губы — они превосходят все изученные нами группы. По величине некоторых других признаков: головному модулю, морфологической высоте лица, нижнечелюстному диаметру — они уступают северным таджикам и узбекам-тагчи. Нижнечелюстной диаметр у них даже меньше, чем у таджиков-чагатаев и таджиков-кухистани.

Описательные признаки. Средние баллы по этим признакам в изученных нами группах представлены в табл. 2. Как видно из таблицы, и по описательным признакам северные и южные группы различаются довольно отчетливо.

У северных таджиков массивнее череп, развитие надбровье, более покатый лоб. У них сильнее развита складка верхнего века, переносье имеет несколько меньшую высоту, чем у южных таджиков. Поперечный профиль носа также имеет более низкий средний балл. Кончик носа более приподнят. Общий профиль носа несколько менее выпуклый. Глаза несколько светлее. Таким образом, здесь мы видим явное тяготение к особенностям северной ветви европеоидной расы. По описательным признакам к северным таджикам тяготеют западные группы, особенно, как и по измерительным признакам, узбеки-тагчи и таджики-чагатай.

Южные таджики, кроме уже описанных отличий от северных групп, имеют заметно большую обволошенность тела, больший рост бороды. По многим описательным признакам с южными таджиками сближаются опять же таджики-кухистани и шугнанцы Гунта.

В целом же как по описательным, так и по измерительным признакам шугнанцы и западные группы занимают среднее положение между северо-таджикскими и южнотаджикскими группами.

Локайцы стоят особняком, по ряду признаков сближаясь с южными таджиками (темные глаза, слабо развитое надбровье), по другим — с северными (меньшая растительность на теле и на лице, большее развитие складки верхнего века, форма носа), по некоторым — заметно отличаясь от тех и других (развитие эпикантуса, большая высота верхней губы, плоский профиль носа).

Таким образом, после изучения собранного нами антропологического материала можно сделать вывод о наличии среди таджиков двух вариантов расы Среднеазиатского междуречья: северного и южного, отличающихся один от другого по многим антропометрическим и антропоскопическим признакам.

Это положение может вызвать вопрос: не является ли упомянутое отличие следствием разной степени монголизации северных (большая

**Сравнение антропологических данных некоторых групп населения  
Таджикской ССР и Сурхандарьинской области Узбекской ССР**

Название группы	Узбеки- локай- цы	Таджи- ки до- лины р. Яхсу	Таджи- ки Му- мина- бадской котло- вины	Шуг- нанцы долины р. Гунт	Таджи- ки киш- лака Варух	Таджи- ки киш- лаков Чорку и Сурх	Таджи- ки ни- зовьев р. Ис- фары	Узбеки- тагчи	Таджи- ки-чага- тан	Таджи- ки-ку- хистани
Номер группы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Признаки в баллах	Численность									
	92	136	120	97	111	141	72	95	108	93
Волосной покров (на груди)	1,14	2,44	2,33	2,09	1,76	1,59	1,70	1,17	1,31	1,86
Рост бороды	1,88	3,50	3,50	3,09	2,52	2,78	2,60	2,61	3,51	2,88
Рост бровей	1,85	1,99	2,15	2,14	2,12	1,88	1,94	2,03	2,31	1,91
Процент светлых и смешанных глаз	16,3	36,8	40,0	32,25	40,0	35,7	50,7	38,9	46,7	58,1
Ширина глазной щели	1,59	2,00	2,00	2,06	2,05	2,03	1,99	1,98	2,02	2,00
Наклон глазной щели	2,52	2,15	1,98	2,03	2,00	2,00	2,00	2,01	2,01	2,00
Процент вст речае- мости эпикантуса	11,0	0,7	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,1	0,0	0,00
Складка верхнего века (прокси- мальная)	1,51	0,20	0,22	0,40	0,98	1,36	1,96	1,71	1,03	1,27
Складка верхнего века (медиальная и лиственная)	1,76	0,68	0,34	0,73	1,25	1,55	2,11	1,94	1,17	1,57
Наклон лба	2,33	2,68	2,62	2,32	2,02	2,16	2,44	2,69	2,56	2,55
Развитие надбровья	1,47	1,25	1,31	1,56	2,08	2,12	1,92	1,73	1,74	1,73
Профиль лица	1,75	2,05	2,22	2,27	2,05	2,03	2,00	1,97	2,10	2,01
Развитие скул	2,38	2,04	2,01	1,97	1,97	2,04	2,00	2,07	2,00	2,00
Подбородок	2,21	2,24	2,12	2,40	2,13	1,98	1,94	2,03	2,09	2,03
Мочка	2,42	2,43	2,61	2,41	2,30	2,16	2,01	2,11	2,06	1,98
Высота переносья	1,88	2,32	2,37	2,53	2,02	2,01	2,01	2,06	2,09	2,10
Поперечный про- филь носа	2,21	2,55	2,67	2,70	2,23	2,13	2,12	2,05	2,19	2,18
Костный профиль носа	2,24	2,51	2,58	2,79	2,35	2,28	2,31	2,18	2,26	2,41
Хрящевой профиль носа	1,71	1,93	1,91	2,05	1,80	1,85	1,94	1,87	1,93	1,99
Кончик носа	1,85	2,26	2,18	2,33	1,81	1,96	2,06	2,18	2,16	2,38
Основание носа	1,92	2,01	2,03	2,05	2,02	1,98	2,03	2,07	2,06	2,09
Наклон ноздрей	2,15	2,41	2,51	2,48	2,21	2,30	2,22	2,29	2,39	2,26
Форма ноздрей	2,24	2,45	2,65	2,82	2,39	2,52	2,50	2,42	2,61	2,62
Высота верхней губы	2,18	1,92	1,99	1,88	1,97	1,91	1,97	1,97	1,75	1,72
Профиль верхней губы	1,43	1,60	1,65	1,93	1,78	1,77	1,83	1,85	1,96	1,86
Толщина верхней губы	1,52	1,25	1,48	1,39	1,56	1,59	1,32	1,41	1,31	1,44
Толщина нижней губы	2,00	1,41	1,63	1,66	2,01	2,06	1,74	1,81	1,69	1,92

степень) и южных (меньшая степень) таджиков? Ведь по многим признакам (ширина скул, развитость складки верхнего века, пониженная обволоченность лица и тела) северные таджики сближаются с самой монголоидной из исследованных нами групп — локайцами. Для решения этого вопроса мы сравнили изученные группы при помощи графиков, где на парное корреляционное поле были нанесены величины некоторых признаков этих групп как измерительные (в миллиметрах), так и описательные (в баллах).

Из этих графиков (рис. 1—3) видно, что северные таджикские группы отличаются от южных вне зависимости от монголоидной примеси. Так, например, на рис. 1 видно, что локайцы, заметно превосходя все исследованные группы по ширине скул, имеют менее крупную черепную коробку не только по сравнению с северотаджикскими группами, но и

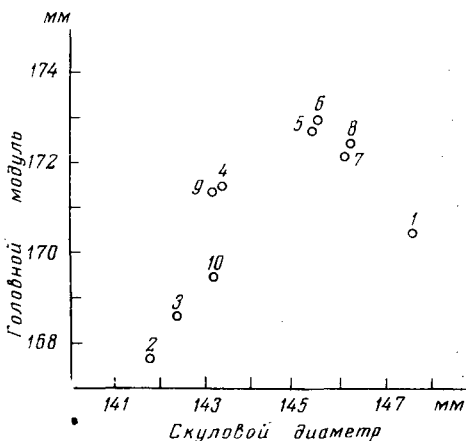


Рис. 1. Соотношение величины головного модуля и скулового диаметра. Цифрами 1—10 на этом и других рисунках обозначены исследованные группы: 1—узбеки-локайцы; 2—таджики долины р. Яхсу; 3—таджики Муминабадской котловины; 4—шугнанцы долины р. Гунт; 5—таджики кишлака Варух; 6—таджики кишлаков Чорку и Сурх; 7—таджики низовьев р. Исфары; 8—узбеки-тагчи; 9—таджики-чагатаи; 10—таджики-кухистани

по сравнению с шугнанцами, узбеками-тагчи и таджиками-чагатаями. В то же время две южнотаджикские группы, имея минимальную черепную коробку, имеют также и наименьший скуловой диаметр. С ними в этом отношении сближается группа таджиков-кухистани. На двух других графиках — аналогичная картина: северные таджики противостоят южным, западные группы и шугнанцы занимают промежуточное положение, а локайцы находятся вне вектора изменчивости остальных девяти групп.

Сравнительный анализ. Посмотрим, насколько подтверждают гипотезу о двух вариантах расы Среднеазиатского междуречья материалы других антропологов, работавших в этом регионе.

Значительную часть материалов Л. В. Ошанина мы не можем использовать, так как

многие исследованные им группы были взяты из городов (Бухара, Самарканд) или из узбекских и таджикских популяций, имеющих сложную смешанную структуру, или, наконец, взяты слишком малочисленные группы. Тем не менее некоторые материалы Л. В. Ошанина вполне можно использовать для наших целей. В книге «Антропологический состав и вопросы этногенеза таджиков и узбекских племен южного Таджикистана» он приводит сравнительный материал по антропологии некоторых групп таджиков южного Таджикистана и таджиков Сурхандарьинской области Узбекской ССР (находящейся к западу от южного Таджикистана). Из этого материала видно, что по большинству признаков таджики Сурхандарьи, как и следовало ожидать согласно нашей гипотезе, отклоняются от южнотаджикских групп (всех в сумме) в сторону приближения к северному облику: черепная коробка более крупная (модуль равен 168,55 против 167,0 мм у южнотаджикских групп), скуловой диаметр равен 141,4 мм (у южных таджиков 140,1 мм), морфологическая высота лица 126,55 против 126,1 мм у южнотаджикских групп и т. д. Из описательных признаков — рост бороды у южных таджиков обильнее (средний балл 3,50), чем у сурхандарьинских (средний балл 3,04). Однако данные, характеризующие наклон лба и развитие надбровья, противоречат нашим выводам; лоб относительно более прямой, а надбровье относительно менее развито у сурхандарьинцев по сравнению с южнотаджикскими группами<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Л. В. Ошанин, Антропологический состав и вопросы этногенеза таджиков и узбекских племен южного Таджикистана, Сталинабад, 1957.

Данные Л. В. Ошанина по Западному Памиру также скорее подтверждают нашу гипотезу, чем противоречат ей<sup>9</sup>. По головному модулю, скуловому диаметру и по морфологической высоте лица из всех памирских групп большими величинами выделяются шугнанцы Шахдары (ущелье, параллельное с долиной Гунта и расположенное южнее ее), как и следовало ожидать из нашей гипотезы, так как долина Шахдары имеет выход на Восточно-Памирское плато, с которого, по нашему мнению, северные миграционные потоки двигались в ущелья Западного Памира.

Материалы Н. В. Богоявленского по Памиру почти полностью совпадают с данными Л. В. Ошанина (а, следовательно, и с нашей гипотезой)<sup>10</sup>.

Данные Н. В. Богоявленского по таджикам Матчи, Каратегина, Вахио и долины р. Яхсу (материал обработан и опубликован В. В. Гинзбургом) также свидетельствуют в пользу нашего предположения<sup>11</sup>. К сожалению, численность исследованных лиц в этих группах в большинстве случаев невелика.

Из данных Ю. Г. Рычкова по западнопамирским горцам видно<sup>12</sup>, что к северной группе наиболее тяготеют опять-таки шугнанцы Шахдары, шугнанцы Пянджа и рушанцы. Их антиподы по большинству данных (в основном измерительных признаков) — ишкашимцы и ваханцы (возможное влияние южно-таджикских групп из Афганистана, так как наиболее удобный перевал из бассейна афганской реки Кокчи на Памир ведет через Ишкашим). Правда, и в этом случае большинство описательных признаков не совпадает с упомянутой гипотезой, хотя и обратной тенденции не наблюдается.

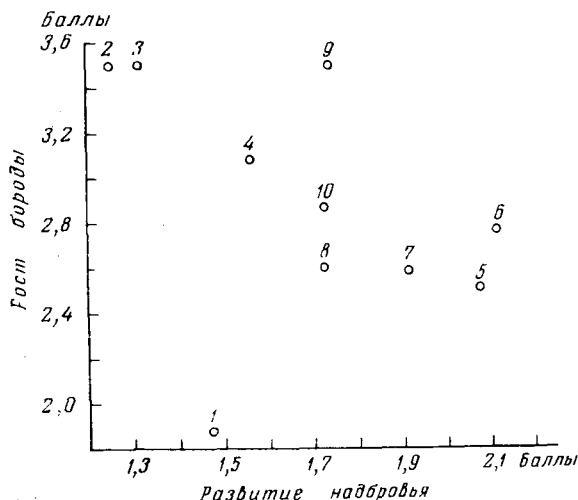


Рис. 2. Соотношение величин развития бороды и надбровья

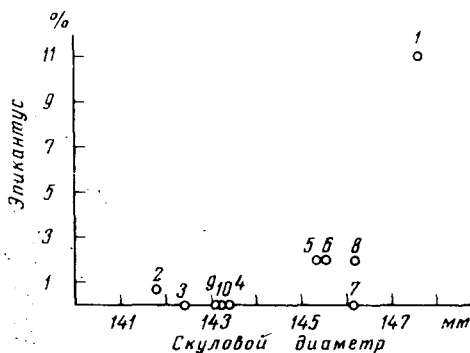


Рис. 3. Соотношение частоты встречаемости эпикантуса и величины скулового диаметра

<sup>9</sup> Л. В. Ошанин, Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез ее народов.

<sup>10</sup> В. В. Гинзбург, Антропологический состав населения Западного Памира (по материалам Н. В. Богоявленского), «Антропологический журнал», 1937, № 1, стр. 91—113.

<sup>11</sup> В. В. Гинзбург, Горные таджики (материалы по антропологии таджиков Каратегина и Дарваза), М.—Л., 1937.

<sup>12</sup> Ю. Г. Рычков, Антропология и генетика изолированных популяций, М., 1969.

Наиболее полно совпадают с нашими выводами данные В. В. Гинзбурга по горным таджикам<sup>13</sup>. По его материалам, самыми близкими к северным таджикам оказались таджики Каратегина, наиболее далекими от них (т. е. наиболее близкими к южным таджикам) — жители юго-восточного Дарваза (Даштиджум, Муминабад, Шурабад), что и следовало ожидать, исходя из географического положения районов. Эта закономерность хорошо прослеживается почти по всем признакам. Таджики Каратегина имеют самую крупную голову: модуль головы у них 168,95 против 167,85 мм у таджиков центрального и восточного Дарваза и 166,25 мм у таджиков юго-западного Дарваза. Сходные данные у этих групп и в отношении величины скулового диаметра: 142,3, 140,1, 139,3 мм соответственно; в отношении нижнечелюстного диаметра: 108,2, 107,9, 106,4 мм и т. д. Развитие бороды у таджиков Каратегина минимальное: средний балл равен 2,94 по сравнению с 3,42 у таджиков центрального и восточного Дарваза и 3,52 у таджиков юго-западного Дарваза.

По некоторым описательным признакам указанная выше тенденция не выдерживается.

Зато по измерительным признакам налицо полное совпадение с нашей гипотезой, даже учитывая более дробное деление изученных В. В. Гинзбургом районов. Так, например, головной модуль у таджиков долины Сурхоба больше, чем у таджиков в тукиковом Комаровском ущелье (169,3 против 168,5 мм), что объясняется относительно большей доступностью с севера сквозной долины Сурхоба. Далее, у таджиков западной, более доступной с севера части Тавиль-Даринского района этот же признак также больше, чем у населения восточной части этого района (168,1 против 167,75 мм). Аналогичная картина получается и при рассмотрении большинства других измерительных признаков.

Исходя из материалов В. В. Гинзбурга, намечается еще одна зона постепенного перехода от северного типа к южному — долина Сурхоба, ведущая из Алая в южный Таджикистан (у нас выделяются две такие зоны: западная часть Гиссарского хребта и в меньшей степени Западный Памир).

Материалы К. Наджимова по антропологии Сурхандарьинской области почти не дают аргументов ни за, ни против нашей гипотезы<sup>14</sup>.

Исследованные в Афганистане Г. Ф. Дебецом таджикские группы оказались типичными представителями южных таджиков по всем измерительным признакам<sup>15</sup>. Головной модуль у них имеет величины от 166,0 до 168,3 мм, скуловой диаметр — от 134,9 до 139,7 мм, нижнечелюстной диаметр — от 103,4 до 108,3 мм, физиономическая высота лица — от 178,9 до 187,4 мм, морфологическая высота лица — от 122,1 до 127,2 мм и т. д. (ср. с нашими данными в табл. 1).

Итак, по нашему мнению, большинство антропологических данных по современному населению Таджикистана и сопредельных регионов, полученных различными исследователями, свидетельствует о заметном отличии северных таджикских групп от южных, что соответствует нашему выделению двух вариантов расы Среднеазиатского междуречья.

Что же касается палеоантропологии, то здесь у автора нет собственных данных. Однако специалисты, работающие в этой области, подтверждают выдвинутую нами гипотезу: «Обширные исследования привели В. В. Гинзбурга, Т. А. Трофимову, Т. П. Кияткину, Г. Ф. Дебеца к убеждению в том, что происхождение расы Среднеазиатского междуречья имеет два основных источника в более древнем населении эпохи бронзы: на севере — население степной культуры, на юге — культуры расписной

<sup>13</sup> В. В. Гинзбург, Горные таджики.

<sup>14</sup> К. Наджимов, Антропологический состав населения Сурхандарьинской области, Ташкент, 1958.

<sup>15</sup> Г. Ф. Дебец, Предварительные отчеты об антропологических исследованиях в Афганистане, вып. 6. М., 1968.

керамики... Можно предполагать, что становление расы Среднеазиатского междуречья явилось, с одной стороны, результатом эпохальных преобразований андроновского (грацилизация) и средиземноморского (брахикефализация) типов, с другой — результатом их смешения»<sup>16</sup>.

Исходя из географии изучаемой территории, вполне естественно предположить, что андроновский элемент имел большее влияние на севере (в Согде), чем на юге (в Бактрии), что и соответствует нашим данным по антропологии современного населения.

В результате антропологического исследования населения Таджикистана и некоторых соседних с ним регионов можно сделать следующие выводы.

1. По большому числу антропологических признаков население юго-востока Средней Азии (раса Среднеазиатского междуречья) можно разделить на два варианта — северный и южный.

2. Северный вариант, распространенный на территории, приблизительно совпадающей с областью древней Согдианы, характеризуется (в сравнении с южным) следующими чертами: относительно более крупной головой, большим скуловым диаметром, большей шириной лба, большим нижнечелюстным диаметром, большей высотой лица (как физиономической, так и морфологической), довольно покатым лбом с заметно развитым надбровьем, относительно сильно развитой складкой верхнего века. У населения этого типа несколько чаще встречаются глаза смешанного цвета, несколько меньше развит волосной покров на теле, менее обильный рост бороды.

Такая антропологическая характеристика этого типа предполагает в нем некоторую примесь этносов, тяготеющих к кругу расовых типов североевропеоидной характеристики (возможно, андроновцев).

3. Ареал распространения южного варианта географически совпадает с территорией древней Бактрии. Этот тип более грацильный: голова менее крупная, меньшие лицевые размеры, прямой лоб с неразвитым надбровьем. Глаза несколько темнее, менее развита складка верхнего века, рост бороды обильнее, более развит волосной покров на теле. Этот тип ближе к южным европеоидам и был, вероятно, более характерен для неолитических земледельцев гиссарской культуры и племен культуры расписной керамики.

4. Описанные выше варианты, по нашему мнению, характерны для древнего европеоидного населения юго-востока Средней Азии и выделяются вне зависимости от степени смешения с пришедшими позднее монголоидными популяциями.

5. В качестве примера довольно монголоидной популяции (южносибирская раса) нами исследованы узбеки-локайцы, которые пришли на эту территорию в XVI в. и даже среди пришлых Дешти-Кипчакских узбеков выделяются своей монголоидностью. По одним признакам узбеки-локайцы превосходят все изученные нами группы, по другим — уступают им, локайцы по своей антропологической характеристике лежат вне вектора изменчивости более автохтонных (в основном таджикских) групп.

6. Между северным и южным вариантами расы Среднеазиатского междуречья, естественно, существуют промежуточные типы, которые и географически локализуются между крайними вариантами. Из обследованных нами групп таковыми являются западные группы из Сурхандарьинской области: узбеки-тагчи, таджики-чагатаи и таджики-кухистани, а также группа шугнанцев Гунта (Памир). По материалам В. В. Гинзбурга, промежуточной группой между северными и южными таджиками являются таджики Каратегина. Среди наших западных групп наибольшее сходство с северным вариантом обнаруживает группа узбеков-тагчи, а наибольшее сходство с южным вариантом — группа таджиков-кухиста-

<sup>16</sup> В. В. Гинзбург, Т. А. Трофимова, Указ. раб., стр. 303, 304.



ни. Таджики-кухистани (в переводе с таджикского — горцы) живут в каменистом и довольно труднодоступном ущелье Туполанг и являются, вне сомнения, более автохтонным населением по отношению к узбекам-тагчи (в переводе с узбекского — тоже горцы).

7. Названные выше варианты расы Среднеазиатского междуречья в настоящее время перекрыты более поздними этническими напластованиями и выявляются лишь как реликты (в горных районах отчетливее, чем на равнине).

8. Необходимо дальнейшее антропологическое изучение юго-востока Средней Азии для получения более подробной карты географической локализации выделенных типов.

---

**В. В. Покшишевский**

## **НОВЕЙШИЕ ДАННЫЕ О МИГРАЦИОННОЙ ПОДВИЖНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНДИИ**

В переписи населения Индии 1971 г., как и в предшествующих переписях в этой стране, содержался вопрос о месте рождения переписываемых лиц. Правда, вопрос этот задавался лишь лицам, попавшим в 1%-ную выборку, но при очень больших абсолютных совокупностях населения такую выборку можно считать достаточно репрезентативной для суждения об общих масштабах миграционной подвижности, ее географических направлениях, о том, как влияют на нее историко-этнические условия, этнолингвистические различия и т. п.

В практике зарубежной демографической статистики данные переписей о месте рождения населения широко применяются для выявления результатов миграционных перемещений. Вопрос о месте рождения включался в переписные листы при проведении переписей 1961 г. в Англии, Бельгии, Израиле, Италии, Финляндии, ФРГ, Чехословакии, Югославии; переписей 1960 г. в Испании, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Португалии, США, Филиппинах, Швейцарии; переписи 1962 г. во Франции; переписей 1965 г. в Японии, Турции и т. д. ООН рекомендовала включить этот вопрос и для переписей, проводимых в 1970 г. или в близкие к этому году даты<sup>1</sup>.

Индийская перепись 1971 г. выявила (с помощью указанной выше выборки) для каждой административной единицы (штат, дистрикт по административному делению на момент переписи) и пункта — места рождения переписанных здесь лиц, также по административным единицам (с учетом различий по полу и по формам расселения — городъ или сельская местность)<sup>2</sup>. Отдельно учитывались и лица, родившиеся за пределами Индии (с указанием страны рождения)<sup>3</sup>.

С помощью выборки было охвачено 545,49 млн. чел. (что дает очень большую полноту)<sup>4</sup>; среди них — мужчин 285,4 млн., женщин — 263,1 млн.; горожан — 108,6 млн., сельских жителей — 436,9 млн.

<sup>1</sup> В нашей стране вопрос о месте рождения выяснялся при переписях 1897 и 1926 гг. Как известно, в последующих переписях 1939 и 1959 гг. совсем не выяснялись результаты миграций. При обсуждении программы переписи 1970 г. выбор соответствующего вопроса вызвал широкую дискуссию (см. «Всесоюзное совещание статистиков 1968 г. Стенографический отчет», М., 1969, стр. 382—388). Предпочтение было отдано вопросу, позволяющим характеризовать не результаты миграций (за «целое поколение»), а переселения за два последних года.

<sup>2</sup> Соответствующие тома публикации материалов переписи 1971 г. еще не вышли. Нижеследующее изложение основано на материалах предварительной разработки, любезно присланных автору А. Чандра Секаром (Shri A. Chandra Sekhar), возглавлявшим до конца 1973 г. Ведомство переписей (Office of Registrar General, India); ныне он является одним из руководящих работников Department of Family Planning в Министерстве здравоохранения и планирования семьи. Автор приносит А. Чандра Секару свою искреннюю признательность.

<sup>3</sup> К сожалению, без выделения из Пакистана его восточной части, образовавшей уже после переписи 1971 г. Народную Республику Бангладеш.

<sup>4</sup> Индийское Ведомство переписей признало, что на 1 апреля 1971 г. (так называемый «критический момент» переписи, к которому была приурочена последующая ее проверка) населения страны составило примерно 547 млн. чел. (см.: В. В. Покшишевский, Первые результаты индийской переписи 1971 года, «Сов. этнография», 1972, № 2.)

Обратимся сперва к итогам миграционных перемещений по стране в целом. Доля «неместных уроженцев» — очень важный показатель подвижности населения. Напомним, что В. И. Ленин, анализируя данные американских ценов 1900 и 1910 гг. видел в доле «неместных уроженцев» важный показатель экономической развитости населения различных районов США<sup>5</sup>. По данным переписи 1971 г., в Индии среди уроженцев страны вне того штата (или соответственно «союзной территории»), где они были переписаны, родилось всего 19,42 млн. чел. (только 3,6% всего населения), в том числе 11,5 млн. горожан (10,3% всех горожан) и 8,37 млн. сельских жителей (лишь около 1,6% всех индийцев, обитавших в сельской местности). Это очень низкий показатель межрайонной миграционной подвижности<sup>6</sup>. Невысока и интенсивность переселений из села в город. Среди 103,5 млн. горожан, родившихся в Индии, только 24,8 млн. чел., или 24% (в том числе 12,5 млн. мужчин и 11,4 млн. женщин), родились в сельской местности. Оценивая эту цифру, надо помнить, что речь идет об объеме миграций на протяжении жизни целого поколения! Правда, число горожан пополняется также за счет лиц, родившихся за пределами Индии (в основном это переселенцы-индуисты с территорий, отошедших в 1947 г. к Пакистану); почти половина этих иммигрантов (45,5%) проживает сейчас в городах. Но абсолютное число горожан среди уроженцев зарубежных стран сравнительно невелико — немногим больше 4 млн. чел. При этом следует учитывать, что среди них были выходцы не только из сельской местности за рубежом, но и из зарубежных городов (материалы, которыми мы пользовались, это различие не фиксируют).

Доля «неместных уроженцев» будет гораздо выше, если к этой категории отнесем также родившихся не только за пределами «своего штата», но и за пределами *дистрикта* (в «своем» штате). Тогда их число увеличится до 54,7 млн. чел. (немногим более 1/10 части всего населения). Из них 25,3 млн. жили в городах (почти 1/4 часть). Наконец, если отнести к «неместным уроженцам» тех кто родился вне того *населенного пункта*, в котором он был учтен переписью, эта категория составит 170,1 млн. чел. (до 37% всего населения), в том числе среди горожан 42,6 млн. чел. (до 39%). Интересно, что в сельской местности доля «неместных уроженцев» оказалась много выше среди женщин, чем среди мужчин: перепись застала вне того сельского населенного пункта, где они родились, 96,3 млн. женщин и только 41,3 млн. мужчин. Это отражает обычай, согласно которому после брака жена переселяется в деревню мужа. В городах соотношение обратное: 21,8 млн. «неместных уроженцев» мужчин и 20,8 млн. женщин. Напомним, что в целом по стране половая структура населения характеризуется заметным преобладанием мужчин.

Весьма характерно резкое различие в доле «неместных уроженцев» при переходе от уровня штата на уровень дистрикта. Легко представить себе, что чем более дробные единицы избираем мы для исчисления объема миграций, тем больше окажется этот расчетный объем при том же самом фактическом объеме перемещений населения<sup>7</sup>. В Индии зависимость доли «неместных уроженцев» от избранного «шага» территориальной дробности особенно велика (10% для уровня дистриктов и только 3,6% для уровня штатов). Это объясняется тем, что штаты Индии построены в рамках этнических общностей. Переселение в другой штат.

<sup>5</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 129—227.

<sup>6</sup> В США по переписи 1960 г. 26% населения проживало вне того штата, где оно родилось (оценивая эту цифру, следует учесть также сказанное ниже о различиях в площадях и населенности между штатами Индии и США).

<sup>7</sup> В. Покшишевский, Миграции населения как общественное явление и задачи статистического их изучения, в кн. «Статистика миграций населения», М., 1973, стр. 25.

как правило, предполагает преодоление существенных этнолингвистических барьеров, которые заметно снижают миграционный обмен населением между штатами (ниже мы вернемся к вопросу о том, какие этнические группы относительно легче преодолевают эти барьеры и вообще выделяются своей территориальной подвижностью на фоне общего очень низкого ее уровня в Индии).

Если рассматривать штаты в Индии как основу миграционного перераспределения населения, нужно обязательно учитывать и их величину<sup>8</sup>. За исключением северо-востока (Ассам и смежные штаты) и частично северо-запада, штаты Индии и по площади, и, особенно, по численности населения намного превосходят привычные для нас административно-территориальные подразделения первого порядка в странах Европы (области Европейской части СССР, воеводства Польши, «земли» ФРГ, департаменты Франции и т. п.) или штаты в США. Стоит задуматься над тем, что в США из 50 штатов лишь несколько наиболее людных имеют население в 10—20 млн. чел., в большинстве же из них число жителей измеряется несколькими миллионами и даже лишь сотнями тысяч человек. В Индии в 12 штатах живет более чем по 20 млн. чел., причем в некоторых (Уттар Прадеш, Бихар, Махараштра) более чем по 50 млн. чел., и еще в 4 штатах — более чем по 40 млн. чел. Штаты Индии — это, как правило, очень многолюдные этнически компактные массивы; и основная масса миграций (оцененных как перемещение за жизнь целого поколения) укладывается в границах сложившихся в них общностей.

Как и во всех странах, в Индии города, особенно крупные, становятся центрами притяжения мигрантов. О численных масштабах миграций «село — город» для всей страны уже было сказано выше; интенсивность их умеренная. И здесь миграции происходят в основном в рамках штата (или общего лингвистического ареала); однако наиболее крупные города становятся центрами притяжения и из-за пределов своего штата. Это может быть проиллюстрировано на примере Дели, выделенного при обработке данных переписи в особую единицу (в качестве «союзной территории»). Почти половина 3,5-миллионного населения индийской столицы родилась вне этой «союзной территории». Наибольшая часть их пришлась на непосредственно прилегающие штаты Уттар Прадеш (почти 0,6 млн. чел.) и Хариана (более 0,2 млн. чел.); за ними следовали штаты северо-западной окраины — Панджаб (почти 0,2 млн.), Раджастхан (0,14 млн.), Химчал Прадеш (0,04 млн. чел.). В городах Индии, в первую очередь, конечно, в самом Дели, родились 2,4 млн. чел., в сельской местности — 0,7 млн. чел. Среди родившихся вне Индии, как и можно было ожидать, больше всего уроженцев Пакистана (вместе с Бангладеш) — 0,48 млн. чел.

Большой интерес представляет вопрос, какие из населяющих Индию народов в силу исторических причин и хозяйственно-этнических особенностей наиболее склонны к переселениям, в том числе за пределы родного штата. Используемые в настоящей заметке материалы не дают прямого ответа на этот вопрос, но можно все же выделить штаты, особенно активно отдававшие мигрантов, а так как во многих случаях современные штаты сравнительно однородны по национальному составу («однонациональны»), то сток их населения (особенно сельского, где этническая однородность чаще всего наиболее высока) дает и известное

<sup>8</sup> Мы здесь не имеем возможности анализировать перемещения между дистриктами, ибо предоставленный нам предварительный статистический материал содержит лишь сводные данные об уроженцах «не своего» дистрикта (без указаний — какого именно). Отметим только, что, как правило, чем крупнее штат, тем, естественно, в нем больше уроженцев этого же штата, но «не своего» дистрикта. Анализ междистриктных миграций — последующая задача, решение которой будет возможно после публикации более детальных данных (или путем специальных выборочных обследований на местах).

представление об этнической окраске миграционных потоков. При этом отчасти может быть выявлена и картина имеющихся здесь этнолингвистических барьеров для миграций. На эту сторону дела в теоретическом плане автору уже приходилось указывать: «Миграция в ходе своего осуществления преодолевает определенные трудности: необходимость всесторонней адаптации... В качестве элемента, подлежащего преодолению сопротивления, выступают и языковые барьеры»<sup>9</sup>.

Из 19,4 млн. переселенцев из всех штатов Индии основная масса пришла на десять штатов (14—15 млн. чел.). Среди них на первом месте стоял штат Уттар Прадеш (3,5 млн.). Это самый крупный штат Индии (в 1971 г. в нем жило почти 90 млн. чел.), расположенный в густо заселенной части страны (средняя плотность населения здесь составляет 300 чел./км<sup>2</sup>). Это как бы море деревень (сельское население составляет 86%), но волны его подходят вплотную ко многим крупнейшим городам соседних штатов и союзных территорий Индии (в том числе к Дели, где живет, как мы видели, много сот тысяч уроженцев этого штата). Все указанные выше обстоятельства и обусловили большое число выходцев из Уттар Прадеш. Далее следует Раджастхан, откуда выехало около 1,5 млн. чел. От 1,1 до 1,4 млн. чел. дали штаты Бихар и Махараштра (в каждом из них живет около 50 млн. чел.), Панджаб, Андхра Прадеш, Мадхья Прадеш, Карнатака; примерно по 1 млн. чел. — Гуджарат и Керала.

Характерна повышенная «готовность» к миграции народов северо-западных приграничных штатов — раджастханцев, панджабцев и отчасти гуджаратцев (последних в основном в города, особенно в близкий для них Бомбей). Раджастханцев оказывается довольно много не только в соседних штатах (а в целом межштатные миграции в Индии характеризуются заметным преобладанием переселений в ближние штаты), но и в центральных штатах (в Мадхья Прадеш — почти 0,3 млн. чел., в Махараштре — более 0,16 млн. чел.). Повышенную склонность народов северо-западной окраины Индии к миграциям следует связать со значительной ролью в их хозяйстве животноводства, в недавнем прошлом еще кочевого, а также с развитием в этих районах товарного хозяйства. Среди гуджаратцев издавна было много ремесленников и торговцев, которых привлекали большие города. Кроме того, в северо-западных штатах немало недавних (после «раздела» Британской Индии в 1947 г.) беженцев из Пакистана; сдвинутые с первоначального места жительства политико-религиозными мотивами, эти переселенцы уже «во втором поколении» продолжали продвижение в глубь своей новой родины.

Интересно, что среди развитых штатов Индии очень мало межштатных мигрантов дал Западный Бенгал, имеющий мощный внутренний центр притяжения — Калькутскую агломерацию. Около четверти миллиона уроженцев Бихара, зарегистрированных в Ассаме (они составили почти половину всех выходцев из штата Бихар), — это, главным образом, рабочие на чайных плантациях, которых начали завозить еще в период британского господства.

Слабым миграционным потенциалом характеризуются южные штаты, населенные народами дравидской языковой семьи. Из 30-миллионного штата Карнатака вышло лишь около 1 млн. чел. (это примерно лишь 1/20 часть его жителей), но и то переселились они главным образом в соседние штаты. Число выходцев из штата Тамилнаду (более 40 млн. жителей) не достигло и 0,75 млн. чел. Языковый барьер очень наглядно «отсекает» южные штаты от остальной Индии, затрудняя адаптацию мигрантов с дравидскими языками в среде народов, относящихся к индоевропейской языковой семье.

<sup>9</sup> В. В. Покшишевский, Миграции населения как общественное явление..., стр. 33, 34.

На этногеографическую картину межштатных миграций в Индии, отраженных через данные о числе «неместных уроженцев», как бы накладываются потоки выходцев из-за рубежа. Общая численность лиц, родившихся вне Индии, согласно переписи 1971 г., составляла 8,9 млн. чел. (т. е. почти половину «неместных уроженцев» из самой Индии). В подавляющей массе (8,1 млн.) это уроженцы Пакистана и Бангладеш. Перепись не разделяла тех, кто переселился из Пакистана (Западного) и с современной территории Бангладеш (тогда — Восточный Пакистан). Поэтому в этой массе зарубежных уроженцев невозможно выделить, с одной стороны, бенгальцев, с другой — панджабцев-индуистов (главный контингент переселенцев из Западного Пакистана). Известное представление об этом, впрочем, можно получить по данным о местах расселения этих иммигрантов. В Западном Бенгале перепись зарегистрировала 2,92 млн. уроженцев Пакистана, в Ассаме — 0,93 млн. (практически и те и другие — выходцы из Бангладеш, т. е. бенгальцы); в Панджабе — 1,01 млн., в Раджастанхана — 0,23 млн., в Хариане — 0,55 млн.

В свое время польский исследователь мировых миграций А. Марианский отмечал, что в 1951 г. в Западном Бенгале было зарегистрировано 2,1 млн. выходцев из Пакистана (фактически — бенгальцев из современного Бангладеш), в Ассаме — 0,27 млн.<sup>10</sup> Эти цифры свидетельствуют, что в 1951—1971 гг. иммиграция из Пакистана активно продолжалась, особенно в Ассам. Что касается северо-западной окраины Индии, то здесь границы штатов за последние двадцать лет изменились, поэтому продолжение иммиграции можно только предполагать.

Второй по величине приток иммигрантов шел в Индию из Непала: по переписи 1971 г. в Индии жило почти 0,5 млн. уроженцев Непала (больше всего в штатах Уттар Прадеш и Западный Бенгал). Большое число иммигрантов переселилось в Индию также из Бирмы (0,14 млн. чел.). Среди уроженцев других стран зарегистрировано 65 тыс. лиц, родившихся в Африке, — величина сравнительно небольшая, если учесть, что численность индийцев-иммигрантов в африканских странах (главным образом в Южной и Восточной Африке) значительно превышает 1 млн. чел.; такое соотношение свидетельствует о том, что выходцы из Индии прочно оседают в Африке<sup>11</sup>. Данные переписи говорят также о наличии миграционного обмена населением с Шри Ланкой и с Малайзией (среди современного населения Индии имеется по несколько десятков тысяч уроженцев этих стран). Родившихся в Европе всего 17 тыс. (в том числе уроженцев Великобритании и Ирландии меньше 10 тыс.).

Характерно, что лица, родившиеся за рубежом Индии, тяготеют к расселению в городах. Более 4 млн. из них, т. е. почти половина, — горожане (напомним, что доля горожан во всем населении Индии не достигает сейчас еще и 1/5).

В целом даже с учетом довольно ощутимой массы выходцев из-за рубежа, к тому же более мобильных и легче адаптирующихся к городскому образу жизни, территориальная подвижность населения Индии относительно невысока, что отвечает преобладанию в стране аграрной экономики, во многом еще недостаточно товарной. Из более чем полу-миллиарда жителей лишь около 28 млн., включая иммигрантов, родились не в том штате, где их застала перепись. Это очень низкий показа-

<sup>10</sup> A. Maryański, Wspólczesne wędrówki ludów. Zarys geografii migracji. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1966, str. 132.

<sup>11</sup> Добившиеся независимости страны Восточной Африки в последние годы усиленно проводят политику «африканизации» кадров, занятых в инфраструктуре, где раньше работало много выходцев из Индии; последним приходится либо принимать гражданство Кении, Танзании, Уганды (с ухудшенными шансами получить хорошую работу), либо покидать страну. Правда, среди избирающих второй путь возвращаются в Индию немногие.

тель подвижности. Напомним, что например, по I Всероссийской переписи 1897 г. число родившихся вне той губернии, где они были переписаны, составило около 12 млн. чел. (или около 10% всего населения), т. е. много больше, чем в современной Индии (правда, оценивая эти уровни подвижности, следует вспомнить сказанное ранее о несопоставимости размеров и людности индийских штатов с характерными для европейских государств территориальными делениями, подобными губерниям Европейской России). Существенное различие между миграционной ситуацией дореволюционной России и современной Индии заключается и в том, что Россия имела огромные земельные резервы для внутренней колонизации, Индия же почти повсеместно весьма густо заселена.

Поэтому приведенное сопоставление может служить лишь в качестве общего ориентира для показа близости масштабов явления. А ориентир этот очень интересен, поскольку подвижность населения — всегда один из важных показателей уровня развития социально-экономических отношений.

---



## ПОИСКИ ФАКТЫ ГИПОТЕЗЫ

Н. Р. Гусева, С. И. Потабенко

### НАХОДКА В ВЕРХНЕЙ СВАНЕТИИ

В 1971 г. в Верхней (или Горной) Сванетии, вблизи г. Местии, нами было найдено валунное изваяние, не описанное до сих пор, насколько нам удалось выяснить, ни в научной, ни в научно-популярной литературе.

В 1972 г. мы вернулись в Местию, чтобы собрать всю требуемую информацию, связанную с этой находкой, и сделать необходимые фотоснимки.

Валун лежал на территории травяного аэродрома, ограниченного с одной стороны дорогой, идущей к северу от поля по берегу р. Местиа-чала, с другой — горами. Валунное изображение находилось между посадочной полосой и дорогой, в 30 м от начала полосы.

На всей территории аэродрома не было ни одного камня подобного вида и размера. Валун имеет яйцевидную форму. Когда мы его обнаружили, он был примерно до половины погружен в землю (по долевой оси). Надземная поверхность выглядела как некое подобие головы или черепа животного (по всем чертам — жвачного), хотя нельзя исключить предположение, что это могло быть грубое антропоморфное изображение. На голове (или черепе) рогов не было, была изображена не то шапка с широким ободом по низу, не то что-то вроде круглого, плотно прилегающего шлема.

В свой второй приезд, в октябре 1972 г., мы пригласили к месту находки директора Краеведческого музея г. Местии А. Э. Квициани и сотрудников музея; все вместе мы тщательно осмотрели надземную часть валуна-«черепа» и измерили ее.

Размеры его (по предварительному замеру) следующие (в см): долевая ось — 105—110; поперечная (в височной части) — 80—85; высота над землей — 60—65.

Симметрично расположенные глазные впадины разделяются широким носом (или носовой костью), недифференцированно переходящим ко рту и подбородку. В целом очертания носа и ротовой части все же больше всего напоминают верхнюю челюсть быка или барана.

Возможно, впадины были естественными углублениями на большом валуне, и именно это некогда привело человека к мысли обработать его, чтобы придать ему или характер объекта культового поклонения, или просто зооморфной скульптуры.

Несмотря на то что валун был покрыт слоем лишайника и подвергся выветриванию, на его надземной части четко прослеживался приподнятый обод шапки или шлема шириной около 8—9 см, охватывающий лоб от виска до виска. На «шапке» можно увидеть неотчетливые узкие выпуклые линии от лба к макушке и от правого виска к левой заушной области. Такой головной убор больше всего напоминает круглую шапочку «сванури», которую носят сваны. Нижний край сванури контурован



двумя параллельно нашитыми (в 5—6 см один от другого) шнурами. шнуры крестообразно пересекаются также на тулье, и один конец шнура длиной в 20 см свисает вниз на плечо или на спину; иногда его перебрасывают сзади на плечо вперед.

Когда мы выкатили валун из его земляного ложа, то обнаружили, что на его затылочной части обод продолжался без перерыва; только здесь он сохранился лучше, чем на лобной: он не подвергся выветриванию и был несколько выше налобного, а края его хранили четкие следы оббивки. От середины затылочной части обода вниз и налево (как бы в направлении левого плеча) шла выпуклая узкая полоска (шириной в 2 см), напоминающая шнур, который свисает со сванури. По тулье шапки тоже шли нечеткие узкие полоски, которые проследить не удалось из-за того, что нижняя часть валуна была густо залеплена глинистой землей. Все же было ясно видно, что вся ее поверхность хранила следы пуансонной обработки, в результате которой выпуклыми остались только обод и полоски. На надземной части следы этой обработки уже почти стерлись<sup>1</sup>.



Рис. 1. Сван в традиционной шапочке «сванури» около валунного изваяния

В силу того, что, по согласованию с АН ГрузССР, расчистка валуна была временно отложена директором музея, до прибытия в Гор-

ную Сванетию археологической экспедиции, ничего более определенного о технике и качестве обработки этого изваяния сказать сейчас нельзя.

Этот «череп» был погружен в землю на 40 см. Он был ориентирован по странам света следующим образом: подбородок обращен на юг (или юго-юго-восток), а теменная часть на север (или северо-северо-запад).

Беседуя с местными жителями, мы пытались выяснить все, что только возможно, об этом валуне, и прежде всего, почему его не вывезли с территории аэродрома, несмотря на то что он представляет собой определенную опасность для садящихся самолетов (в Местию летают лишь небольшие бипланы).

На этот вопрос определенного ответа получить не удалось. Выяснилось лишь, что раньше поле служило для выпаса скота и было разделено между сванскими родами Местии. Участок, на котором мы обнаружили валунный «череп», принадлежал роду Хергиани (из которого вышел всемирно прославленный альпинист-скалолаз Миша Хергиани). Однако мы не получили никаких конкретных сведений о связи этого изваяния с преданиями рода. До нас дошли только косвенные слухи о том, что камень почему-то нельзя было удалять с поля, но причин никто объяснить не стал (не исключено, что разговоры об этом изваянии, имеющем явно сакральное значение, до сих пор считаются табуированными).

<sup>1</sup> Возможно, датировка этого зооморфного (или антропоморфного?) изображения поможет определить, как давно бытует сванури в Сванетии. Дата не обязательно совпадает с появлением этого типа головного убора мужчин, но укажет на то, что в момент изготовления изваяния сванури уже были известны.

В беседах с информаторами — Отаром Джапаридзе, Александром Нигуриани, Шукро Маргиани и рядом других лиц<sup>2</sup> — мы старались собрать сведения этнографического характера, прямо или косвенно связанные с видом валунного изваяния и местом его расположения. Полученная информация дает основания предполагать, что найденное изваяние связано с древним охотничьим культом, и конкретно с культом бога туров. Этот культ имел, совершенно очевидно, широкое распространение в среде сванов, так как и до сих пор здесь бытуют сильнейшие его пережитки. Нам были показаны, например, старые родовые дома, под навесами крыш которых от угла до угла были подвешены гирлянды из нижних челюстей убитых туров. На некоторых домах на самом углу крыши укрепляется черепная коробка тура с верхней челюстью. Многие охотники вмазывают рога убитых туров в стену двора снаружи над воротами.

С охотой на туров — исконным и главным видом охоты сванов — связан ряд обычаев, запретов и ритуальных актов, некоторые из них бытуют и сейчас. Так, перед охотой на тура сван не должен приближаться к жене в течение трех-четырех ночей. Рано утром он тщательно моется, надевает чистое белье и уходит в горы на охоту. В дни, когда у кого-либо из женщин в семье менструация, на охоту ходить нельзя.

В религиозно-мифологических традициях сванов богиней охоты является Дали, но вместе с тем большую (если не главную) роль играет святой Джграг — в грузинском христианстве это святой Георгий. Все, с кем мы беседовали, говорили нам, что он считается в Сванетии главным христианским святым и фактически воспринимается (или трактуется) здесь как верховное божество. Свидетельства наших информаторов позволяют сделать вывод, что в сознании людей св. Джграг выступает как некий собирательный образ, вобравший в себя основные черты святых — покровителей мужчин, т. е. совершенно очевидно, черты дохристианских богов — покровителей воинов и охотников.

Традиция предписывает обращение перед началом охоты к св. Джграгу с просьбой о помощи. Выслеживая тура, охотник тоже должен просить этого святого о добыче.

Белого тура, равно как и тура с белой отметиной, убивать нельзя, так как это животное считается воплощением бога туров (или, по другой информации, собственностью бога туров), и охотники суеверно боятся мести этого божества.

Подстрелив тура, сван должен вскрыть ему брюшину, извлечь сердце и печень и тут же на месте, изжарив их на костре (в огонь нужно бросить кусочек принесенного с собой пчелиного воска), съесть. Это жертвоприношение посвящается св. Джграгу, или, по другим объясне-



Рис. 2. «Затылочная» часть изваяния, которая была скрыта в земле

<sup>2</sup> Пользуюсь случаем выразить благодарность за информацию друзьям из Местин: А. Квициани, О. Джапаридзе, А. Нигуриани, Ш. Маргиани.

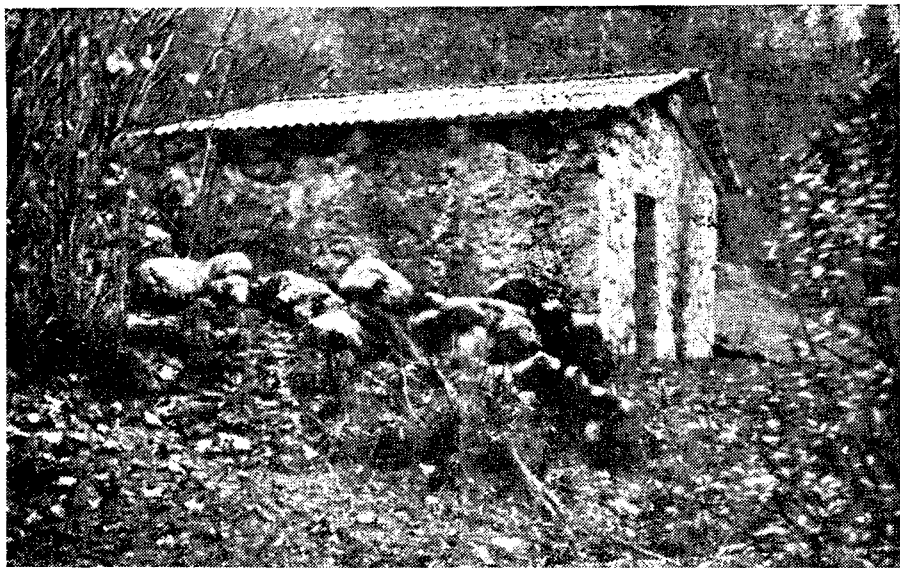


Рис. 3. Церковь охотников в Местии (на стене у двери видна копоть от костров)

ниям, турьему богу или «хозяину туров». Такая разветвленная обрядность относится здесь только к турам, которых называют «божьими животными». Охота на других животных не связана с особыми ритуальными действиями.

Принеся тушу тура домой, охотник согласно обычаю должен отдать ее на дальнейшую разделку, оставляя лишь правую переднюю ногу с лопаточной частью. Считается, что эта часть туши принадлежит все тому же богу, и охотник (или охотники) вечером должен принести ее в жертву в определенном месте, а именно в церкви охотников. У каждого селения сванов есть такая церковь. Что касается местийской церкви, то она расположена на склоне горы над самым аэродромом, и дорога, ведущая к ней от Местии, проходит вблизи валуна — «черепа».

Эта церковь представляет собой небольшое — около 12—15 м<sup>2</sup> — каменное беленое здание под двускатной крышей. В ней нет ни икон, ни каких-либо других сакральных изображений. С наступлением темноты охотники должны принести сюда оставленную часть туши убитого в этот день тура, развести костер снаружи у стены церкви, поджарить мясо (иногда приносят уже поджаренное мясо), тут же съесть его, запив аракой, а очищенные от мяса кости плеча и лопатки положить в церкви в отгороженный камнями угол, написав или нацарапав свое имя (или имена) на лопатке.

Совершенно очевидно, что эта церковь была возведена в христианскую эпоху на месте совершения древних охотничьих треб.

Рассматривая валунное изваяние в свете собранных данных и принимая во внимание его местоположение, можно высказать предположение, что его следует связывать с культом турьего бога, который, возможно, в древности почитался сванами в форме турьей головы или турьего черепа. Известно, что у сванов существовал культ мифических животных; в Сванетии, как и в других областях Грузии, почитались также божества-покровители крупного рогатого скота и земледелия<sup>3</sup>. Но нам не удалось найти какие-либо указания на то, что обряд поклонения турьей голове или черепу сохранялся в культовой практике ныне живущего или предыдущего поколения. У соседних со сванами народов

<sup>3</sup> «Народы Кавказа», т. 2, М., 1962, стр. 318.

(с которыми они поддерживают тесные дружеские отношения) — у кабардинцев и черкесов — вплоть до XX в. почитались древний бог лесов и покровитель охотников и диких зверей, образ которого, судя по фольклорным данным, имел некоторые зооморфные черты, и в частности рога<sup>4</sup>.

Наше внимание привлекло сообщение одного из информаторов — профессионального охотника, который сказал, что территория аэродрома и примыкающий к нему склон горы, где стоит описанная церковь, считается у них «старой турьей фермой святого Джграга»; дословно приводим его выражение: «очевидно, здесь было турье стойбище».

В восприятии современного поколения представления о святом Джграге явно переплетаются со старыми представлениями о боге-туре. Молодежь не позволяет себе неуважительно отзываться об этом недифференцированном образе бога-святого-тура, но и говорит о нем вместе с тем уже без ярко выраженного суеверного страха и религиозно-мистического отношения. Если валун представляет собой зооморфное изображение, то шапка на нем должна, видимо, показать, что это не просто изображение животного, а божество.

В ряде ритуалов сванов костям животных отводилась особая роль. Так, на кладбище в Местии есть старая липа с треснувшим стволом; на дне трещины мы видели челюсти быков (или туров, что уточнить не удалось). Здесь следует вспомнить о том, что кости людей, членов каждой семейно-родовой группы сванов, согласно обычаю, должны были накапливаться в одной могиле. Покойников подхоранивают в ту же могилу до тех пор, пока уровень костей не достигнет поверхности земли, и лишь тогда освящают новый участок земли и начинают заполнение новой могилы. Где бы ни умер сван, его тело, по обычаю, обязательно должно быть доставлено в родное селение и погребено указанным способом. Если тело не могут обнаружить и предать ритуальному погребению, человек не считается мертвым, но его вместе с тем не числят и в ряду живых; в этом случае родные думают, что он подвергает их проклятию за невыполнение долга.

Возможно, что кости в дупле липы, которые мы видели на кладбище у церкви св. Джграга, говорят не только о жертвоприношении духам предков (сваны широко практикуют поминальные обряды и помимо проведения поминальной трапезы, во время которой съедают много мяса, они ставят на могилы бутылки араки, кладут яблоки, лепешки и даже сигареты и спички), но и об обычае принесения бычков в жертву св. Джграгу.

Церковь св. Джграга в Местии ныне не действует, в ней открыт филиал музея. Но в прежние времена сюда весной и осенью, в дни праздников св. Джграга, приводили бычков. К их правому рогу привязывали зажженную свечку, а другую ставили в церкви (когда церковь закрывали, свечки стали прикреплять снаружи к дверям). Бычка трижды поворачивали на месте, правым плечом к церкви, а затем уводили его домой. Свечку с рога зажигали в доме, бычка резали, собирали его кровь в особый сосуд и приносили ее в жертву земле, выливая на землю в таком месте, где не бродят собаки, свиньи и т. п. (обычно в саду, обнесенном оградой). Печень и сердце бычка жарили мужчины данной семейной группы и съедали ее в качестве жертвы св. Джграгу (заметим, что они делали то же самое, что делают охотники на туров).

В прежние времена и даже в XX в., вплоть до закрытия церкви, мясо таких жертвенных бычков тут же варили в огромных котлах. Сейчас эти котлы хранятся в церкви в качестве музейных экспонатов.

Нам не удалось установить, куда девают кости жертвенных бычков, но, возможно, челюсти в дупле липы, принадлежали им. Вероятно,

<sup>4</sup> Там же, т. I, М., 1960, стр. 185.

в некоторых семьях до сих пор придерживаются древнейшего обычая, предписывавшего забивать для «кормления» покойника животное (возможно, и кладут часть его туши в могилу). До сих пор старики, благословляя поминальный стол, говорят, что на том свете эту пищу должен будет употреблять покойный.

Обычай захоронения жертвенных животных во время погребения человека (или же умерщвление их для поминок как пережиток этого обычая) был распространен у многих народов Кавказа: осетины с древнейших времен клали в могилу коня (в XIX в. пережиток этого обряда выражался в том, что коню только надрезали ухо). У карачаевцев, кабардинцев, черкесов, ингушей существуют пережитки доисламских погребальных обрядов — на могилу ставят предметы, «нужные» в загробной жизни<sup>5</sup>. У армян на пасху приносили поминальное жертвоприношение «ахар» — забивали быка<sup>6</sup> и т. д.

У многих индоевропейских народов в отдаленные времена подобный обычай имел весьма широкое распространение (так кости жертвенных животных находят, например, в древних захоронениях индоираноязычных племен — создателей срубной и срубно-андоновской культур, в могилах скифов, в славянских языческих погребениях). В северокавказских археологических культурах, включая кобанскую, обнаружено много могильников, в которых сохранились кости животных.

Возвращаясь к вопросу о поклонении св. Джграгу, богу воинов и охотников, можно высказать предположение, что имя его не является исконно картвельским, а восходит, возможно, к той далекой эпохе, в которую складывались, по выражению Г. А. Климова, «...разительные материальные встречи картвельских языков с индоевропейскими», а также возникал ряд передвижений, параллелей и рефлексов, типологически тождественных индоевропейским<sup>7</sup>.

Вместе с тем Г. А. Климов считает, что многие картвельско-индоевропейские параллелизмы типологически необъяснимы и часть из них «должна квалифицироваться как древние заимствования из какого-то индоевропейского источника и является результатом доисторических контактов носителей картвельских и некоторых индоевропейских языков»<sup>8</sup>. Такого же мнения придерживаются и другие специалисты<sup>9</sup>.

Мы не знаем, можно ли относить факты некоторых сванско-индоевропейских языковых схождений к той эпохе, о которой Г. И. Мачавариани сказал, что «уже к III тысячелетию до н. э. можно отнести существование трех четким образом взаимно отграниченных праязыковых единств: абхазско-адыгского, картвельского и нахско-дагестанского»<sup>10</sup>. Функции святого-воина Георгия совпадают с функциями неизвестного нам бога-покровителя охотников и воинов, которых, возможно, носил имя Джграга. Сваны, которых мы спрашивали о значении этого имени, поясняли, что это слово означает «тот, кто режет, воюет, убивает, побеждает людей и зверей». Если в памяти народа сохраняется такое значение слова, то можно предположить, что в ту эпоху, о которой и писали упоминаемые выше исследователи этим или этимологически близким именем определяли воина как собирательное понятие или бога воинов. Не исключено, что изображение близкого такому богу мифического персонажа и было обнаружено на аэродроме в Местии.

<sup>5</sup> «Народы Кавказа», т. 1, стр. 186, 264, 386.

<sup>6</sup> Там же, т. 2, стр. 532.

<sup>7</sup> Г. А. Климов, Этимологический словарь картвельских языков, М., 1964, стр. 26, а также стр. 20, 21, 24.

<sup>8</sup> Там же, стр. 20.

<sup>9</sup> В. Георгиев, Исследования по сравнительно-историческому языкознанию (родственные отношения индоевропейских языков), М., 1958, стр. 265—266.

<sup>10</sup> Г. И. Мачавариани, К вопросу об индоевропейско-картвельских (южнокавказских) типологических параллелях, Докл. на VII МКАЭН, М., 1964.

**Р. Ш. Джарылгасинова**

## **СОКРОВИЩА НИККО**

*Когда любишь красоту снега или красотой луны, слов, когда бываешь потрясен красотой четырех времен года, когда испытываешь благодать от встречи с прекрасным, тогда особенно думается о друзьях: хочется разделить с ними радость.*

Ясунари Кавабата

Любовь японцев к прекрасному, искони свойственный их культуре эстетизм прежде всего проявляются в отношении к природе. Японцы глубоко и тонко чувствуют красоту исхлестанной морским ветром сосны, горного водопада, скалистых ущелий, стаи летящих над рисовыми полями уток. Наверное, именно поэтому в этой высокоразвитой стране с ее гигантскими городами уделяется такое внимание охране природных достопримечательностей. А наиболее излюбленные ландшафты здесь — места поклонения и паломничества, превращенные в национальные парки и заповедники. Горы Хаконэ, с которых открывается неповторимый вид на вулкан Фудзияма; причудливые острова Мацусима, вырастающие из серовато-синего зеркала моря; гористый остров Миядзима, прославленный старинными ториями храма Ицукусима; парки с горячими источниками на о. Хоккайдо — все эти и многие другие места известны не только своими природными достопримечательностями. Здесь в течение столетий создавались памятники ритуальной и светской архитектуры, воспринимаемые нами сегодня как неотъемлемая часть окружающего пейзажа. Наконец, со многими из этих мест связаны национальные празднества, обряды, а порой старинные мистерии и карнавалы.

### **Под сенью вековых криптомерий**

*Не говори ни о чем, что это прекрасно, пока ты не увидел Никко.*

Старинная японская поговорка

Настроение в то раннее сентябрьское утро было превосходным. Его не могла испортить даже серая пелена облаков, скрывавшая небо Токио.

За окнами автобуса торжественно и чинно вышагивали ультрасовременные здания Нихонбаси, позади осталась многолюдная и красочная Гинза, зеленым островком где-то в стороне проплыл знаменитый парк Уэно. Наш автобус направляется к Асакусе — одному из вокзалов Токио. Он не так велик, как Центральный Токийский вокзал, но в этот ранний час шумен и многолюден: к платформам подходят электропоезда и тысячи людей волнами устремляются к выходу. Это служащие и рабочие токийских предприятий, живущие в пригороде.

А вот и наш электропоезд-экспресс. Он доставит нас в Никко — главную цель нашего сегодняшнего путешествия.

Никко — название небольшого городка, расположенного в 135 км к северо-востоку от Токио, и одновременно наименование известного национального парка Японии, который занимает огромную территорию и отличается неповторимыми ландшафтами и пейзажами, это горная страна с величественной снежной вершиной Нантай и знаменитым озером Тюдзендзи, из которого берет свое начало водопад Кэгон. Никко известен всему миру и благодаря тому, что на склонах высоких холмов и на вершинах гор здесь в течение столетий создавались многочисленные буддийские храмы и синтоистские святыни — шедевры древнего и средневекового японского искусства. Здесь же находится усыпальница Иэясу Токугава (1542—1616) — основателя династии сёгунов из рода Токугава, феодальных правителей Японии с 1603 по 1867 г. — и посвященный ему храмовый комплекс Тосёгу (XVII в.).

Но все это впереди, а пока за окнами поезда мелькают деревни, рисовые поля, маленькие городки, снова деревни и снова рисовые поля. Поражает насыщенность и яркость красок: аквамариновое небо, темносиняя черепица домов, сочная зелень полей, белизна чисто выстиранного белья, развевающегося на длинных палках, выставленных прямо из окон домов. На многих полях рис уже убран. Маленькие рисовые снопики издали напоминают пляшущих человечков с поднятыми вверх руками. Там, где созревший рис еще стоит на полях, над ним протянуты металлические нити с разноцветными флажками, которые трепещут от малейшего движения ветерка и охраняют поля от птиц. То тут, то там прямо среди посевов мелькают небольшие земляные возвышения с каменными обелисками. Это родовые погребения. Древний обычай хоронить своих родственников на родной земле, неподалеку от жилищ, сохраняется в некоторых районах Японии до сих пор. Темные обелиски памятников среди зелени рисовых полей — непременная деталь японского сельского пейзажа, символ неразрывной связи ушедших с ныне живущими.

Через час пути равнинные пейзажи стали сменяться горными. Мы приближаемся к Никко. Перед въездом в город дорога идет вдоль узкой аллеи старинных японских криптомерий. Многим из них более 300 лет. Согласно преданию, эти величественные деревья были посажены феодалом Масацуна Мацудайра. Дело в том, что во время строительства храма Тосёгу все феодалы страны должны были вносить свои пожертвования на возведение этого грандиозного памятника. Феодал Мацудайра, гласит предание, был беден, и его жертвование заключалось в том, что в течение 20 лет он приносил сюда саженцы криптомерий и высаживал их вдоль дороги, ведущей к храму. В настоящее время общая протяженность трех аллей криптомерий достигает 38 км, а самих деревьев насчитывается около 16 000. С волнением смотришь на этих зеленых великанов, под сенью которых уже в XVII в. отдыхали путники: крестьяне и воины, ремесленники и принцы. По этим аллеям шествовали красочные процессии, многие из которых запечатлены на цветных гравюрах великих мастеров XVII—XVIII вв.

Столетние гигантские криптомерии отделяют городок Никко от территории храма Тосёгу. Особенно красив этот уголок ранним утром, когда лучи поднимающегося светила проглядывают сквозь листву деревьев и легкий туман.

Наш автобус останавливается у подножия гигантской лестницы, которая ведет к святыням храма Тосёгу. Храм этот был воздвигнут в память Иэясу Токугава. Иэясу избрал Никко местом своего вечного упокоения. Строительство храма начал его сын Хидэтада, а продолжил и закончил внук Иэмицу. Хотя официальная дата создания храма — 1636 г., окончательное завершение комплекса относится к 1647 г. В 1652 г., после смерти Иэмицу, на территории храма был построен мавзолей, получивший название «Тайюин».



Рис. 1. Ворота Карамон храма Тосёгу

Тосёгу — архитектурный комплекс, состоящий из 22 строений, различных по своему стилю и облику. Основные строения комплекса — величественная лестница, гигантские каменные тории, ворота Ёмэймон и Карамон, увенчанные массивными кровлями, а также скромная усыпальница Иэясу — расположены на одной прямой, поднимающейся по склону горы. Это создает впечатление, что архитектурный ансамбль как бы стремительно взлетает ввысь.

Общая площадь, занятая храмом, равна 80 тыс. м<sup>2</sup>. Для создания Тосёгу сюда были призваны известнейшие мастера и художники того времени. Летописи свидетельствуют, что для украшения строений было использовано 2 489 900 пластинок золота, которыми покрыта площадь в 24 тыс. м<sup>2</sup>.

Тосёгу — синтоистский храм, но на его территории буддийские и синтоистские святыни так близко соседствуют друг с другом, а в архитектуре и декоре различных по форме и стилю строений так тесно переплелись приемы различных художественных школ и направлений, что он является, пожалуй, наиболее ярким символом традиционного синкретизма религиозных представлений японцев.

Вот уже много десятилетий Никко занимает значительное место на карте международного туризма. Но было бы ошибкой думать, что Никко посещают только иностранцы. Многочисленные экскурсии японских школьников, студентов, людей среднего и пожилого возраста, отправившихся в путешествие со всеми своими домочадцами, оживляют древние святыни. В руках гидов матерчатые флажки самых разных оттенков. Флажки укреплены на длинных бамбуковых палочках, и, когда надо собрать свою группу, гид поднимает флажок вверх. На лацканах пиджаков, на отложных воротничках рубашек, на кимоно экскурсантов поблескивают красно-белые значки со словом «Никко». Их украшают небольшие ленточки, цвет которых соответствует цвету флажка их экскурсии.

Звонкие, переливчатые голоса нарядно одетых детей; трели красных или зеленых деревянных соловьев-свистулек, которых родители покупают малышам по дороге к храму; мирные, неторопливые разговоры взрослых; хлопки верующих, доносящиеся из синтоистских храмов; чуть глуховатый голос молодого священнослужителя, читающего своим прихожанам проповедь; журчание родника и всплески воды у бассейна, где паломники омыают лицо и руки, — все это в сочетании с солнечным



блеском, яркой зеленью, синевою неба и пьянящим буйством золотистых, красных, голубых и зеленых красок строений сливается в один торжествующий аккорд, имя которому «Солнечное сияние», ибо именно так переводится слово «Никко».

Среди архитектурных памятников Тосёгу наибольшей известностью пользуются ворота Емэймон и Карамон, выполненные в стиле японского барокко. В декоре этих сооружений, пожалуй, наиболее сильно чувствуется влияние китайских образцов. Поражает обилие деталей, украшающих колонны, стены и фронтоны ворот. Кажется, что создатели задались целью не оставить свободным ни одного самого незначительного по величине участка поверхности сооружений. Резные драконы, фениксы, фантастические животные, рыбы и птицы соседствуют с героями



Рис. 2. Изображение трех обезьян. Деревянный барельеф

древней китайской мифологии и истории. Здесь господствуют красный, золотой, белый, синий и черный цвета, которые начиная с XVII в. занимают особое положение в декоре храмов и мавзолеев.

В убранстве этих сооружений храма Тосёгу, несомненно, чувствуется излишнее увлечение деталями. И возможно, есть доля истины в словах чешских востоковедов Яна и Власты Винкельхофер, посвященных Тосёгу: «Тот, кто строил Тосёгу, наверное, хотел бросить вызов богам, хвастаясь богатством, которым он владел. Этой цели он достиг. Но при этом он далеко перешагнул невидимую грань, отделяющую искусство от излишней роскоши, ту грань, перед которой японские зодчие всегда предпочитали остановиться за шаг, боясь ее коснуться»<sup>1</sup>.

Однако в совершенно ином стиле выполнены другие здания комплекса. Вот, например, небольшое строение, известное под названием «Конишня Священной Лошади». В декоре этого здания отсутствуют яркие тона, здесь господствуют черный и темно-красный. Единственное украшение — два ряда барельефов. Так, на одном из них изображены три обезьянки: одна закрыла лапами уши, другая — рот, третья — глаза. Нравоучительный смысл этой сцены связан с буддийской моралью: «Не слышу ничего дурного, не говорю ничего дурного, не замечаю ничего дурного».

В традициях древней японской архитектуры, для которой характерна ясность и простота форм, отсутствие нарочитости и излишеств в декоре, выполнены здания трех хранилищ, расположенных напротив конюшни. Архитектурный облик этих строений вызывает аналогии со знаменитым хранилищем Сёин в г. Нара (756 г.). В декоре превалирует золотисто-красноватая гамма цветов. Здания украшены резными барельефами. На одном из фронтонов Верхнего хранилища мы видим стилизо-

<sup>1</sup> Я. и В. Винкельхофер, Сто взглядов на Японию (перевод с чешского), М., 1968, стр. 69.

ванные изображения двух слонов. Предание говорит, что они были вырезаны по эскизам художника Танью Кано (1602—1674), который в свою очередь воспользовался рисунком из старинной книги.

До сих пор эти строения являются хранилищами церемониальных костюмов, музыкальных инструментов и различной ритуальной утвари, которые используются во время празднеств храма Тосёгу.

В создании мавзолеев Токугава в Никко участвовали живописцы школы Кано — Кано Танью и его братья Кано Наонобу (1607—1650) и Кано Ясунобу (1613—1685), которые были придворными художниками дома Токугава<sup>2</sup>. Предание гласит, что великий живописец Кано Ясунобу нарисовал тушью на потолке одного из помещений святыни серого дракона с открытой пастью. Если в этой комнате кто-нибудь хлопал в ладоши или топал ногой, стены как бы начинали дрожать и казалось, что дракон на потолке рычит...

На строительстве храма в Никко одновременно работали свыше 15 000 рабочих. Строители делились на бригады, во главе которых стояли прославленные мастера<sup>3</sup>. К сожалению, история не сохранила нам имена простых тружеников, которые строили эти великолепные сооружения.

Общее расположение построек храма Тосёгу, высокое мастерство изготовления золотых деталей и использования лака в украшениях архитектурных сооружений, стенная роспись и резьба по дереву — все это делает Тосёгу блестящим образцом зодчества и прикладного искусства Японии начала XVII в. — времени, известного как «период Эдо».

Почти 100 лет назад русский дипломат Григорий де-Воллан, долго живший в «Стране восходящего солнца», писал о Никко: «Гений Японии сказался в этих постройках еще и тем, что для великолепных мавзолеев была избрана самая подходящая местность... Надо отдать японцам справедливость, они великие мастера подготовить вас к восприятию новых впечатлений. Широкая аллея из столетних криптомерий ведет из Уцуномии в Никко. Вы постоянно поднимаетесь в гору... Никко весь окружен горами: что ни шаг, то подъем в гору, террасы нагромождены над террасами, бесконечные лестницы ведут, кажется, к самому небу. По дороге вы любуетесь чудными храмами, которым нет равных по великолепию. Но это не все... Поднимитесь еще выше, и там, где сама природа величава, сурова, неприступна, где столетние кедровые деревья навевают тихую грусть, где среди всеобщего безмолвия только слышен отдаленный шум водопада, там покоится прах великого сегуна. Тут уже все просто, величаво, торжественно. Нет украшений из золота, нет великолепия. Только громадная гробница из камня и бронзы говорит грядущим поколениям о тщете всего земного...»<sup>4</sup>.

#### **«Алая листва в горах осенних»**

*В одном году  
Два раза осень не бывает.  
Ах, красотой осенних этих гор  
Еще мое не насладились сердце,  
А кленов алых срок уже прошел.*

«Манъёсю», кн. 10, песня 2218

Неширокая аллея усыпана мелкими камешками. Они шуршат и скользят под ногами. Многие из проходящих наклоняются, поднимают по нескольку штук и кладут их в каменные светильники, стоящие вдоль аллеи.

<sup>2</sup> «История японского искусства» (перевод с японского), М., 1965, стр. 113.

<sup>3</sup> Там же, стр. 98.

<sup>4</sup> Г. де-Воллан, В Стране восходящего солнца. Очерки и заметки о Японии, СПб., 1903, стр. 248.

На территории храма Тосёгу собрано 102 каменных светильника, 17 бронзовых и два железных. Большая их часть расположена перед воротами Ёмэймон. Светильники были пожертвованы храму различными феодалами. Разнообразные по форме и отделке, эти светильники — настоящие произведения искусства и на многих из них изображен герб рода Токугава — трилистник, заключенный в круг.



Рис. 3. Один из бронзовых светильников храма Тосёгу

Поднимающаяся в гору дорога привела нас к небольшому деревянному зданию синтоистского храма Футаарасан. Согласно легенде, храм с таким названием был построен еще в VII в., но был буддийским. Считают, что первоначально он был воздвигнут на вершине горы Нантай монахом Сёнин Сёдо, который и поныне почитается как человек, «открывший Японии Никко».

В древних преданиях рассказывается о том, что, когда в VII в. Сёдо прибыл в эти места, он заметил на вершине горы Нантай «пятцветные облака». Поняв это как божественное знамение, монах попытался подняться на вершину, но путь ему преградила горная река Дайя. Сёдо стал молиться Будде, прося его о помощи. И вдруг он увидел на про-

тивоположном берегу старца в белоснежных одеждах. Это был Дух змей, по знаку которого две змеи — красная и синяя — перекинулись над бурлящим потоком и образовали своими телами мост. В следующее мгновение этот живой мост покрылся ветками кустарника. Монах переправился на другой берег, достиг вершины горы Нантай и воздвиг там буддийский храм.

Якобы в память об этом событии позднее через горный поток Дайя был перекинут деревянный мост, получивший наименование *Синкё* («Священный мост»). Темно-красные, покрытые лаком перила моста прекрасно гармонируют с черными балками, покоящимися на каменных столбах. Особенно красив этот мост после дождя, когда краски от влаги становятся насыщенными и яркими. Мост Синкё — одна из достопримечательностей Никко — начиная с XVII в. бывает открыт только в дни праздников храма Тосёгу, когда по нему проходят участники торжественных церемоний.

В празднествах, фестивалях и многолюдных процессиях, проводимых ежегодно в Никко, можно наблюдать все тот же синкретизм религиозных представлений японцев, тесное переплетение буддизма, синтоизма, культа предков, а порой и более древних воззрений.

Одним из наиболее грандиозных празднеств храма Тосёгу является фестиваль *Сеннин-гёрэцу* («Процессия, состоящая из тысячи человек»), который проводится в Никко ежегодно 17—18 мая уже более 350 лет, начиная с 1617 г. Первоначально эти многолюдные процессии устраи-

лись с единственной целью — увековечить память о великом сёгуне. 17 мая 1617 г. его тело по мосту Синкё было перенесено в Никко. Однако с течением времени эти празднества превратились в красочные фестивали, в своеобразную форму сохранения традиционных представлений, воззрений, обрядов, старинных танцев, игрищ, развлечений, а также многочисленных атрибутов, разнообразных предметов быта и ритуала (костюмы, музыкальные инструменты, вооружение и т. п.) средневековой Японии.

Фестиваль, проводимый в Никко 17—18 мая, один из самых значительных в современной Японии<sup>5</sup>. Он начинается утром 17 мая, когда красочная процессия, пройдя по мосту Синкё, торжественно подходит к храму Тосёгу. В сопровождении синтоистских священнослужителей участники процессии приносят здесь жертвы духам правителей средневековой Японии. Затем реликвии, связанные с почитанием их культа (бронзовые зеркала), в священных бронзовых паланкинах *микоси* на руках благоговейно проносятся через ворота Ёмэймон и доставляются в храм Футаарасан. На следующий день перед этим храмом устраивается своеобразный парад воинов, одетых в одежды XVII в.: солдаты с алебардами в пластинчатых кольчугах и шлемах, копьеносцы, всадники с луками. В процессии участвуют и 12 юношей, шляпы которых украшены изображением голов животных, входящих в знаки зодиака. Интересна группа мужчин, лица которых скрыты под масками, имитирующими лисьи морды. По традиции эти маски изображают фантастических лисоборотней, которые якобы обитают в горах Никко и призваны охранять Тосёгу и его окрестности. А вот шествуют охотники с прирученными соколами — соколиная охота считалась благородным занятием в феодальной Японии. Конни, флаги, знамена, яркие костюмы — все это многоцветие сливается с призывными звуками барабанов и колоколов. Над головами присутствующих снова торжественно проплывают паланкины с реликвиями храма.

Вечером того же дня толпы людей собираются, чтобы полюбоваться старинными танцами *адзума-асоби* («игры восточной части острова Хонсю») или наблюдать за состязанием в стрельбе из лука конных всадников *абу-самэ*. Эта известная в средневековой Японии игра восходит к периоду Камакура (XII в.).

Многолюдно бывает в Никко и в начале августа, когда тысячи паломников в белых одеждах, простых соломенных шляпах и сандалиях поднимаются к озеру Тюдзендзи для того, чтобы омыться в его холодных водах и посетить буддийские храмы, расположенные по его берегам<sup>6</sup>. В ночь на 3 августа большие группы людей с посохами и факелами в руках поднимаются на священную вершину горы Нантай, чтобы поклониться святыням, там они и встречают восход.

Однако вернемся к синтоистскому храму Футаарасан. Ныне его славу составляют древние танцы *кагура*, исполняемые *мико* — девушками, «посвятившими себя служению богам». Кагура — синтоистские ритуальные танцы, их возникновение относится к первым векам нашей эры. Со временем кагура претерпели большие изменения. Наиболее известны в наши дни танцы *мико-кагура*, исполняемые в храме Футаарасан.

Не спеша усаживаемся на прохладный пол, покрытый золотистыми циновками. Протяжно запели сямисэны. Откуда-то из темноты храма появились тоненькие фигурки в красно-белом. Медленно струятся складки широких одежд, плавные движения танцовщиц вторят древней мелодии. Постепенно ритм учащается. Мико танцуют сначала с веерами, затем с бубенцами. Последним исполняется танец с мечами — движения

<sup>5</sup> Н. Bauer, S. Carlquist, Japanese festivals, N. Y., 1965, p. 33—36.

<sup>6</sup> Гр. де-Воллан, Указ. раб., стр. 250—254; Н. Bauer, S. Carlquist, Указ. раб., стр. 109.

танцовщиц делаются резкими, убыстренными, решительными, а сами они в этот миг напоминают маленьких воительниц.

В седую старину уходит символика многих жестов и движений исполнительниц. Их необычные костюмы и украшения в волосах невольно вызывают ассоциации с образами древних фресок. Когда-то танцы кагура являли собой целые драматические представления, целью которых было обращение к богам с мольбой о мире, благополучии и урожае.

К древним культам природы восходят и такие поэтические праздники японского народа, как любование цветами, символизирующими смену четырех времен года. В наши дни в каждой префектуре страны есть наиболее излюбленные места, где можно наблюдать цветение сливы или сакуры, пионов или ирисов, смотреть на алую листву кленов. Это может быть парк или просто маленький уголок зелени в большом городе, два-три дерева на склоне холма или небольшая поляна цветов у храма.

Любоваться цветами во все времена года люди приезжают и в Никко. В самом конце зимы неподалеку от деревянного строения старинного храма Рицуин (VII в.) первыми зацветают японские сливы *умэ*. В середине апреля сливу сменяет цветущая сакура. Здесь, около Рицуин, есть и 200-летние деревья. Их цветы имеют своеобразный золотистый оттенок. Это особый, редкий вид сакуры — *конгосакура*.

Множество людей приезжает в Никко осенью для того, чтобы наблюдать красоту пламенеющей листвы кленов. Обычай любования алыми листьями кленов, *момидзигари*, восходит к осеннему празднику урожая. Когда-то в старину после уборки урожая жители деревень собирались вместе, водили хороводы, украшали друг друга венками из алых листьев, ветвями кленов убирали свои дома. На этих празднествах складывались песни о красоте природы, о любви. В «Манъёсю» — этом неповторимом памятнике древней японской поэзии — сохранилось немало стихов и песен, связанных с любованием алым цветом осенних лесов, пламенеющим золотом гор. В лирике этих песен-переключек, как высокая и чистая нота сямисэна, звучит тема тоски о любимом друге, вместе с которым хотелось бы любоваться первозданной красотой осени<sup>7</sup>.

Бесконечным серпантинном тянется вверх, все выше и выше к небу серебристая лента шоссе. На высоте 1500 м над уровнем моря в темносинем зеркале озера Тюдзэндзи как бы застыло отражение снежной вершины горы Нантай. Отсюда склоны гор и холмов Никко кажутся чудесным ковром, удивительной золотисто-алой парчой... Здесь с особой остротой постигаешь всю глубину философско-этического эссе «Красотой Японии рожденный» Ясунари Кавабата<sup>8</sup>, в котором есть такие строки: «Снег, луна, цветы, олицетворяющие красоту сменяющих друг друга четырех времен года, по японской традиции олицетворяют красоту вообще: красоту гор, рек, трав, деревьев, бесконечных явлений природы, в том числе и человеческих чувств»<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> «Манъёсю», перевод с японского и комментарий А. Е. Глускиной, т. 2, М., 1971, стр. 230—250.

<sup>8</sup> Ясунари Кавабата (1899—1972) — один из крупнейших японских писателей нашего времени, лауреат Нобелевской премии (1968 г.).

<sup>9</sup> Ясунари Кавабата, Красотой Японии рожденный (перевод с японского Т. Григорьевой), в кн.: Ясунари Кавабата, Тысячекрылый журавль, Снежная страна. Новеллы, рассказы, эссе (перевод с японского) М., 1971, стр. 387—388.

## ПРОБЛЕМЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖРАСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА VIII МЕЖДУНАРОДНОМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ И ЕЖЕГОДНОМ СЪЕЗДЕ АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ В 1974 г.

19—24 августа в Торонто (Канада) состоялся VIII Международный социологический конгресс (МСК). Главная тема конгресса — «Наука и революция в современных обществах». На конгрессе обсуждался широкий круг важнейших проблем общественного развития, связанных с научно-техническим прогрессом.

В конгрессе приняло участие более трех тысяч ученых, представлявших науку 58 стран мира. Наиболее многочисленной была делегация США. Представительной была советская делегация — 82 ученых из различных республик и областей СССР. Делегации других социалистических стран насчитывали от 4 до 30 человек.

Представленные на конгрессе доклады обсуждались на заседаниях различных тематических подразделений. Это были: 4 пленарных сессии, 14 рабочих групп, 10 «круглых столов», 32 исследовательских комитета, 6 симпозиумов, 17 специальных сессий и 18 групп *ad hoc*.

Ученые-обществоведы, принадлежащие к различным направлениям теоретической мысли, высказывали разные, порою противоположные взгляды на социальные последствия научно-технической революции. В то же время возникавшие на конгрессе дискуссии свидетельствовали о все возрастающем влиянии марксистско-ленинского учения на мировую социологическую науку. В ряде выступлений очевидны были попытки буржуазных ученых приспособить отдельные положения марксизма к собственным концепциям. Эти тенденции в западной теоретической мысли проявились и при обсуждении проблем этнического и национального развития народов.

Проблемы расизма, межэтнических и межнациональных отношений занимали в работе VIII МСК более значительное место, чем на предыдущих конгрессах. Это объясняется прежде всего активизацией национально-освободительного движения народов третьего мира и «взрывом» национального самосознания и борьбы за национальные права угнетаемых и дискриминируемых этнических групп внутри развитых капиталистических стран, особенно в США и Канаде. Однако важное значение имела также большая организационная работа, проведенная перед VIII МСК Исследовательским комитетом по расовым и этническим отношениям и положению национальных меньшинств (в материалах конгресса он кратко обозначался как ИК 5), созданным по инициативе Института этнографии АН СССР на VII МСК в Варне. В результате активной переписки между членами Бюро этого комитета, организованной его председателем П. Бесенье (Франция), а затем двух проведенных им же совещаний с большинством членов этого Бюро, присутствовавших в 1973 г. на IX Международном конгрессе антропологических и этнологических наук в Чикаго, была определена тематика и разработана четкая программа четырех заседаний Комитета, успешно проводивших работу на конгрессе в Торонто.

В определении тематики этих заседаний и подготовке для них докладов важную роль сыграл Институт этнографии АН СССР. Специально к конгрессу институтом был опубликован сборник докладов<sup>1</sup>. Он распространялся на заседаниях всех рабочих подразделений конгресса, посвященных национальным и этническим проблемам, и прежде всего на заседаниях ИК 5. В заседаниях этого Комитета активное участие принимали все делегаты конгресса от Института этнографии: Ю. В. Бромлей, Л. Н. Терентьева, Ю. В. Арутюнян, Ю. П. Петрова-Аверкиева, а также специалист по национальному вопросу из Института марксизма-ленинизма М. И. Куличенко.

Первое заседание ИК 5 (19 августа) было посвящено теоретическим проблемам междрасовых и межэтнических отношений. Руководил им Р. А. Шермерхорн (США). В докладах Э. К. Фрэнсиса (ФРГ) «Этноцентризм в этнических исследованиях», Э. Крауэ (Израиль) «Возникновение этнически плюралистического общества и изменения в социальной структуре», С. Смуха (США) «Плюрализм и конфликт — теорети-

<sup>1</sup> «Sociological studies: Ethnic aspects», Moscow, 1974.

ческое исследование» делались попытки весьма абстрактных определений этничности, нации, сущности этнического плурализма, соотношения этнического плурализма и социальных конфликтов. Все докладчики широко оперировали понятием «этничность», но определяли его по-разному.

В докладе Е. К. Фрэнсиса «этничность» признавалась как универсальный принцип социальной организации человечества, проявляющийся двояко: как социальная общность людей, считающих себя потомками общих предков, и как самосознание и солидарность этой группы вследствие веры в общее происхождение. Определения же им понятий «нация», «национальное государство», «национальная культура», «расизм» и др. завуалированно противопоставлялись постановке этих вопросов в советской литературе.

Э. Крауэж, приведя существующие в литературе Запада определения этнического плурализма, развивал затем мысль о его месте в этнической истории человеческих обществ. По мнению докладчика, эта история начинается с этнически гомогенных первобытных, основанных на родстве обществ. На следующем этапе их сменяют общества с пестрым этническим составом (этнически плуралистические общества), которые уступают затем свое место «институционно дифференцированным, но этнически гомогенным обществам». Модернизация и индустриализация, по мысли докладчика, ведут к «деплурализации» этнического состава общества.

В дискуссии по этому докладу Х. Адам (Канада), остановившись на роли урбанизации в «деплурализации» и «детрибализации» этнического состава населения различных стран, подчеркнул важность марксистского учения о базисе и надстройке для изучения этнических процессов.

Доклад С. Смуха содержал отвлеченные рассуждения о соотношении этнического и политического плурализма и их роли в «западной демократии». Выступивший с критикой Н. Ф. Дикки-Кларк (Северная Ирландия), отмечая абстрактность идей докладчика, подчеркнул необходимость конкретных исторических исследований. Принявший участие в дискуссии английский социолог Д. Рекс (избранный теперь председателем ИК 5) с позиций структурного функционализма развивал мысль о «функциональных» и «дисфункциональных» этнических конфликтах. Если межрасовые или межэтнические конфликты не подрывают основ социальной системы, то это, по мнению докладчика, функциональные конфликты (пример этому он видит в конфликте между черными и белыми в США). Если же этническая или расовая группа требует отделения, вступает на путь вооруженной борьбы, то это конфликты дисфункциональные.

В четвертом докладе, заслушанном на этом заседании, «Этнические явления в теории и практике восточноевропейских социалистических стран» З. Страмиска (Франция) попыталась охарактеризовать соотношение между этничностью и распространением власти, между теорией и стратегией в области этнических отношений в СССР, Венгрии, Югославии, привлекая сравнительный материал по этнической ситуации в современном Китае. Докладчица признавала, что в Советском Союзе имеются все возможности для национального развития народов, ибо в этом в СССР видят путь к будущему слиянию народов. В Китае же, по словам докладчицы, Мао, ратуя за консолидацию, не признает права народов на самоопределение. Выступивший в дискуссии Ю. В. Бромлей кратко охарактеризовал национальную политику Советского государства и теоретические подходы и методы изучения национальных проблем в СССР.

Второе заседание ИК 5 состоялось 20 августа и было посвящено проблемам межэтнических отношений в условиях урбанизации. Руководила им Ю. П. Петрова-Аверкиева. На заседании были заслушаны и обсуждены четыре доклада.

Доклад Ю. Нагата (Канада) «Этническая дифференциация в городской торговой общине Малайзии» был построен на эмпирических материалах, собранных ею при изучении сложной в этническом отношении городской общины в Малайзии. Характеризуя происходящие в этой общине процессы ассимиляции, Нагата отметила большую роль ислама, торговли, распространения малайского языка.

Затем выступил Ю. В. Бромлей с обобщающим докладом «Типология этнических процессов», в котором был показан высокий уровень теоретической разработки в советской науке проблем, связанных с этническим развитием народов в условиях научно-технической революции. Докладчик показал, как советские ученые подходят к типологии этнических процессов и определению важнейших из них, таких, как консолидация, ассимиляция, интеграция. Доклад вызвал много вопросов и оживленную дискуссию.

После этого был заслушан доклад Л. Н. Терентьевой «Формирование этнического самосознания в национально-смешанных семьях в СССР», в котором она на конкретном материале своих исследований показала преломление в сфере семейной жизни народов нашей страны общих процессов консолидации социалистических наций и сложения новой исторической общности — советского народа. Доклад заинтересовал многих присутствовавших, о чем свидетельствовало большое количество вопросов.

Четвертым выступил молодой социолог Ж.-П. Зиротти (Франция). Он говорил о влиянии школы и насильственной ассимиляции в условиях урбанизации на группу французских цыган. Докладчик пытался доказать пагубность обучения цыганских детей в школе, потому что оно, якобы отрывая их от привычной этнической среды, вместе с тем не способствует и их ассимиляции в окружающем обществе. В результате возникает группа маргинальных людей, подвергающихся всем связанным с этим бедствиям и в результате деморализованным. Выводы докладчика оспаривались выступившими в дискуссии социологами.

На этом заседании были распространены также тексты двух докладов советских

ученых, не приехавших на конгресс: С. И. Брука и М. Н. Губогло — «Этнодемографические и этнолингвистические процессы в СССР», в котором была убедительно показана важность этих процессов как компонентов интенсивно развивающихся в СССР этнических процессов и прослежена взаимосвязь между этнодемографической структурой населения этнолингвистической ситуацией в различных частях нашей страны; Л. М. Дробижевой — «Межэтнические отношения в условиях урбанизации» (по материалам этносоциологических исследований в Молдавской ССР и Татарской АССР), где прослеживалась динамика межэтнических контактов в различных слоях городского населения в этих республиках, при этом подчеркивалась решающая роль социально-экономической и политической ситуации в установлении этих контактов. Л. М. Дробижева охарактеризовала современные города как своего рода мельницы, перемалывающие этнические различия.

Третье заседание ИК 5 (21 августа) было посвящено теме «Миграции, этничность и расовые отношения». Руководил ею Р. С. Брайс-Ляпорт, социолог из США негритянского происхождения. Большой интерес представлял доклад молодого социолога из США М. Буравого (американца русского происхождения) на тему «Сравнительная система эксплуатации мигрантов-рабочих в ЮАР и Калифорнии». Докладчик подчеркивал необходимость изучения трудовой миграции как определенной системы капиталистической эксплуатации, а не побуждений к миграции и судеб индивидуальных мигрантов, как это имеет место в большинстве исследований. Свой анализ М. Буравой построил на сопоставлении условий труда рабочих-мигрантов на золотых приисках в ЮАР и в сельском хозяйстве Калифорнии. По его мнению, несмотря на различия, существует фундаментальное сходство в системе капиталистической эксплуатации труда мигрантов в этих двух районах капиталистического мира. Различного рода расистские теории и теории «этнического плюрализма» используются, говорил он, в качестве идеологии, прикрывающей классовую сущность положений рабочих-мигрантов.

После обсуждения доклада М. Буравого было заслушано еще четыре доклада: П. Мидоуса (США) «Этнические столкновения и расовые отношения», Д. Бакли (США) «Осадная культура в англо-переселенческих колониях», Б. Рингена (США) «Раса и меритократия», Ч. Онвубу (социолога из Нигерии, работающего в университете Нью-Мексико) «Этническое самосознание, политическая интеграция и национальное развитие», содержавший данные о миграциях хауса, фульбе, йоруба, ибо; Д. Форсайт (негра из Вест-Индии, работающего в Гарвардском университете США) «Участие иммигрантов из Вест-Индии в политической деятельности черных». Последний докладчик говорил о положении иммигрантов из Вест-Индии в США и Канаде, отмечая, что в Канаде отношение к ним лучше, чем в США. Автор отметил, что иммигранты прибывают в эти страны с традиционно-консервативными установками, но постепенно марксисты и активисты вовлекают их в политическую борьбу, связанную с расовыми конфликтами. Выступивший в дискуссии У. Уилсон (социолог негритянского происхождения из США) отметил различие между национализмом негров США и вест-индских черных иммигрантов. На это Форсайт ответил, что черные из Вест-Индии более космополитичны, чем черные США.

Во всех докладах хотя и ставились проблемы адаптации, ассимиляции, аккумуляции, интеграции иммигрантов, но фактические данные свидетельствовали о дискриминации иммигрантов, особенно цветных, и как реакции на нее — росте межэтнических конфликтов, росте этнического самосознания и «черного» национализма.

Ю. П. Петрова-Аверкиева кратко изложила суть двух советских докладов, подготовленных для этого заседания сотрудниками Института этнографии АН СССР: М. Я. Берзиной — «Этническое расселение и процессы ассимиляции» и Л. Н. Фурсовой — «Иммиграция и этнические процессы в переселенческих странах». В этих докладах отражен подход советских ученых к затрагивавшимся на заседании проблемам ассимиляции и интеграции иммигрантов в «принимающем» обществе.

М. Я. Берзина на основе анализа данных канадских переписей проследила тесную взаимосвязь между типом географического расселения этнических групп и процессами ассимиляции.

Доклад Л. Н. Фурсовой был посвящен характеристике тенденций в послевоенной иммиграции в Канаду и роли ее в демографии, экономическом и национальном развитии страны.

Четвертое заседание (23 августа) было посвящено теме «Этнические и расовые отношения и политическая деятельность». Руководил ею франко-канадец Ф.-П. Гинграс. Было заслушано пять докладов. Доклад Ю. П. Петровой-Аверкиевой был посвящен проблеме «Научно-технической революции и судьбы малых народов в условиях социализма и капитализма». С критикой выступила М. Кирхер (Канада), говорившая, о неправомерности противопоставления судеб малых народов в условиях Советского Союза и стран капитализма. Например, в Канаде, утверждала она, малые народы тоже имеют свой литературный язык. Но в ответ на просьбу указать такие народы она смогла назвать лишь франко-канадцев (!). Вообще доклад вызвал оживленную дискуссию, в которой выступили социологи различных политических ориентаций.

После этого были заслушаны и обсуждены доклады: Дж. Рекса (Англия) — «Колониальное общество и расовая политика», Дж. Шеферда (США) — «Вклад неправительственной организации по правам человека в транснациональные мероприятия по апартеиду», Х. У. ван дер Мерве и Б. Киведо (ЮАР) «Установки цветного насе-



ления Южной Африки: современные тенденции в установках и типах контактов белых — черных» и Д. Бэйкера (США) «Формы доминирования в англоязычных фрагментированных обществах». В качестве официальных участников дискуссии выступили Л. Эдмондсон (Ямайка) и Н. Невитт (США).

По окончании заседаний четвертой сессии было объявлено о результатах выборов по почте нового бюро Комитета. Избранными оказались: Дж. Рекс (Англия) — председатель, Р. А. Шермерхорн (США) — вице-председатель, Ю. П. Петрова-Аверкиева (СССР) — вице-председатель, У. Уилсон (США) — секретарь, Р. Хассан (Сингапур), С. Зубайда (Англия) — члены бюро.

С ИК 5 была связана работа двух заседаний Специальной сессии № 16, организованной Ф.-П. Гинграсом на тему «Этнические и расовые расхождения и национальная интеграция».

На первом заседании (20 августа), посвященном общей проблеме «Национальная интеграция в сегментированном и постколониальном обществах», было заслушано шесть докладов: В. Н. Дадриан (США) «Типологический подход к геноциду», А. Мак Клонт Ли (США) «Типы межэтнических конфликтов в Северной Ирландии», У. Вайнстайн и Р. Шайр (США) «Этнический конфликт и задача выживания в Бурунди», С. К. Чаубе (Индия) «Межэтническая политика в северо-восточной Индии», Ман Сингх Дас (США) «Сравнительное изучение межкастовых конфликтов в Индии и США», Ф.-П. Гинграс (Канада) «Политическая борьба и межэтнические контакты: пример, квебекцы — сторонники независимости».

Доклады содержали конкретные описания межэтнических отношений в различных странах.

Теоретическим проблемам было посвящено второе заседание этой сессии, главная тема которой была «Национальная интеграция: теоретические и практические вопросы».

Первыми были заслушаны два советских доклада: Ю. В. Бромлей «Этнос, нация, национальность» и М. И. Куличенко «Этнос и национальная государственность». Ю. В. Бромлей в своем докладе говорил о типологизации этнических общностей советскими учеными. В докладе же М. И. Куличенко речь шла о развитии и формах национальной государственности в СССР и значении последней для этнического развития народов нашей страны. Эти доклады, тематически взаимосвязанные, обсуждались вместе. Они вызвали живой интерес присутствующих, докладчикам были заданы вопросы, уточняющие их общие положения.

Затем Ф. Боргатта (США) выступил с докладом «Концепция обратной дискриминации и равенство возможностей», вызвавшим критику со стороны многих присутствующих, особенно ученых негритянского происхождения. Один из них подчеркнул, что в США нет никакого равенства возможностей, есть лишь конкуренция.

Эмоционален был доклад нигерийки О. Уноканма (училась в ФРГ, работает в США в Бостонском университете) «Расизм, сентизм и культурные предрассудки». Доклад посвящен расовой дискриминации, которой подвергаются черные США. Расизм, по ее словам, впитывается даже в сознание черных, но культивируют его белые. Докладчица подчеркнула, что пора покончить с расизмом во всех его проявлениях.

В докладе С. Фишера (социолога США негритянского происхождения) «Реформа или революция. Альтернативные стратегии борьбы против угнетения небелых в Америке» говорилось, что основная масса черных США относится к классу пролетариата. Докладчик отметил, что К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин раскрыли динамику социальной системы как классовой и подчеркнул, что их анализ этой системы учит классовому подходу в расовом вопросе. Однако, говоря об альтернативе — реформа или революция — в решении расового вопроса, докладчик высказался за реформы, которые допускали бы «вертикальную мобильность», т. е. возможность продвижения негров из класса пролетариев в верхние слои общества. Выступившие с критикой С. Фишера в дискуссии отмечали, что Фишер ратует за сохранение капитализма, хотя и реформированного, а следовательно, за сохранение расизма и неравенства как явлений, порожденных капитализмом.

В подготовленном для этой сессии докладе В. И. Козлова «Этническое самосознание и факторы, его определяющие» говорится о важной социологической роли этнического самосознания, субъективно определяющего объективную принадлежность людей к определенной этнической общности. Докладчик рассматривает основные факторы, под влиянием которых происходит формирование этнического самосознания, в частности этническую среду, национально-политическую ситуацию, религию и др.

Проблеме этнических взаимоотношений были посвящены два заседания (23 августа) специальной сессии «Современное изучение канадского общества». Тема одного из них — «Коренное население Канады». Руководил заседанием известный канадский этнограф Р. Солсбери. Были заслушаны четыре доклада, характеризующие индейскую политику канадского правительства и положение индейцев в современной Канаде (проблемы урбанизации, обучения индейцев, их дискриминации).

Тема второго заседания — «Язык и этничность в канадском обществе». В заслушанных на нем докладах ставились проблемы этнической пестроты населения Канады, перспектив ее национального развития, соотношения канадского национализма и межэтнических конфликтов, воздействия двуязычия на этническое самоопределение.

Вопросам национальных и межэтнических отношений была посвящена также тематика «круглого стола» № 6. С докладами на нем выступили Ю. В. Арутюнян («Современные тенденции в национальной культуре народов») и М. И. Куличенко («Этнос и государственность»). В докладе Ю. В. Арутюняна говорилось о процессах интернационализации культуры народов в условиях научно-технической революции и о методах изучения специфики этих процессов у различных этнических общностей. М. И. Куличенко посвятил свой доклад общей проблеме значения государственности в национальном развитии народов. Советские доклады вызвали живой интерес аудитории.

Таким образом, проблемы национальных, этнических и расовых отношений начинают занимать одно из ведущих мест в работах западных и особенно американских социологов. Большинство представленных на конгрессе докладов содержали описание конкретной этнической ситуации, главным образом в США, ЮАР, Канаде, Англии. В отдельных докладах были попытки психологического объяснения расизма, наряду с этим встречались высказывания о необходимости классового подхода в духе марксизма к анализу расовых и национальных взаимоотношений (например, в докладе негра из США С. Фишера). Но эти высказывания сочетались с реформизмом в разрешении расового вопроса. Характерно также активное участие в заседаниях социологов-негров.

В этой обстановке большое теоретико-познавательное значение имели доклады и выступления в дискуссиях советских ученых — Ю. В. Бромлея, М. И. Куличенко, Ю. В. Арутюняна, Л. Н. Терентьевой и Ю. П. Петровой-Аверкиевой, которые содержали изложение принципов национальной политики Советского государства и теоретических положений марксистской науки по национальному вопросу. В них убедительно показано, что в отличие от межнациональных конфликтов в капиталистическом мире, в условиях социализма идет процесс расцвета национальных культур и братского сближения народов.

При подготовке к IX Международному конгрессу социологов (который предполагается провести через четыре года, вероятно, в одной из скандинавских стран) необходимо иметь в виду чрезвычайную актуальность и остроту этнических и расовых взаимоотношений в современном мире и все возрастающий к ним интерес со стороны социологов Запада. Этнографы, разрабатывающие проблемы национального развития народов мира, должны быть, несомненно, более широко на нем представлены.

\* \* \*

Непосредственно за VIII Международным социологическим конгрессом последовал ежегодный съезд Американской социологической ассоциации в Монреале (25—29 августа). Советские ученые присутствовали на нем в качестве гостей.

В программе заседаний съезда национальный вопрос, проблемы расизма и дискриминации этнических групп занимали одно из ведущих мест. Этим вопросам были посвящены 24 (из 136) заседания, что, несомненно, объясняется сложностью этнического состава населения и остротой национального вопроса в США, Канаде и ряде стран Южной Америки.

Остановлюсь на работе четырех заседаний съезда (№ 9, 17, 78, 126), которые мне удалось посетить. Заседание № 9 было посвящено теме «Американские индейцы в современном обществе». Организатором и председателем был социолог индейского происхождения Х. М. Бар (США). Все четыре заслушанных на заседании доклада были посвящены современному положению индейцев США, причем в двух докладах характеризовались условия жизни индейцев в современных резервациях. В докладе Л. А. Френча (Западный университет Северной Каролины) «Социальные проблемы чирокских женщин: изучение двойственности их представлений о своей социальной роли» излагались результаты полевого работы в резервации восточных чирок в Северной Каролине. Докладчик справедливо охарактеризовал высокий уровень земледельческой культуры чирок в доколониальный и раннеколониальный периоды, когда они жили на юго-востоке современной территории США и насчитывали около 50 тыс. чел. В социальном плане чироки стояли тогда на этапе перехода к классовому обществу. Но в 1839 г. достижения их культуры были уничтожены, чироки были изгнаны из своих домов и этапным порядком переселены на далекий Запад, на индейскую территорию (ставшую позднее штатом Оклахома). На востоке удалось удержаться лишь небольшой группе чирок, насчитывающей ныне около 6 тыс. чел. и живущей в резервации в Северной Каролине. Жизнь их подверглась деморализующему воздействию индустрии туризма, которая обогащает белых дельцов, спекулирующих на бедности и отсталости чирок. Наблюдения Л. Френча приводят его к выводу о двойственности, противоречивости психологических ориентаций современных чирок как маргинального национального меньшинства. Ушли в прошлое их традиционные нормы и образ жизни. В то же время чироки не приспособились к окружающему их обществу, не растворились в нем, ибо на пути их ассимиляции стоят расовые барьеры дискриминации. По мнению докладчика, эта ситуация острее всего сказывается в личностной ориентации чирокских женщин. У мужчин, говорил он, неудовлетворенность неопределенностью положения проявляется во внешне агрессивном поведении — драках, пьянстве, угоне автомобилей. У женщин же она имеет тенденцию

находить выход в сексуальной активности, что ведет к проституции, ранним беременностям, внебрачному материнству, ранним бракам и разводам, безнадзорности детей и в общем итоге к неустойчивости семьи. Автор отмечает, что в возникновении такого положения в резервации повинна деятельность Бюро по делам индейцев федерального правительства США (БДИ), которое, проводя политику опеки над индейцами, внушало им в течение более чем ста лет чувство их собственной неполноценности и зависимости от «опекуна». Однако следовало бы подчеркнуть, что БДИ как «опекун» не только не защитило индейцев от деморализующего влияния белых искателей наживы и острых ощущений, но и всемерно способствовало превращению индейцев в объект спекуляций дельцов от туризма, с которым связано и развитие проституции среди индейских женщин.

В коллективном докладе трех социологов из университета штата Миссисипи Б. Г. Спенсер, Г. О. Уиндхэма и Дж. Х. Петерсона, посвященном анализу данных о профессиональной ориентации индейцев чокто (доложенном Б. Г. Спенсер), говорилось о методах и результатах изучения ими этой проблемы в одной из резерваций чокто в штате Миссисипи в 1973 г. В результате опроса 100% учащихся средней сельской школы в этой резервации и выборочного опроса взрослых чистокровных чокто о престижности 94 профессий исследователи пришли к выводу, что профессиональная ориентация чокто значительно отличается от таковой в среднем по США. Объясняют они это, во-первых, степенью доступности индейцам той или иной профессии и, во-вторых, их традиционной культурой. Общий вывод доклада: школа не готовит индейцев к профессиональному труду, отсюда их низкая квалификация и высокий уровень безработицы. Доклад ставит перед школой и руководством резервации серьезные задачи.

За последние два десятилетия в результате постепенного проведения в жизнь принятых правительством Эйзенхауэра в 1953 г. индейских актов о «релокации» (переселение индейцев из резерваций в города) и «терминации» (прекращение обязательств правительства США как опекуна в отношении индейцев) в США появилась группа индейцев, живущих в городах, составляющая ныне 40% всего индейского населения страны. Бедственные условия, в которых оказались индейцы в городах, привлекают внимание прогрессивной общественности США. Изучением их занялись социологи и этнографы. Поэтому вполне закономерно, что вторая половина заседания была посвящена обсуждению двух докладов о жизни индейцев в городах. Оба доклада построены на конкретных материалах об индейцах г. Сиэтл. В докладе Б. А. Чэдвика и Дж. Стосса «Ассимиляция американских индейцев в урбанизированном обществе на примере Сиэтла», доложенного Б. А. Чэдвиком (социологом из университета Брайхэм Юнг, ведущим свое происхождение от индейцев клаллам), анализировались данные об этнических процессах (и прежде всего о процессах приспособления и ассимиляции индейцев с окружающим населением в городской общине) индейцев. Но в Сиэтле оказались представители 40 индейских племенных групп — как племен, с древнейших времен обитавших на северо-западе Северной Америки (тлинкиты, хайда, цимшиан, селиши), так и из индейских групп других частей страны. Поэтому и в докладе прослеживались процессы сближения индейцев с разными племенными традициями и самосознанием в единую общность индейского национального меньшинства.

Индейцам Сиэтла был посвящен доклад Л. К. Халверсона и Т. Гарроу об экспериментальной программе оказания помощи урбанизированным индейцам в их социальных и правовых нуждах. Л. К. Халверсон (юрист индейского происхождения из г. Сиэтл) обрисовал тяжелую участь индейцев, прибывающих из резерваций в города. Тут они испытывают все беды безработицы, бесправия и дискриминации и образуют самое отчужденное и «безнадежное» национальное меньшинство. Чтобы помочь индейцам, в 1972 г. была создана своеобразная организация, названная «Программа парапрофессиональной индейской службы» (ИСП). Это специально подготовленная группа индейцев, которые мыслились как посредники («ombudsmen») между индейцами и городскими властями, призванные помочь индейцам в использовании своих прав как граждан США и жителей данного города. Особенно полезными оказались здесь юристы. Характеристике деятельности этой «Программы» и была посвящена основная часть доклада. В заключении его говорилось, что деятельность ИПС показала, что и самое отчужденное национальное меньшинство способно выделить из своей среды людей, которые могут помочь ему приспособиться к новой для него городской жизни в рамках установленного порядка. Последние слова можно истолковать, видимо, как выражение мнения докладчиков, что нет нужды для индейцев бороться с этим порядком.

В целом все четыре доклада содержали конкретные данные, говорящие о сложных проблемах адаптации, ассимиляции и урбанизации индейцев в условиях дискриминации. Характерно, что большинство докладчиков — социологи индейского происхождения, воспитанные в духе буржуазных социологических теорий. Все они подчеркивали необходимость помощи попавшим в городские условия индейцам со стороны их образованных собратьев.

Тема заседания № 17 — «Сравнительное изучение расовых отношений». Из представленных шести докладов два были посвящены анализу расовых отношений в ЮАР (П. Уго из Южно-Африканского университета и Э. К. Фрэнсиса из Мюнхена). Последний видит решение расового вопроса в ЮАР в развитии государственности в бантустах.

С критикой положений доклада Фрэнсиса и его книги «Философия безнадежности» выступил Р. Стокс (Массачусетский университет). Он отметил нереальность утверждений Фрэнсиса о развитии бантустанов, ибо в ЮАР для 85% населения под бантустаны отводится лишь 15—16% земли. Большой интерес вызвал доклад Г. Розена (университет штата Калифорния) «Политическая идеология и национальное движение чикано». В нем приведены результаты изучения докладчиком дискриминации американцев мексиканского происхождения (чикано) в Лос-Анджелесе. Докладчик отметил рост их национального самосознания, рассказал об их борьбе против дискриминации, за равноправие в условиях труда, жилья и образования, за право обучения на испанском языке.

В докладе Ф. Ф. Ли (Северо-восточный университет) «Британско-вестиндийские расовые отношения в Бристоле, Англия» говорилось о существовании расизма и дискриминации в отношении цветного населения в Англии. Однако, по мнению докладчика, расовая проблема в Англии не достигнет той остроты, которая имеет место в США. Английское общество докладчик характеризует как общество, в котором ассимиляция происходит легче, чем в США. Вследствие этого нельзя ожидать появления в нем отдельных, отличных от британской, цветных субкультур. Это невозможно также в силу малочисленности цветного населения в Англии и многообразия их традиционных культур. Все они, по мнению Ф. Ф. Ли, постепенно волеются в общее русло британского образа жизни.

Л. Гордон (университет штата Аризона) в докладе «Межгрупповые и внутригрупповые отношения в израильском обществе» говорил об обострении межэтнических конфликтов между арабами и евреями, а также внутригрупповых конфликтов между доминирующим меньшинством ашкенази и составляющими 53% населения Израиля сефарди, что вызывает нестабильность в стране.

В докладе Дж. Конфорти (Рутгерский университет) «WASP<sup>2</sup> в куче хвороста: неравенство и несправедливости в американской этнической экологии» на основе анализа данных о расовых конфликтах на северо-востоке США говорилось о неравенстве и дискриминации различных этнических групп в США: не только цветного населения, но и «белых чужаков», не принимаемых в общество «истинных» американцев, что находит отражение и в «экологическом» расселении различных групп. В докладе развивались заслуживающие внимания этносоциологические положения об этнической иерархии и структуре расизма в США. Но сомнение вызвала основная идея доклада, состоявшая в попытке доказать появление в центральных городах США нового стереотипа расиста из среды наиболее дискриминируемых этнических групп белых (русских, греков, итальянцев, словачков и др.). По мнению докладчика, этнические группы более высокого статуса, будучи территориально и в других отношениях изолированы от черных, могут позволить себе терпимость в расовом вопросе, обвиняя в расизме белых «этников» из групп низкого статуса. Видимо, именно с позиций этой группы белых «более высокого статуса» и выступал докладчик, пытаясь переложить ответственность за белый расизм в США на плечи дискриминируемых этнических групп белых. Выступивший в дискуссии по докладу Ю. Ривера (Техасский университет) отметил, что для понимания «этнической экологии» в современных США необходимо более точное понимание сущности колониализма как идеологии капитализма, а также более четкое разграничение понятий «класс» и «этнос».

Во всех докладах говорилось об обострении межрасовых и межэтнических конфликтов.

Заседание № 78, посвященное теме «Расовые и этнические отношения», проходило под председательством Р. Альвареса (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе). Первым был заслушан доклад теоретического плана, представленный Н. Бенджоурайтис (американкой литовского происхождения из Виргинского университета) и подготовленный ею в соавторстве с Д. Р. Фигиним (Техасский университет в Остине), «Институциональный расизм: обзор и критическая оценка литературы». Доклад был посвящен определению существующего в США «институционального расизма» и анализу его отличия от индивидуального расизма, несмотря на тесную взаимосвязь этих двух видов расизма. Под институциональным расизмом докладчики понимают расизм, вызываемый структурными факторами, расизм, отраженный в бюрократических институтах общества, которые способствуют накоплению неравенства национальных меньшинств. Они критикуют неопределенность, двусмысленность определений и оценок причин и перспектив институционального расизма, посвятившихся в социологической литературе США.

Затем с докладом на тему «Тенденции в расовой дискриминации негров США» выступил А. Шиманский (леволиберальный социолог из Орегонского университета).

На основе анализа данных переписей 1940, 1950 и 1970 гг. докладчик пришел к выводу, что хотя в США еще имеет место значительная дискриминация негров-мужчин в рабочих профессиях, однако после второй мировой войны она значительно ослабела, а в области труда женщин-негритянок почти исчезла. Причину общего улучшения положения негров докладчик справедливо усматривает в упорной борьбе негров с белым расизмом. Со временем, по его убеждению, расовый вопрос среди рабочих США потеряет свою остроту, ибо развитие сознания классовой солидарности преодолет расовое и национальное самосознание белых и негров. Развитию этой солидарности, по словам А. Ши-

<sup>2</sup> Белые англосаксонцы протестанты — стереотип «настоящих» американцев.

манского, способствует деятельности компартии США, направленная на укрепление единства рабочего класса страны. Вместе с тем докладчик считает, что и капиталистические корпорации также ныне заинтересованы в интеграции негров в рабочий класс, тогда как прежде они проводили политику «разделяй и властвуй».

К. Хайяшида (американец японского происхождения из Вашингтонского университета) представил доклад «Сохранение границ в расово-гомогенном обществе: роль системы частных сыскных агентств в Японии». Суть доклада в том, что хотя Япония — расово-гомогенная страна, в ней проживает дискриминируемая группа буракумин — около 3 млн. чел. Они стремятся к ассимиляции, но сыскные службы выявляют их происхождение и тем мешают их ассимиляции.

Доклад Р. Бутш (Рутгерский университет): «Динамика расовой стратификации в США» перекликался с содержанием первого доклада Н. Бенокрайтис и Д. Ф. Фигина. В нем речь шла об институциональном расизме и критиковался господствующий в социологии расовых отношений подход к изучению расизма только как отношений между индивидами или группами людей. Докладчик призывал к изучению структуры расизма, расовой и этнической иерархии в США, которые опосредствуются институтами монополий и бюрократической структурой общества. Он подверг осуждению узаконенную в США практику проведения всякого рода тестов, видя в ней следствие господства расизма, стремление доказать неполноценность черных.

Р. Кернш (университет Темпл) в докладе «Занятия пуэрториканцев и негров» сопоставил положение этих двух дискриминируемых в США народов. Он показал различия между ними в доступе к материальным, социальным и интеллектуальным ресурсам: пуэрториканцы, по данным докладчика, находятся в значительно более дискриминируемом положении, чем негры, но в отличие от последних сохраняют свой язык и национальное самосознание.

После докладов была объявлена дискуссия. Один из присутствующих спросил докладчиков, что нужно сделать для улучшения положения дискриминируемых народов. А. Шиманский ответил, что расизм — порождение капитализма, и единственный путь устранения расизма и угнетения — уничтожение капитализма. По мнению председателя сессии и других докладчиков, капитализм можно сохранить, устранив дискриминацию и эксплуатацию путем реформ и использования машин.

Сессия № 126 была посвящена проблеме «Этнические группы в мультиэтничном обществе: Канада». Председательствовал Л. Дриджер (Манитобский университет).

Тема доклада М. Майкович (японка из университета штата Калифорния) — «Этнические различия в ценностных достижениях: итальянцы, японцы и меннониты Канады». Докладчица пыталась на эмпирически собранных ею данных доказать наиболее высокие достижения японцев. Выступавшие по докладу участники съезда ставили под сомнение надежность данных и выводы докладчицы.

В докладе М. Ланпьера и Р. Морриса (Йоркский университет) «Экономическое положение этнических меньшинств в пяти канадских городах» доказывалось положение о более высоком экономическом статусе новых иммигрантов по сравнению со старой иммиграцией. Докладчики объяснили это молодостью новых иммигрантов. По мнению же выступившего в прениях А. Матейко (канадца литовского происхождения), указанная разница — следствие более высокого образовательного уровня новой иммиграции.

У. Клемент и Д. Олсен (Карлтонский университет) в докладе «Официальная идеология и этническая власть: канадская элита 1955—1973» говорили о преобладании в элите англоканадцев; франкоканадцы только начинают добиваться места в ней, а другие этнические группы в 1973 г. составляли 5—7%.

Последним на сессии был доклад П. Лами (Оттавский университет) «Двуязычие как независимая переменная при исследовании мультиэтничного общества». В нем говорилось о значении языка в этническом самосознании и о роли двуязычия как фактора снижения этноцентризма и ускорения ассимиляции национального меньшинства.

Заканчивая обзор работы заседаний, посвященных этническому и расовым проблемам на VIII Международном социологическом конгрессе и ежегодном съезде АСА, можно сказать, что представленные доклады содержали убедительный материал об обострении национального вопроса в США, Канаде, ЮАР, о развитии в этих странах борьбы угнетаемых национальных групп за равноправие, за свою национальную культуру. Заслуживает внимания и тот факт, что национальный вопрос начал привлекать внимание социологов, которые ныне вместе с этнографами этих стран в полевых условиях изучают «этническую ситуацию» в различных государствах мира. Хотя их доклады, как правило, носят эмпирический характер, однако в них все же были попытки объяснения причин расизма (психологические, классовые), прослеживания общих его тенденций и способов его изживания (путем реформ или, реже, — через революции).

Ю. П. Аверкиева

# МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЫТА И КУЛЬТУРЫ

Этнографы социалистических стран все шире изучают современную культуру и быт, этнические процессы, особенно интенсивно протекающие в условиях научно-технической революции. На конференции в Братиславе в октябре 1972 г., где обсуждался вопрос о месте народных традиций в современных условиях, было принято решение о регулярной организации международных симпозиумов по актуальным проблемам этнографического изучения культуры и быта народов в наши дни.

Первый такой симпозиум, посвященный методологическим проблемам этнографического изучения современного социалистического быта и культуры, состоялся в октябре 1974 г. в Болгарии (г. Приморск, Бургасский округ).

В работе симпозиума приняли участие представители европейских социалистических стран — НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР, СФРЮ, ЧССР.

Было заслушано четыре доклада: В. Д. Хаджиниколова (НРБ) — «О методологических проблемах этнографии современности»; секретаря Бургасского окружного Комитета БКП Г. Томова — «Движение за социалистический быт и культуру в Бургасском округе»; Л. М. Дробижевой (СССР) — «Этносоциологические исследования и методология исследования современной культуры и быта»; А. Пранда (ЧССР) — «Некоторые методологические и методические вопросы этнографических исследований современного быта и культуры».

С сообщениями выступили Л. Дуков, Д. Москова, Р. Пешева, Д. Тодоров, Б. Тумангелов (НРБ); И. Буршта (ПНР); С. Мудиат, П. Новотный (ГДР); Р. Йержабек, Г. Хинкова (ЧССР); П. Влахович, С. Кременшик (СФРЮ); А. Семеркани, М. Шаркани (ВНР).

В центре внимания был ряд вопросов: о предмете этнографических исследований современности, соотношение этнографии с другими общественными науками, основные принципы изучения современной культуры и быта народов, взаимная информация об основных направлениях работы в европейских социалистических странах по этнографическому изучению современности.

В докладе В. Д. Хаджиниколова предмет этнографических исследований определялся как присущие данному народу черты культуры и быта, психологии. В ходе выступлений и в беседах выявилось, что под этнографией современности большинство имеет в виду также изучение этнического своеобразия во всех компонентах этноса, влияние этнических особенностей на участие людей в производственной деятельности и других сферах общения.

А. Пранда обратил внимание на необходимость единого толкования этнически особенного. Уже не раз на международных встречах поднимался вопрос о том, считать ли этнической спецификой только присущие данному народу черты культуры и быта или также специфическое сочетание общих элементов культуры, черт психологии. Поэтому докладчик выдвинул предложение на следующих встречах обсудить понимание этнически общего, особенного, единичного.

Многие выступавшие отмечали, что развитие этнически специфических элементов культуры и быта народов тесно связано с изменениями в жизни этноса в целом (И. Буршта, П. Новотный, С. Мудиат, Г. Хинкова, Б. Тумангелов, Р. Пешева, Л. Дуков, Л. М. Дробижева). Так, особое влияние на этническое развитие оказывают социальные преобразования. Специальные меры социалистических государств, направленные на развитие культуры, урбанизация и индустриализация, научно-технический прогресс существенно воздействуют на быт и культуру в городах и селах. Однако, как отмечалось на симпозиуме, мы еще недостаточно конкретно представляем себе особенности этнических процессов в городских и сельских условиях, в среде рабочих, крестьян и интеллигенции.

При раскрытии взаимодействия этнических изменений с социальными этнографы входят в зоны исследования, пограничные с другими общественными науками и прежде всего с социологией. В докладах на симпозиуме подчеркивалось, что социология и этнография не могут подменить друг друга. Речь может идти о сотрудничестве между ними при изучении смежных зон в жизнедеятельности этносоциальных организмов (В. Д. Хаджиниколов, Л. М. Дробижева). Даже теперь, когда в ряде стран сформировалось или формируется такое направление, как этносоциология современности (НРБ, ПНР, СССР, ЧССР), наиболее эффективными оказываются исследования, где этнографы и этносоциологи, объединяясь в научных коллективах, сотрудничают, а не подменяют друг друга. При изучении этнических процессов, в том числе изменений в отдельных компонентах этноса, этнографы часто сотрудничают с лингвистами, искусствоведами, литературоведами, историками, однако каждый раз они находят свой аспект изучения.

Традиционно-бытовая культура, фольклор в системе современной культуры народов по-прежнему привлекают внимание исследователей. Специальные сообщения на

эту тему сделали на симпозиуме П. Влахович, С. Кременшик, Р. Йержабек, А. Семеркани.

Этническое прошлое воздействует на современную культуру и психологию народов, но степень такого воздействия на отдельные компоненты культуры и быта различна; различна также и мера сохранения этнической традиции в конкретных слоях общества. Для обозначения элементов этнического прошлого, функционирующих в современности, В. Д. Хаджиниколов предложил ввести термин «исторически настоящее» в отличие от «исторически прошлого».

Многие выступавшие обращали внимание на необходимость разработки понятийного аппарата. Г. Хинкова, например, считает, что предметом обсуждения должны стать такие понятия, как образ жизни, уровень жизни, уровень культуры, нация, национальность и др. Наши болгарские коллеги предлагают начать работу над словарем этнографических терминов и посвятить обсуждению понятий, используемых этнографами при изучении современности, одну из очередных встреч.

В ходе обсуждения выяснилось, что в европейских социалистических странах все большее распространение получают комплексные исследования. В одних случаях конкретный объект (например, жители села) изучается группой исследователей-обществоведов, среди которых работают этнограф, фольклорист (об интересных результатах такого исследования на примере одного венгерского села рассказывала А. Семеркани); в других случаях этнографы сами берут на себя изучение не только культурно-бытовых элементов, но и определяющих их социально-экономических условий в жизни сельских коллективов, в частности, материальные условия жителей, миграцию и т. д. (о примере такого изучения сел рассказывал П. Влахович).

М. Шаркани посвятил свое сообщение возможности использования приемов социальной антропологии для изучения этнических общностей. В ходе дискуссии было отмечено, что методика не может быть оторвана от методологии, поэтому и методику социальных антропологов тоже важно воспринимать критически, с марксистских методологических позиций (Л. М. Дробижева, В. Д. Хаджиниколов). М. Шаркани согласился с таким подходом.

Все выступавшие отмечали своевременность проведения симпозиума. Было поддержано предложение А. Пранды организовывать такие встречи не реже одного раза в два года.

Накануне открытия симпозиума, 29 сентября 1974 г. заседал инициативный комитет по этнографическому изучению современности. В комитет вошли представители от 8 европейских социалистических стран. На заседаниях обсуждался статут Международного комитета по этнографическому изучению современности, проект его был подготовлен А. Прандой и Д. Тодоровым. Обсужденный и одобренный инициативным комитетом статут будет разослан для обсуждения в ведущие этнографические институты европейских социалистических стран. До утверждения статута организационную работу будет вести секретариат, в состав которого были избраны представители от НРБ, ПНР, СССР, СФРЮ и ЧССР.

Л. М. Дробижева

## СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКИЙ СИМПОЗИУМ ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКОМУ КАРТОГРАФИРОВАНИЮ

В соответствии с планом советско-финляндского научного сотрудничества с 21 по 29 мая 1974 г. в Хельсинки состоялся симпозиум по этнографическому картографированию. Финские и советские исследователи поделились опытом работы по подготовке историко-этнографических атласов. Этнографы Финляндии ознакомили своих советских коллег с ходом работы над Финским этнографическим атласом, а также с научной и организаторской деятельностью, связанной с созданием общеевропейского Историко-этнографического атласа. Советские этнографы рассказали об организации и основных результатах работы по составлению регионального Историко-этнографического атласа народов Прибалтики.

В программу симпозиума входили 6 докладов финских и 5 докладов советских ученых.

Первое заседание открыл Л. Пости — председатель Совещательной комиссии Института по культурным связям Финляндии с СССР.

Доклады председателей Рабочей группы по научным контактам в области антропологии и этнографии — К. Вилкуна (Финляндия) и Л. Н. Терентьевой.

(СССР) — были посвящены общим проблемам этнографического картографирования. Доклады Т. Вуорела, М. Сармеле, И. Талве, Л. Хонко (Финляндия) знакомили с методикой картографирования и затрагивали вопрос об историко-культурных под областях Финляндии. В докладах Р. Меркене, Н. В. Шлыгиной, И. Лейна-саре, М. Славы (СССР) и Г. Кауконен (Финляндия) анализировался конкретный материал, полученный в результате исследований по избранным темам.

К. Вилкуна в своем докладе охарактеризовал историю составления Финского этнографического атласа, а также первые шаги, направленные к созданию регионального скандинавского, а затем и общеевропейского атласов. Докладчик отметил, что уже в 1890-е гг. по инициативе Финского литературного общества был начат сбор языкового материала и этнографических описаний для большого диалектологического словаря. По инициативе финского языковеда Э. Сетяля был составлен и опубликован вопросник, на который ответили около тысячи человек. Многие из них впоследствии постоянно содействовали сбору диалектологических материалов, составивших огромный фонд словаря. В 1927 г. был основан журнал «Санаастая» («Словарник»), где, в частности, были помещены этнографические вопросники о конной упряжи (К. Вилкуна), о технике строительства крестьянских домов (У. Сирелиуса) и др. Всего вышло 106 номеров этого журнала. На основе всех этих материалов и фонда Национального музея (Хельсинки) были составлены первые этнографические карты.

В ноябре 1935 г. на конгрессе фольклористов в Лунде (Швеция) было выдвинуто предложение о составлении единого для Скандинавских стран этнографического атласа. Уже в 1936 г. была достигнута полная договоренность по вопросам, относящимся к организации этой работы. Однако вскоре выяснилось, что лишь Финляндия и Швеция готовы продолжать начатое дело. После долгих лет кропотливой работы, в 1957 г., вышел первый том — «Атлас шведской народной культуры», — под редакцией З. Эриксона (Швеция). В нем помещены 12 генеральных и 14 вспомогательных карт, на которых отражены явления, распространенные и на территории Финляндии.

Вопросы картографирования разрабатывались и в других странах Европы. Однако фактически сотрудничество осуществилось лишь после второй мировой войны. В 1953 г. в г. Намюре (Бельгия) на конференции Международной комиссии народного наследия было подписано соглашение относительно общеевропейского сотрудничества и создана Постоянная международная комиссия по этнографическим атласам, которая должна была осуществлять руководство работой по планированию и подготовке этнографических карт народов Европы.

С 1964 г. в работе по созданию общеевропейского атласа принимают участие и этнографы СССР. В настоящее время Международная комиссия по этнографическим атласам состоит из 8 членов. С 1967 г. после смерти З. Эриксона ее возглавляет Б. Братанич (СФРЮ)<sup>1</sup>. За истекший период комиссия составила программы и разработала общие принципы картографирования, составила вопросники, определила сроки предоставления пробных карт. В настоящее время она является членом Международной комиссии народного наследия. В заключение Вилкуна отметил значение двадцатилетней деятельности Постоянной международной комиссии по этнографическим атласам.

Л. Н. Терентьева в своем докладе проанализировала опыт советских этнографов по созданию региональных историко-этнографических атласов и особенно атласа народов Прибалтики, который готовят совместно Институт этнографии АН СССР и научные центры трех Прибалтийских республик.

Работа над атласом близка к завершению. В основном закончено составление карт по республикам — Эстонской, Латвийской и Литовской ССР. В настоящее время обобщается материал в целом по региону и составляются сводные региональные карты.

Структура и хронологические рамки атласа народов Прибалтики близки к уже опубликованному атласу «Русские» и региональному атласу юго-запада СССР, который еще находится в процессе подготовки<sup>2</sup>. Для первых выпусков Прибалтийского атласа были определены следующие темы: техника земледелия; поселения и постройки; одежда. Определены три периода, по которым группируется материал: середина XIX, конец XIX — начало XX в. и 1920—30-е гг. Характерная особенность первого периода — развитие в Прибалтике капиталистических отношений при сохранении крестьянством в основном традиционных форм культуры. В течение второго периода, условно охватывающего 1880—1914 гг., крестьянское хозяйство перестраивается на капиталистический лад; этот процесс сопровождается заметной трансформацией форм материальной культуры. Третий период относится к эпохе развитого буржуазного строя. Некоторые карты отражают этнографические явления, характерные для настоящего времени.

В Историко-этнографическом атласе народов Прибалтики, как и в других атласах, которые составляются в СССР, применяется принцип совмещения динамики явлений с

<sup>1</sup> Подробнее о работе этой комиссии см.: С. И. Брук, С. А. Токарев, Проблемы составления европейского историко-этнографического атласа, «Сов. этнография», 1966, № 5; и х же, Международная конференция по этнографическому атласу Европы и сопредельных стран, «Сов. этнография», 1968, № 5; С. И. Брук, Историко-этнографическое картографирование и его современные проблемы, «Сов. этнография», 1973, № 3.

<sup>2</sup> «Историко-этнографический атлас „Русские“», М. 1967; К. Гуслистий, М. Рабинович, Работа над региональным историко-этнографическим атласом Украины, Белорусии та Молдавії, «Народна творчість та етнографія», 1969, № 4.



их количественными изменениями во времени. Для каждого периода фиксируется три вида количественных показателей: преобладающие, бытующие и единичные явления<sup>3</sup>.

Л. Н. Терентьева охарактеризовала проблемы, стоящие перед составителями региональных атласов СССР. Это, прежде всего, соотношение этнических и социальных признаков в явлениях материальной культуры. В процессе подготовки атласов эта проблема в основном решена. Можно считать установленным, что чем более то или иное явление материальной культуры связано с производственной сферой деятельности населения, тем в большей мере его развитие обусловлено общими социально-экономическими, а не этническими процессами. Это отчетливо видно в крестьянских поселениях и в сельскохозяйственных орудиях. В народном зодчестве этническая специфика проявляется значительно шире, но и здесь соотношение этнического и социального довольно сильно варьирует в зависимости от функционального назначения построек. Этнические черты доминируют и отличаются наибольшей устойчивостью в народной одежде.

В своем докладе Л. Н. Терентьева выдвинула и другую важную проблему — о мере совпадения этнокультурных ареалов, выявленных по отдельным элементам культуры. Чтобы решить ее, требуется тщательное изучение истории развития того или иного элемента материальной культуры, а также установление причинной связи с общим ходом развития культуры и экономики. Составителям атласов предстоит еще не раз вернуться к этой проблеме. Сопоставление данных середины XIX в. и более раннего времени по одежде и жилищу народов Прибалтики обнаружило существенные различия в границах ареалов: в более отдаленные эпохи степень совпадения ареалов возрастает; временные изменения в пространственном распространении типов жилища значительно опережают аналогичные изменения в одежде. Были высказаны предположения о причинах указанных явлений.

В заключительной части докладчица коснулась вопроса об общем и особенном в материальной культуре народов Прибалтики и соседних славянских народов. Доклад Л. Н. Терентьевой сопровождался демонстрацией карт.

Т. Вуорела, как бы развивая положения первой части доклада К. Вилкуна, ознакомил участников симпозиума с принципами подготовки Финского этнографического атласа. Он отметил, что работа одновременно ведется по 84 темам, включающим разные стороны хозяйственной жизни и отдельные элементы материальной культуры; готовятся также некоторые терминологические карты.

Доклад И. Талве был посвящен определению территориальных границ распространения отдельных элементов материальной культуры и культурных областей Финляндии. Автор отмечал, что финским ученым за многие годы работы, начиная с середины 1920-х гг., удалось составить много карт, отражающих распространение элементов материальной культуры. Однако составление карт не следует рассматривать как самоцель. Они помогли нагляднее представить исследуемое явление и послужили важным источником для разработки проблемы об этнокультурных областях в Финляндии. В докладе неоднократно подчеркивалось, что для установления границ этих областей порой можно использовать не все картографированные элементы, а только те из них, возникновение и пространственное распространение которых хронологически совпадают.

Веками сложившееся и сохранившееся до начала средних веков неравномерное экономическое развитие западной и восточной частей Финляндии стало основой образования двух основных культурных областей — западной и восточной; граница между ними проходила по реке Кюмиоки, озерам Пайянне, Ювяскюля, Оулу. Различия между этими двумя историко-культурными областями проявляются не только в материальной культуре, но и в фольклорном материале, и в диалектах финского языка. Миграции населения в то время только расширяли границы распространения того или иного элемента народной культуры, не изменяя основных черт этих культурных областей. Для доказательств данного тезиса было продемонстрировано более 20 карт, отражавших локальные черты материальной культуры.

В докладе Л. Хонко отмечалось, что раньше в Финляндии признавали годными для картографирования любые явления культуры, а самую карту без аннотации рассматривали как источник. В настоящее время эти вопросы решаются более осторожно. Ясно, что каждая карта должна иметь не только легенду, но и комментарии о территории распространения картографируемого явления.

Особое внимание Л. Хонко обратил на еще не решенные проблемы. По его мнению, на картах Финского этнографического атласа следует отмечать как границы бытования того или иного явления в прошлом, так и территорию, на которой данное явление сохранилось в настоящее время. По мере возможности следует датировать эти границы. Докладчик затронул также вопрос о том, как отражать на картах связь духовной культуры с общим ходом экономического и культурного развития населения изучаемой территории<sup>4</sup>.

М. Сармеле подчеркнул в своем докладе необходимость отражать на картах этнографические явления в их динамике. Он предложил учитывать при картографиро-

<sup>3</sup> С. И. Брук, М. Г. Рабинович, Историко-этнографические атласы, «Сов. этнография», 1964, № 4; L. N. Terent'eva, Erfahrungen bei der Erarbeitung regionaler historisch-ethnographischer Atlanten, «Studia ethnographica et folkloristica in honorem Béla Gunda», Debrecen, 1971.

<sup>4</sup> L. Honko, Tradition barriers and adaptation of tradition, «Ethnologia Scandinavica», 1973, p. 30—49.

вании экосистему, определяемую им как способ, посредством которого население адаптируется к окружающей среде: физическое приспособление, использование природных ресурсов, регулирование распределения продуктов питания, установление баланса между типом хозяйства и имеющимися ресурсами. Существует тесная связь между экономическими и социальными компонентами экосистемы. Для каждой такой системы характерен специфический социально-культурный климат, своя система ценностных ориентаций, свой фольклор. Докладчик выделяет для Финляндии четыре экосистемы и устанавливает их последовательность: 1) рыболовно-охотничья, 2) подсечно-земледелья, 3) интенсивного сельского хозяйства и 4) индустриальная. По мнению М. Сармеле, каждое историческое явление следует обязательно соотносить с экосистемой, к которой оно принадлежит. Это поможет определить ареал его распространения, время его возникновения, бытования и исчезновения. Как считает докладчик, при картографировании следует учитывать, что крепче всего связаны с экосистемой элементы материальной культуры, затем — социальные отношения и слабее всего — фольклор.

Ценным в подходе М. Сармела является стремление рассматривать картографируемые явления в динамике. Выказанные им положения об экосистемах имеют некоторое сходство с разрабатываемой советскими учеными теорией хозяйственно-культурных типов, отличаясь от нее переоценкой роли географического фактора в общественно-экономическом развитии страны.

Доклад Н. В. Шлыгиной был посвящен крестьянским поселениям Эстонии. Докладчица показала подход советских этнографов к исследованию крестьянских поселений в Прибалтике в целом. В докладе давалась классификация форм поселений, сообщалось о принятых в региональном Историко-этнографическом атласе народов Прибалтики приемах картографирования форм и размеров поселений. Н. В. Шлыгина рассказала о результатах конкретного исследования и картографирования крестьянских поселений на территории трех бывших приходов Эстонии по источникам XVII — начала XX в. На представленных картах детально прослежена трансформация поселений в этих приходах вплоть до каждого обособленно стоящего крестьянского двора.

Доклад Р. Меркене касался ранее мало исследованной темы об эволюции помещений для скота в Литве более чем за четыре столетия (XVII—XX вв.). Доклад был основан на разнообразных источниках, впервые введенных в научный оборот, и сопровождался большим числом иллюстраций и карт. При исследовании учитывалось воздействие этнических и социально-экономических факторов на развитие построек для скота.

И. Лейнасаре посвятила свой доклад технике льноводства в Прибалтике. Вопрос о значении льноводства в экономике России и особенно западных и прибалтийских губерний во второй половине XIX в. подробно не разрабатывался. Не было и детальных карт, отражавших распространение льноводства. В докладе прослеживался процесс интенсификации способов обработки льна и усовершенствования орудий труда. Выявлялись локальные отличия в типах традиционных орудий и приемах работы, обусловленные неравномерностью социально-экономического развития и этническими особенностями выделенных автором регионов.

В докладе М. К. Славы были показаны результаты картографирования одного из древнейших элементов женского народного костюма народов Прибалтики — наплечных покрывал. Были продемонстрированы карты Прибалтийского региона по двум периодам: на середину XIX в. и на конец XIX в. — начало XX в. Сопоставление этих карт дало возможность проследить время развития и исчезновения отдельных типов наплечных покрывал.

Богато орнаментированные наплечные покрывала сохранились до середины XIX в. только у латышей; поэтому была составлена еще отдельная карта по Латвии с выделением типов покрывал по форме, материалу, цветовой гамме и типу украшений. На основании археологических источников в докладе прослежены типы наплечных покрывал, начиная с XII в. Выявленные локальные этнические отличия восходят к прежним племенным образованиям и частично совпадают с границами диалектов балтийских языков.

Доклад Г. Кауконен был посвящен картографированию некоторых древних приемов женского рукоделия: технике вязания одной иглой, вязанию варежек и носков, тканью поясов на дощечках.

На симпозиуме выявились существенные различия в подходе к этнографическому картографированию в СССР и Финляндии. В нашей стране во всех атласах, в том числе и в Историко-этнографическом атласе народов Прибалтики, принят единый принцип показа явлений в динамике с учетом их количественных характеристик.

В Финляндии, как и в ряде других стран, картографирование носило статический характер, что нашло свое отражение и на картах подготавливаемого атласа<sup>5</sup>. Лишь в последнее время отдельные финские исследователи стали критически подходить к прежним принципам (М. Сармеле, Л. Хонко, И. Тальве). Примечательно, что их доклады, особенно доклад Сармеле, вызвали много вопросов, именно у финских ученых, особенно у представителей старшего поколения. Ввиду отсутствия необходимого времени на дискуссию было решено вернуться к обсуждению этих вопросов уже после симпозиума.

<sup>5</sup> Об этом см. С. И. Брук, Указ. раб.

В заключительном слове К. Вилкуна положительно оценил работу симпозиума. Его мнение о желательности созыва в ближайшие 2—3 года симпозиума по проблемам этнографического картографирования, в деятельности которого могли бы принять участие представители всех стран, расположенных в зоне Балтийского моря, было поддержано всеми присутствующими.

Наши хозяева — финские ученые — принимали нас очень гостеприимно. Они создали все условия для того, чтобы члены советской делегации смогли посетить все интересные их научные организации, познакомиться с архивными материалами, осмотреть достопримечательности столицы Финляндии Хельсинки, посетить университетский город Турку.

И. А. Лейнасаре, Р. Р. Меркене,  
Л. Н. Терентьева

## НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ЭТНОГРАФИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА СССР

19—21 марта 1974 г. в Ленинградском отделении Института этнографии АН СССР состоялась научная конференция, посвященная проблемам этнографии Северо-Запада СССР, организованная по инициативе Восточнославянского сектора Института. В конференции приняли участие этнографы, фольклористы, социологи, искусствоведы из Института этнографии АН СССР, Государственного музея этнографии народов СССР, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Ленинградского государственного университета, Института социологических исследований АН СССР (Ленинградское отделение), Института текстильной и легкой промышленности (Ленинград), институтов языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР (Сыктывкар) и Карельского филиала АН СССР (Петрозаводск) и др.

На шести заседаниях конференции было заслушано и обсуждено 26 докладов и сообщений по следующим проблемам: современные задачи и методы этнографического изучения Северо-Запада; этнографическое изучение Петербурга-Ленинграда; этнические процессы, этническая история и этнокультурные связи населения региона; фольклор и народные художественные промыслы.

Современный Северо-Западный экономический район занимает около 7% территории СССР. В нем проживает 5% населения страны. Экономическое значение региона обусловлено как его природными ресурсами (Ухтинская нефть, Печорский уголь, полезные ископаемые Кольского полуострова, лес и т. д.), так и продуктивностью действующих промышленных предприятий разных отраслей промышленности: лесной, горнодобывающей, металлургической и др. Особое место принадлежит Ленинграду с его важнейшим народнохозяйственным комплексом, передовыми отраслями промышленности, наукой и культурой. Под влиянием процессов индустриализации в областях региона создаются новые формы организации труда, возникают постоянные промышленные кадры. Эти явления тесно связаны с бурными миграционными процессами в регионе и его урбанизацией, выражающейся не только в появлении новых городов и поселков, но и в проникновении городского образа жизни в село.

Северо-Западный район занимает важное место в экономике страны. Вместе с тем его территория довольно точно совпадает с ярко выраженной историко-этнографической областью, характеризующейся длительными и разнообразными хозяйственно-культурными контактами между народами разных языковых и антропологических групп. Однако история ее формирования, факторы сходства и различия отдельных форм традиционной культуры, тенденции развития современных межэтнических контактов остаются еще недостаточно изученными.

Интенсивность межэтнических связей Северо-Запада привела к повышению и относительно равномерному развитию полиэтничности, снизившей значение маргинальных этнокультурных процессов. Такая этнокультурная ситуация ведет к росту активного двуязычия, межнациональных браков, сближению бытовых форм культуры в общих условиях урбанизации и модернизации основных форм. Унификация материальной и вытеснение традиционной духовной культуры профессиональными формами приводит к видоизменению этнической специфики, сохранению ее главным образом в языке, самосознании и других явлениях психической сферы. Вследствие этого должна меняться методика этнографических исследований, переориентируясь с прямого наблюдения на латентный анализ.

Указанные методологические предпосылки исследования современных проблем региона были сформулированы во вступительном докладе К. В. Чистова (Ленинград) «Проблемы этнографического и фольклорного изучения Северо-Запада». Кроме того в докладе были поставлены некоторые проблемы этнической истории Северо-За-

пада: а) формирование населения региона (в том числе северорусской группы); б) анализ особенностей развития феодальных и капиталистических отношений на Северо-Западе, специфики форм хозяйствования и обмена как факторов, влияющих на характер быта и культуры; в) установление «исторического возраста северорусской архаики» и ее генетических корней, обусловивших особый эстетический облик традиционной народной культуры Северо-Запада и ее уникальные достижения.

Существенное влияние на экономическое и социальное, в том числе этнокультурное развитие района, оказывают демографические процессы. Некоторые тенденции их связаны с общесоюзными (стабилизация уровня смертности, снижение рождаемости, падение естественного прироста и повышение среднего возраста населения), другие специфичны для данного региона или его частей.

Демографические процессы Северо-Запада рассмотрены в докладах ленинградских исследователей. Так, в докладах В. С. Леонтьева «Проблемы сельского населения Северо-Запада» и В. Б. Табачникова «Проблемы воспроизводства населения Северо-Запада», где были представлены данные по национальному составу населения региона, его образовательному уровню, отмечены различия в коэффициентах рождаемости и естественного прироста по областям и национальным округам. Например, в северных областях, Коми и Карельской АССР эти коэффициенты близки к общесоюзным, тогда как в южных областях региона демографическая ситуация определяется в основном низкой рождаемостью и интенсивными миграциями, что мешает даже простому воспроизводству населения. В отдельных областях и городах диспропорциональна поло-возрастная структура населения (преобладание женщин в Пскове, Новгороде, мужичи — в Череповце и т. д.), что объясняется спецификой размещения производства.

Интенсивный отток сельского населения в города и снижение рождаемости привели к уменьшению значения сельских трудовых ресурсов в качестве традиционного источника покрытия потребностей промышленности в рабочей силе; более того, встает проблема дефицита рабочей силы в самом сельскохозяйственном производстве.

Доклады А. С. Мыльников (Ленинград) «Рукописные источники и проблемы этнографии и фольклора Северо-Запада СССР» и О. Ю. Кобелькова (Вологодская обл.) «История собрания и изучения фольклорных и этнографических материалов по юго-западу Вологодского края» были посвящены источниковедению и историографии Северо-Запада. А. С. Мыльников подчеркнул важность изучения этнической истории Ленинградской области, отметил сложность происходивших здесь этнокультурных процессов в XVII — начале XVIII в. в связи с Северной войной и оккупацией части русских земель Швецией. Докладчик указал на необоснованность бытующей оценки экономического и этнокультурного переворота в жизни края, произведенного строительством Петербурга якобы на неосвоенных «финских болотах». Как свидетельствуют источники, в том числе шведские карты XVII в., в прямом соседстве и непосредственно на нынешней территории города находились не только шведские мызы и финно-угорские поселения, но и русские деревни. В Ленинградской области до сих пор имеется ряд неизученных памятников русской архитектуры, возникших до XVIII в. Докладчиком было приведено много малоизвестных сведений об архивах и частных коллекциях, содержащих ценные источниковедческие материалы; продемонстрировано применение сравнительно-картографического метода для разрешения некоторых вопросов топонимики Ленинграда.

В докладе О. Ю. Кобелькова приводились некоторые новые историографические данные по юго-западу Вологодской области (в частности, Грязовецкого района) как периферии двух древних культурно-исторических зон — Поморья и Центральной Руси. Докладчик показал источниковедческие возможности использования свидетельств путешественников и краеведов, а также церковных документов XVIII—XX вв. Использование ряда новых источников, в частности неизвестной ранее рукописи А. А. Веселовского о Вологодском крае, позволило автору пересмотреть положение о том, что фольклорно-этнографическое изучение края началось сравнительно недавно. Поддерживая старые краеведческие традиции (О. Ю. Кобельков работает учителем в сельской школе), автор сумел обнаружить ценный фольклорно-этнографический материал, сохранившийся на юго-западе области, несмотря на общую урбанизированность зоны.

Сообщение Л. Н. Молотовой (Ленинград) «Опыт работы ГМЭ по оказанию помощи музеям Северо-Запада и пропаганде этнографических данных» было посвящено научно-методической деятельности Государственного Музея этнографии народов СССР. Л. Н. Молотова рассказала о помощи, которую Музей оказывает местным краеведческим и национальным республиканским музеям (в аннотировании и атрибуции экспонатов, оформлении экспозиций и т. п.) — в Старой Ладоге, Лодейном Поле, Сыктывкаре, Кижях и др. Сотрудники этих музеев стажировались в ГМЭ. Музей широко практикует пропаганду этнографических знаний в городах и селах Северо-Запада с помощью передвижной выставки прикладного искусства, лекций и т. д. Важной составной частью деятельности музея является методическая помощь домам культуры и общественным организациям при разработке новых форм обрядности.

Большой интерес участников конференции вызвало заседание, посвященное проблемам этнографического изучения городского населения на материале Петербурга-Ленинграда. Во вступительном слове Н. В. Юхнева (Ленинград) изложила основные принципы этнографического изучения города и показала значение такого рода тематики. Она отметила, что, с точки зрения этнографии, особенно важно показать, какова роль городского населения в этнических процессах, в формировании народности и на-

ции, в складывании национальной культуры и быта. Именно в городах происходило смешение местных локальных культурных форм, переплавление их в общенациональные. В докладе «Национальный состав населения Петербурга» Н. В. Юхнева по материалам петербургских переписей 1869—1910 гг. охарактеризовала национальный состав города и его динамику. Особое внимание она уделила вопросам языковой ассимиляции, для чего использовала метод сопоставления данных переписей о родном языке с профессиональной принадлежностью населения. В докладе приводились также данные о сословно-профессиональных группировках представителей разных национальностей и национальной топографии Петербурга.

Доклад Л. Н. Семеновой (Ленинград) был посвящен анализу генеалогии мастеровых Петербурга (XVIII в.). Автором впервые изучены родословные петербургских казенных мастеровых за XVIII—первую половину XIX в. Показано, как условия жизни мастеровых влияли на состав их семей, а образование, полученное в казенных школах, определяло будущее их детей.

Доклад В. Д. Глухова (Ленинград) был посвящен методологическим принципам изучения образа жизни городского населения. Докладчик поставил перед собой задачу рассмотреть факторы, обуславливающие устойчивость некоторых традиционных форм культуры. Реальной проблемой этносоциологических исследований современного города, по его мнению, должно стать выделение социальных (по потребительским интересам) групп населения, отличающихся по стереотипам бытового поведения.

И. П. Труфанов (Ленинград) в докладе «Жилищные условия населения Ленинграда в период развитого социализма (1959—1970 гг.)» на основе статистических материалов и данных социологических исследований рассмотрел жилищные условия в качестве показателя уровня культуры быта и благосостояния горожан. Докладчик проанализировал темпы роста обеспеченности жильем, изменения в его благоустройстве; он отметил также известную связь обеспеченности жильем с социально-профессиональной принадлежностью людей, и показал факторы, определяющие изменения обеспеченности жильем населения крупнейшего города страны в условиях развитого социализма.

В докладах Л. В. Шаровой (Ленинград) «Культура рабочих легкой промышленности по материалам Ленинграда» и Н. Н. Амосова и О. Ф. Клубникова (Ленинград) «Некоторые черты облика молодого рабочего Ленинграда начала 60-х гг.» были охарактеризованы некоторые черты культуры рабочих различных отраслей промышленности Ленинграда, в частности, показано влияние движения за коммунистический труд и различных видов социалистического соревнования на рост общеобразовательного, профессионального и культурного уровня рабочих.

Большой интерес у участников конференции вызвало выступление Г. Г. Шаповаловой (Ленинград) «Частушки Выборгской стороны», посвященное бытованию частушки в Ленинграде. В наши дни носителями этого жанра являются мигранты из села, составившие своеобразный «фольклорный коллектив» одного из парков города. Сообщение Г. Г. Шаповаловой сопровождалось показом диапозитивов и магнитофонными записями.

Ряд докладов был посвящен современным этническим процессам на Северо-Западе СССР и этнокультурным связям этого региона. В докладе Л. В. Хомич (Ленинград) «Ненцы и коми Кольского полуострова (к вопросу о взаимовлиянии культур)» рассматривались проблемы формирования локальных групп ненцев и коми на Кольском полуострове в районе древнего саамского погоста Ловозеро. В результате длительных контактов (с 1887 г., начала переселения из Нижнего Припечорья) произошло взаимовлияние оленеводческих культур коми-ижмечев, ненцев и саамов, наложившее отпечаток на современное оленеводство Мурманской области. Изменилась этнокультурная ситуация района и этническое самосознание населения (в частности, ненцы, утратив национальный язык, сохраняют ненецкую ономастику и национальное самосознание). Доклад Е. И. Клементьева (Петрозаводск) содержал анализ некоторых факторов, влияющих на национальное самосознание карел. Национальное самосознание выступает как некоторая «результанта» развития социально-этнических признаков. Эмпирический материал, полученный автором путем опроса, демонстрирует повышение неустойчивости национального самосознания у карел вследствие ликвидации социальных различий в разнородной этнической среде и интенсивности культурных взаимовлияний. Отдельные локальные группы карел различаются по степени сохранности традиционной культуры, распространению двуязычия и темпам этнической и языковой ассимиляции. При этом утрата одних этнических признаков вызывает в национальном самосознании тенденцию к их компенсации другими — представлениями об общности исторических судеб, национальных интересов и т. п.

Н. В. Шлыгина (Москва) в докладе «Русские элементы в водской одежде» показала возможности детального анализа традиционной одежды для получения выводов о межэтнических связях и влияниях и попыталась выявить время и причины восприятия водью русских форм одежды.

В докладе Г. Н. Климовой (Сыктывкар) соображались некоторые новые сведения о разнотэтнических компонентах современной культуры коми бассейна р. Летки (на анализе вышивки на сороках и рубахах конца XIX—нач. XX в.). Исследование этой вышивки позволяет, по мнению докладчика, выяснить особенности заселения бассейна р. Летки и этническую историю, населяющей его группы коми.

Несколько докладов было посвящено изучению жилища и народных промыслов Северо-Запада СССР.

В докладе С. Б. Рождественской (Москва) была показана связь региональных особенностей декора жилища с культурно-бытовыми процессами. Особое внимание уделялось характеристике резных украшений деревянного жилища, распространенных на Северо-Западе.

Отмечена устойчивость народной традиции в использовании растительных, антропо- и зооморфных сюжетов. С. Б. Рождественская акцентировала внимание на связи периодов расцвета народного деревянного зодчества с изменениями в социально-экономическом положении крестьян. Установлено взаимовлияние стилей городской и крестьянской традиционной архитектуры рубежа XIX и XX вв., в частности появление псевдорусского стиля в «большой архитектуре», Вологодского «деревянного модерна» и стилизации И. П. Ропета.

В докладе А. Л. Дегайрева (Ленинград) «Поместная усадьба XVI в. на Северо-Западе Руси» дан анализ функциональной структуры помещичьего и крестьянского жилища и показана связь этой структуры с социально-экономическими процессами феодального русского государства.

И. Н. Уханова (Ленинград) в докладе «Художественные ремесла русских XIX—XX вв. на территории Тихвинского и Бокситогорского районов Ленинградской области» сообщила о развитии в этих районах керамического производства (майоликовая посуда, кафели и др.), о прядении и ткачестве, отметив локальные особенности художественных ремесел и характерные черты местных школ.

В. А. Фалеева (Ленинград) посвятила свое сообщение своеобразной коллекции жанровой круглой скульптуры псковского резчика И. И. Палицына, хранящейся в Государственном Русском музее.

Значительное внимание участники конференции уделили проблемам изучения фольклора Северо-Запада страны. Так, доклад С. М. Лойтер (Петрозаводск) был посвящен современному состоянию сказки Пудожского района Карелии, где и сейчас можно встретить сказочников, владеющих большим репертуаром. Пудожская сказка, в отличие от русских сказок Карелии, Поморья, Заонежья представлена в публикациях пока недостаточно. Фольклорными экспедициями последних лет записано семьдесят сказок. Среди них есть не только новые версии известных сюжетов, но и ранее неизвестные.

Сообщение Т. А. Бернштам (Ленинград) «Традиционный праздничный календарь в Поморье» было посвящено особенностям обрядности и фольклора поморов. Изучение народного календаря поморов показало, что в приполярной области, в непривычных для основных масс славянства геоклиматических условиях, непригодных для земледелия, сформировался «неземледельческий» календарь, названный автором «поморским народным календарем». Общерусская земледельческая основа этого календаря осталась неизменной, в то время как промысловая и праздничная его части подверглись изменению. Их трансформация позволяет выделить поморский народный календарь в качестве варианта общерусского и даже севернорусского календаря.

В докладе Н. А. Черняевой (Ленинград) «Эпический кодекс поведения в севернорусской былинной традиции» были освещены проблемы семиотики эпического кодекса поведения в севернорусских былинах о сватовстве и свадьбе. На анализе материала были «Садко» и «Дунай» были показаны вариации положительных, негативных и амбивалентных оценок женских персонажей, связанные с представлениями о женщине как носителнице добра и зла. Отмечена зависимость этих оценок от сюжетной парадигматики (в частности, утрата негативных черт невестой в «зоне жениха» и т. п.).

С. Н. Азбелев (Ленинград) выступил с докладом «Данные о миграции населения Северо-Запада как средство датирования былинных сюжетов и версий», в котором представил аргументацию в пользу новой датировки былинного сюжета «Добрыня и Василий Казимирович» с помощью привлечения данных о миграциях населения Северо-Запада в XV в. Автор не соглашается с В. Я. Проппом и В. Ф. Миллером, датировавшими былинную историю соответственно XIV и XVI вв. Говоря о попытке связать былинных героев с их историческими прототипами, докладчик указал на опосредованность связи былинны с историческими фактами, другими жанрами, живее откликающимися на описываемое в ней событие. Докладчик считает гипотетическим прообразом сюжетной канвы былинны «Добрыня и Василий Казимирович» посольство Захария Тютчева к Мамаю. Сказание об этом событии через столетие было связано с именем Василия Казимира и явилось основой переработки несохранившейся былинны о поездке Добрыни за данью (существование которой признавали Б. А. Рыбаков и Ф. М. Селиванов). Сопоставление этих материалов с данными о датировке поволжской миграции новгородцев (среди которых этот сюжет имел распространение) позволяет автору сделать вывод о том, что основная версия былинны сложилась в 80-е годы XV в.

Богатый сравнительный материал о новых формах советской обрядности был систематизирован в докладе Л. С. Смузина (Ленинград). Докладчик проследил развитие новой обрядности в Ленинградской области с первых лет Советской власти до наших дней.

Конференция продемонстрировала значительный интерес ученых к этнографическим проблемам Северо-Запада СССР и необходимость дальнейших комплексных зональных исследований в научных и прикладных целях.

С 17 до 27 апреля 1974 г. в г. Дилижане (Армянская ССР) работал Второй Всесоюзный семинар молодых фольклористов, организованный Всесоюзной Комиссией музыкального народного творчества Союза композиторов СССР<sup>1</sup>. Цель семинара — совершенствование профессиональной подготовки молодых фольклористов, углубление и расширение знаний, получаемых молодыми специалистами в высших учебных заведениях, приобщение их к актуальным проблемам современной фольклористики.

В работе семинара участвовали 40 фольклористов, прибывших из автономных республик и областей РСФСР, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и с Украины. Наряду с аспирантами и студентами старших курсов среди участников семинара были преподаватели вузов и научные сотрудники исследовательских институтов.

Семинар открыл заместитель председателя Всесоюзной Комиссии музыкального народного творчества Э. Е. Алексеев (Москва).

Лекции, сообщения, дискуссии и консультации были посвящены трем основным темам: 1) теория и практика полевой работы; 2) принципы составления фольклорных сборников и редактирования фольклорных материалов; 3) современное народное песнетворчество и проблемы взаимодействия различных национальных музыкальных культур.

Первой теме были посвящены выступления В. Л. Гошовского (Львов) «Работа фольклориста в поле» и В. Е. Гусева (Ленинград) «Организация и методика фольклорных экспедиций». Докладчики отметили, что собирание фольклорных материалов — важный этап исследовательской работы и указали на необходимость тщательной разработки теоретических принципов и методики полевых исследований. По мнению В. Е. Гусева, в настоящее время принципиальное значение приобретает комплексный метод изучения современного состояния фольклора. Он считает необходимым создавать экспедиционные группы из специалистов смежных областей фольклористики — словесников, музыковедов, театроведов, хореографов, этнографов, диалектологов, социологов. Экспедиции подобного рода призваны фиксировать фольклорный объект во всей сложности его полиэлементной природы и во всех его связях с жизнью и бытом народа. В лекции В. Л. Гошовского подчеркивалась особая роль научной задачи (а также и научной гипотезы), предвещающей собирательскую практику, и освещались особенности индивидуальной полевой работы.

И докладчики, и выступавшие в дискуссии особое внимание уделили вопросам этики, которыми обязаны руководствоваться фольклористы в процессе полевых исследований.

В докладах В. Л. Гошовского «Типы фольклорных сборников», Э. Е. Алексеева (Москва) «Редактирование фольклорных материалов» и Б. И. Рабиновича (Москва) «Нотирование записей музыкального фольклора» рассматривались принципы отбора и систематизации материала в зависимости от поставленной научной задачи и типа сборника (сборники территориальные, жанровые и т. п.), излагались современные требования к научному и справочному аппарату фольклорных сборников. Выступавшие уделили значительное внимание проблеме редактирования фольклорных материалов. Были предложены рекомендации, касающиеся нотирования записей народных песен.

По третьей проблеме с докладом «Современный фольклоризм и современное песнетворчество» выступил В. Е. Гусев. Докладчик обратил внимание на необходимость конкретно-исторического изучения фольклоризма как социально обусловленного процесса адаптации и трансформации фольклора в иных видах культуры, охарактеризовал типы фольклоризма и особенности современного фольклоризма в буржуазном и социалистическом обществе, рассказал о состоянии художественной самодеятельности и о других сферах нового массового песнетворчества.

Большое внимание на семинаре уделялось вопросам межнациональных фольклорных связей. Участники семинара рассмотрели типы взаимодействия фольклора разных этнических групп. В процессе обсуждения выявилась острая необходимость исследования современных фольклорных процессов в условиях развития многонациональной советской культуры.

Помимо предусмотренных программой семинара занятий (лекции, доклады, консультации), в вечерние часы проводилась демонстрация музыкально-этнографического материала, сопровождаемая комментариями. Некоторые выступления — о собирании армянского (А. Пахлеванян) и курдского (Н. Джаури и Д. Джалил) фольклора, об узбекских макомах (О. Матякубова) и другие имели форму научных сообщений.

На семинаре была найдена форма работы, активизирующая творческую инициативу слушателей: симпозиум под руководством В. Л. Гошовского. Там были заслушаны и обсуждены сообщения Я. Мироненко «Межнациональные взаимодействия в обрядовом музыкальном фольклоре», В. Зеленчука «Музыкально-диалектный аспект

<sup>1</sup> Первый семинар проводился в 1973 г. в г. Иванове.

типологической классификации свадебных песен» и др. Большую консультационную работу вели на семинаре Э. Е. Алексеев и Е. В. Гиппиус (Москва).

Активное участие в его работе, кроме названных лиц, приняли А. Гусейнли (Баку), К. Цхурбаева (Москва), А. Иваницкий (Киев), М. Манукян (Ереван), З. Тагакчян (Ереван) и др.

Участники семинара прослушали также лекции Р. А. Атаяна (Ереван) «Творчество гусанов армянского средневековья» и Т. Е. Саркисяна (Ереван) «Историк и фольклор», а также ознакомились с памятниками культуры древней Армении.

Семинар оказался хорошей формой общения специалистов разных поколений и способствовал творческому обсуждению проблем, волнующих советских фольклористов. Инициатива Всесоюзной фольклорной комиссии заслуживает поддержки нашей научной общественности. Желательно, чтобы семинар проводился систематически, местом его работы были разные республики, а круг лекторов и консультантов расширялся за счет крупнейших советских ученых — этнографов, фольклористов, лингвистов, искусствоведов.

**Е. И. Мурзина**

## КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ

В июле 1974 г. кафедра русской литературы Горьковского Государственного университета им. Лобачевского, в течение ряда лет изучавшая фольклорную традицию в бассейне реки Ветлуги, начала исследование фольклорного репертуара на территории, примыкающей к Поветлужью. Группа студентов под руководством автора настоящей заметки работала в Шарангском районе Горьковской области. Этот район Заветлужья, граничащий с Кировской областью и Марийской АССР, в прошлом административно и экономически был связан с Вяткой.

Фольклористы обследовали 12 деревень Старо-Рудкинского сельсовета (Старая Рудка, Николаевские, Торопово, Копытёнки, Барышниково, Сысуи, Танайка, Лаптево, Суслово, Чезганы, Щокотово и Новоселово).

Сделано свыше 1500 записей. Среди них около 1000 частушек и 230 песен (романсы, свадебные, протяжные, любовные, семейные, хороводные, плясовые, в небольшом количестве песни Великой Отечественной войны и переделки песен советских композиторов). В отличие от Поветлужья старинные баллады и исторические песни здесь не сохранились.

84 номера — материалы по календарной обрядности: описание святочных «беседок» с играми, гаданий, празднования масленицы; записи приговоров и игр во время качаний на качелях на пасхальной неделе; несколько разрушенных текстов колядок и песен, исполнявшихся во время сбора «крестиков» в середину великого поста, приметы.

По сообщениям информаторов разного возраста, сделано 11 описаний свадебного обряда, отражающих развитие свадебной обрядности с 20-х годов XX в. до наших дней; записано 18 свадебных причитаний. Собран интересный материал о знаменитых в последние 50 лет в данной местности дружках, режиссерской роли их на свадьбе, о формировании их репертуара и способах его передачи своим ученикам и т. п. Эти сведения были получены от бывшего

дружки-профессионала Ефремова С. Л. (84 лет) и от его односельчан. Записаны 28 приговоров дружки.

Сделаны 80 записей детского фольклора: описания детских игр (30 номеров), тексты считалок (21 номер), дразнилок, страшилок, колыбельных песен и потешек (29 номеров).

Сказочная традиция в исследуемом районе явно затухает: удалось записать лишь 10 сказок (от одного сказочника), 8 быличек, 10 преданий (о ратной тропе Ивана Грозного, окладах и топонимические, связанные с первопоселенцами).

Часть записей была сделана с помощью магнитофона.

Обследованный район по фольклорному репертуару, диалекту и ряду этнографических признаков существенно отличается от Поветлужья.

Собранные материалы хранятся в фольклорном архиве кафедры русской литературы Горьковского университета и будут использованы при картографировании фольклора Горьковской области.

**К. Е. Корепова**

\* \* \*

С 3 июля по 9 сентября 1974 г. одна из групп Северо-Восточного отряда Северной экспедиции Института этнографии АН СССР работала в Чаунском районе Чукотского национального округа Магаданской области (места расселения тундровых чукчей).

В группу входили сотрудник Института этнографии М. Я. Жорникая (руководитель группы), сотрудник Института археологии и этнографии Академии наук Армянской ССР Ж. К. Хачатрян, сотрудник ВГИКа А. В. Дудов, выполнявший обязанности кинооператора.

Члены экспедиции работали в поселках Янранай и Рыткучи, на мысе Шелагский, острове Айон и среди шести оленеводче-



ских бригад в Усть-Чаунской и Айонской тундрах. Они собирали материалы по теме «Народное хореографическое искусство коренного населения Северо-Востока Сибири», а также по материальной культуре и современному быту коренного населения обследуемого района.

На основании материала, собранного по традиционным танцам у тундровых чукчей, можно сделать вывод о том, что эти танцы распространены в определенном ареале и отличаются от танцев береговых чукчей и эскимосов. Все эти танцы импровизационные, сопровождаются гортанным пением. Как у береговых, так и у тундровых чукчей зафиксирован материал, свидетельствующий о зачатках театрализованного представления (театрализация сказов и рассказов с использованием различных образительных средств для передачи сюжета). Впервые зафиксирован экспедицией обрядовый танец, исполнявшийся вокруг очага в последний день праздника «Ненрируна», посвященного возвращению охотников со стадом с летовки и окончанию забоя телят. Собраны интересные сведения по народным играм и позам, выявлены и записаны некоторые танцевальные термины на чукотском и русском языках. Члены экспедиции изучали современные чукотские танцы, имеющиеся в программе коллективов художественной самодеятельности, а также фиксировали современные танцы, исполняемые на вечерах в клубах.

Запись народных танцев вела Ж. К. Хачатрян по методике С. Лисициан. Материал по традиционным танцам, фрагменты обрядов праздника «Ненрирун» отсняты на кино- и фотопленку. Танцевальные и песенные мелодии записаны на магнитофон. Собранный материал хранится в архиве Института этнографии АН СССР, а также в архиве Института археологии и этнографии АН Армянской ССР (на армянском языке).

**М. Я. Жорницкая**

\* \* \*

В июне — сентябре 1974 г. Антропологический отряд Чукотской экспедиции Института этнографии АН СССР продолжил антропологические исследования, начатые Институтом в 1970 — 1971 гг.

В состав отряда входили: сотрудники отдела антропологии Ин-та этнографии Т. С. Балуева и Н. А. Никольская, сотрудник Института физиологии детей и подростков Академии педагогических наук СССР Т. В. Панасюк, студенты-дипломники МГУ А. В. Гельфер и В. Н. Соловьев.

Антропологический отряд обследовал 381 человека (369 чукчей, 9 человек, родившихся от брака русских с чукчами, 3 науканских эскимоса). Работа проводилась в селах Нешкан и Энурмино Чукотского р-на Магаданской области. Кроме того, в Нешканской и Лоринской тундрах были обследованы 6 оленеводческих бригад.

В программу исследований входили: соматометрия и соматоскопия, кефалометрия и определение пигментации с помощью шкал, антропологическое фотографирование, взятие отпечатков зубов и оттисков кожного рельефа, определение групп крови по системам АВО, MN, Льюис, Р, резус, тест вкуса фенилтиокарбамида. Собирались сведения по демографии изученных групп. Была пополнена краниологическая коллекция древнего и современного населения Чукотки.

Окончив работы на Чукотке, отряд уехал во Владивосток. Здесь члены экспедиции исследовали коллекцию черепов, хранящихся в Институте истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения АН СССР, и кроме того, реставрировали и измерили 4 неолитических черепа из пещеры «Чертовы ворота».

Собранные материалы хранятся в архиве отдела антропологии Института этнографии АН СССР.

**Т. С. Балуева, Н. А. Никольская**

## **КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ**

### **НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМАХ ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ ТУРКМЕНСКОЙ ССР**

А. Оразов, Хозяйство и культура населения северо-западной Туркмении в конце XIX — начале XX в. (историко-этнографический очерк), Ашхабад, 1972, 131 стр.; А. А. К а н о д а, Переселенческие поселки в Закаспийской области (конец XIX — начало XX в.), Ашхабад, 1973, 90 стр., карты; сб. «Очерки по истории хозяйства и культуры туркмен», Ашхабад, 1973, 165 стр.; А. Н. Пиркулиева, Домашние промыслы и ремесла туркмен долины Средней Амударьи во второй половине XIX — начале XX в., Ашхабад, 1973, 84 стр.

В течение ряда лет этнографы и историки республик Средней Азии и Казахстана совместно с учеными Москвы и Ленинграда работают над созданием историко-этнографического атласа указанного региона. Один из основных разделов работы — «Хозяйство» — требует для своего решения усилий большого авторского коллектива ученых, собирающих полевые материалы, обобщающих литературные и архивные данные. Результаты полевых исследований с привлечением материалов архивов и литературы публикуются в сборниках, монографиях и т. д., что позволяет использовать их затем при составлении карт и объяснительных записок в атласе. К такого рода работам принадлежат рецензируемые книги. Все они в той или иной степени освещают отдельные виды хозяйственной деятельности различных групп населения Туркменистана, дают богатый материал для истории культуры и этногенеза туркменского народа.

Книга А. Оразова «Хозяйство и культура населения Северо-Западной Туркмении в конце XIX — начале XX в.» состоит из трех глав, введения и заключения. В ней характеризуются некоторые стороны хозяйства и быта одной из групп туркмен-иомутов, территориально обособившейся в XIX в. от своих соплеменников, живущих на обширных пространствах Западного и Северного Туркменистана. Эту группу, расселившуюся к северу и востоку от Балханских гор, А. Оразов назвал «прибалханскими» туркменами, что в общем смысле правильно и отмечалось также в географической и сельскохозяйственной литературе. Задачей данной работы, как ее формулирует сам автор, «является изучение на основе этнографического и архивного материала с привлечением литературных данных проблем этнической истории, племенного деления и расселения прибалханских туркмен в конце XIX — начале XX в., их хозяйства, а также семейного быта» (стр. 6). Соответственно этой задаче в первой главе рассматриваются история формирования, этнический состав, племенное деление и расселение прибалханских туркмен. Следует отметить, что они совершенно однородны по родо-племенному составу, материальной и духовной культуре с основной массой населения Западной Туркмении и составляют лишь часть населения этой обширной территории. Во второй и третьей главах характеризуются скотоводческое хозяйство, ремесла и домашние промыслы этой группы туркмен, а также семья и семейный быт, свадебные обряды и обычаи.

В основу монографии положены богатые полевые этнографические материалы, собиравшиеся в течение многих лет автором сначала в составе Туркменской этнографической экспедиции МГУ, а затем в командировках и экспедициях, организованных сектором этнографии Института истории им. Ш. Батырова АН Туркменской ССР. А. Оразов обстоятельно изучил также материалы Центрального государственного архива МВД Туркменской ССР, дореволюционную и советскую литературу, относящуюся к этому и смежным районам республики.

Всесторонне исследованы в монографии многие вопросы скотоводческого хозяйства — его характер, годовой цикл, перекочевки, виды и породы скота, скотоводческие сезонные работы и т. д. В специальных разделах рассматриваются система пользования и владения пастбищными угодьями и водными источниками, скотоводческие объединения и общественная организация скотоводов. Довольно подробно характеризуются семья и свадебные обычаи у иомутов, причем использован большой литературный

материал дореволюционных авторов, писавших о западных иомутах в целом (К. К. Бодэ, М. Н. Галкин, П. И. Огородников и др.).

Как известно, вопросы социально-экономического развития народов Средней Азии и Казахстана и, в частности, роль земледелия в хозяйстве скотоводов (или скотоводства в земледельческом хозяйстве), роль патриархально-родовых пережитков в общественном строе этих народов сохраняют свою актуальность и являются предметом научных дискуссий в советской исторической литературе в течение почти двух десятилетий. Определенным этапом в исследовании социально-экономического развития среднеазиатских народов явилась Ташкентская сессия 1954 г., посвященная истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период. В результате острой дискуссии, развернувшейся там и выявившей отсутствие единой точки зрения на степень социально-экономического развития народов этого региона, стала очевидной необходимость дальнейшей разработки этой проблемы, ее конкретизации для отдельных среднеазиатских народов.

Эти вопросы освещены в ряде статей и монографий советских исследователей<sup>1</sup>, не обойдены они и в рецензируемой книге. В специальных разделах работы рассматриваются система пользования и владения пастбищами угодьями и водными источниками, скотоводческие объединения и общественная организация скотоводов.

Подавляющее большинство исследователей, изучавших проблемы социальных отношений в дореволюционном туркменском ауле, приходит к мысли о том, что в туркменском обществе классовое расслоение было довольно значительным, что существовала частная собственность не только на пахотные поливные земли в оазисах, но и на колодцы в пустыне. Владельцы колодцев — баи и зажиточные скотоводы — имели возможность держать в повиновении основную массу рядовых скотоводов, не владевших колодцами и нуждавшихся в воде для скота. Известно, что пастбище, расположенное на расстоянии одно-двухдневного перегона от водопоя, представляет ценность только в течение короткого в Туркмении зимнего периода, когда скот подолгу может обходиться без воды.

Меньшее число исследователей считают, что туркмены до присоединения к России были очень слабо классово дифференцированы, а скотоводы вообще отставали в своем социальном развитии от жителей земледельческих оазисов, поэтому все источники воды в пустыне, так же как и пастбища, были общинной собственностью. Дискуссионность проблемы требует тщательного анализа вопросов, связанных с социальными отношениями. Между тем автор рецензируемой книги, касаясь этой проблемы, выражает свои взгляды весьма нечетко и подчас противоречиво. На основании большого полевого материала (к сожалению, в этих разделах не использован совершенно литературный материал) он приходит к заключению, что у скотоводов Прибалханы в конце XIX в. существовала частная собственность на водные источники, но уже следующая фраза в значительной степени противоречит этому выводу: «Как видно из вышеизложенного, в Прибалханы в конце XIX в. водные источники (колодцы и хаузы) были частной собственностью. Однако в большинстве своем (здесь и далее выделено мною, — Г. В.) они находились в общемном пользовании кочевых групп — оба, родственных семей и др.» (стр. 56). Несколько ранее он пишет: «Колодцы в большинстве своем находились во владении частных лиц из числа богатых и зажиточных скотоводов. Колодцы считались „мюльком“, т. е. собственностью тех, кто ими владел... Хозяева колодцев могли их продать, подарить кому-либо и т. д.» (стр. 53, 54), «Плату за пользование водой из чужих колодцев не брали, но люди, пользовавшиеся чужим колодцем, в отдельных случаях обязаны были помогать его владельцу» (стр. 54). Мы не найдем ясной характеристики социальных отношений и там, где автор говорит о составе стада и о социальных категориях скотоводов: «Естественно, что бедные скотоводы оказывались в некоторой экономической зависимости от богатых хозяев, которые при перекочевках давали им верблюдов и позволяли пользоваться колодцами. За это бедные скотоводы работали в хозяйстве своих богатых родственников» (стр. 75). Очевидно, что эта зависимость была в достаточной степени велика. Приходится сожалеть, что А. Оразов дает в книге характеристику только скотоводческого хозяйства туркмен Прибалханы (небольшой раздел о ремеслах помещен в конце главы) и лишь одной фразой в начале главы (стр. 42) упоминает о существовании в этих районах земледелия. Обходя молчанием характер земледельческого хозяйства, автор не делает ссылки на свою статью, посвященную характеристике земледелия прибалханских туркмен<sup>2</sup>. То обстоятельство, что земледелие в этих районах было весьма незначительным и носило вследствие неблагоприятных условий подсобный характер, не может служить оправданием этого упущения автора. Следует отметить, что прибалханские туркмены, обособившиеся в начале XIX в. от своих сородичей, продолжавших вести кочевое скотоводческое хозяйство к югу от железной дороги, совершая перекочевки на значительной территории, представляли, пожалуй, наиболее отсталую в экономическом отноше-

<sup>1</sup> Об этом подробнее см.: М. Аннанепесов, О двух концепциях, в изучении хозяйства туркмен в XVIII — первой половине XIX в., «Известия АН ТуркмССР», серия обществ. наук, 1968, № 1, стр. 80—90.

<sup>2</sup> А. Оразов, К вопросу о земледелии прибалханских туркмен в конце XIX — начале XX в., «Известия АН Туркменской ССР», серия обществ. наук, Ашхабад, 1960, № 1, стр. 53—61.

нин группу иомутов, перешедших к кочеванию лишь в небольшом радиусе из-за отсутствия у них верблюдов и малого количества мелкого рогатого скота. Прибалханские иомуты являли собой пример типичных полукочевников, сочетавших скотоводство с земледелием на богарных и плохо обеспеченных водой поливных землях и ремеслами.

Нечеткая характеристика социального строя и некоторые другие менее значительные недостатки в целом интересной книги отчасти объясняются, как нам кажется, необоснованным обособлением этой локальной группы туркмен-иомутов от соплеменников, живущих южнее, желанием доказать их этнографическое своеобразие. Это приводит к тому, что хозяйство и социальные отношения туркмен Прибалханья рассматриваются в отрыве от социально-экономических отношений их южных сородичей, с которыми они были тесно связаны. А. Оразов делает вывод о том, что среди прибалханских туркмен не было очень богатых скотоводов (стр. 74), не объясняя, что богатые скотоводы обычно не все время кочевали в пределах исследуемого района, а уходили на зиму на Атрек и Гюрген; постоянными же обитателями Прибалханья были средние и бедные скотоводы, не имевшие достаточного количества верблюдов и мелкого рогатого скота, чтобы совершать большие перекочевки.

Глава III — «Семья и семейные отношения...» содержит интересный, во многих случаях оригинальный материал, характеризующий отношения в семье, свадебные обычаи данной группы иомутов, обычай выделения женатого сына, право наследования и т. д. Однако и в этой главе автор не избежал тенденции к обособлению и выделению прибалханских туркмен, хотя большой литературный материал дореволюционных авторов, привлекаемый в работе, касается всех западных иомутов. В частности, на стр. 98 он пишет «Свадебный обряд иомутов — ак-атабайцев и джафарбаевцев, населявших прибалханские районы, отличался некоторыми чертами не только от обрядов, бытовавших среди туркменских племен (как будто иомуты не были туркменским племенем! — Г. В.), но и у их сородичей, — оседлых джафарбаевцев прибрежных рыболовецких селений Челекена, Чикишляра, Гасан-кули и т. п.». Но, отсылая читателей к работам М. Муратова и А. Джикиева, А. Оразов не указывает, что эти особенности характерны не для иомутов-джафарбаевцев, а для туркмен-огурджали, у которых живущие рядом с ними на побережье оседлые иомуты-джафарбаевцы восприняли эти обычаи, и что обычаи их родственников-скотоводов ничем не отличаются от приводимых А. Оразовым в книге. Обидно, что, используя такую большую литературу, автор рецензируемой книги не привлек интересную статью С. Н. Иомудского «О пережитках родового быта у скотоводов Западной Туркмении в XIX в.»<sup>3</sup>, в которой на материалах тех же районов, но для более раннего периода, рассматривается характер семьи у иомутов-скотоводов и обычай выделения женатого сына из отцовской семьи.

Несмотря на указанные недостатки, книга А. Оразова интересна и очень важна, так как является еще одной ступенью в исследовании хозяйства и быта туркменского народа.

Вторая рецензируемая работа — небольшая книга Н. Н. Каноды «Переселенческие поселки в Закаспийской области» — посвящена интересной и еще никем не затронутой теме — переселенческой политике царизма во вновь присоединенных к России районах Средней Азии, истории возникновения поселков в Закаспии, характеру хозяйства и его формам у переселенцев, показу исторических последствий переселенчества.

Для того чтобы написать эту работу, автору пришлось основательно изучить документы архивов и использовать большую литературный материал, главным образом «Обзоры Закаспийской области». Н. Н. Канода, проявляя глубокое знание работ В. И. Ленина и широко используя его «Развитие капитализма в России» и другие работы, с марксистских позиций раскрывает социально-экономические корни переселенческой политики.

Работа состоит из трех глав, введения и заключения. В приложении к книге даны три карты-схемы расположения поселков: земельцевских и рыболовецких. Н. Н. Канода прослеживает историю поселков с основания до Великой Октябрьской социалистической революции. Первые два рыболовецких поселка в Закаспии возникли в середине XIX в. задолго до присоединения Туркмении к России. Они были основаны казаками на Мангышлаке. Земельцевские поселки появились уже после присоединения Туркмении к России. В работе подробно характеризуется национальный, религиозный, сословный состав населения переселенческих поселков, прослеживаются основные этапы переселенчества, возникновение вторичных поселков и хуторов. Чрезвычайно обстоятельно рассматриваются административное устройство и управление поселками, права и обязанности переселенцев, их хозяйство, социальное расслоение, налоги и повинности, наконец, участие в революционной борьбе начала века и революции.

Наибольший интерес представляют разделы, в которых рассматривается хозяйство переселенцев, — земледелие (полеводство, садоводство, огородничество) и животноводство в новых для них природных условиях, формы землевладения, сельскохозяйственные орудия, рабочий скот. Отдельная глава посвящена историческим последствиям переселенчества и хозяйственному взаимодействию переселенцев с коренным населением области.

<sup>3</sup> С. Н. Иомудский, О пережитках родового быта у скотоводов западной Туркмении в XIX веке. «Сов. этнограф», 1962, № 4.

Подробно пишет автор о трудностях, с которыми столкнулись переселенцы в новых для подавляющего большинства их природных условиях, с необходимостью освоения новых форм хозяйства. Н. Н. Канода отмечает, что переселенцы не умели обрабатывать поливные земли и лишь через несколько лет поняли, что в этих условиях необходимо сочетать способы земледелия, применяемые в России, с местными (стр. 43).

На богарных землях вести хозяйство было легче, так как способы обработки земли были «ближе к привычному труду на родине» и, хотя урожай здесь был ниже, чем на поливных землях, но и труда приходилось затрачивать значительно меньше.

В конце 90-х годов у переселенцев главным образом в Ашхабадском и Каракилинском приставах на орошаемых землях стало развиваться хлопководство, а к началу первой мировой войны за счет развития хлопководства и бахчеводства орошаемое земледелие у переселенцев стало уже преобладающим (стр. 52).

Животноводство, отмечает автор, развивалось в этих местах гораздо успешнее, чем земледелие, так как спрос на его продукты был значительным, а горные покосы обеспечивали кормовую базу. В стаде преобладали крупный рогатый скот, но в некоторых поселках имелось в большом количестве и овцы, разводимые переселенцами на откорм (стр. 56).

В целом хозяйство переселенцев было комплексным: в одних поселках преобладало земледелие, но было достаточно сильно развито и животноводство, в других — наоборот.

В работе показана социальная дифференциация переселенцев — появление кулацкой прослойки (особенно после революции 1905 г., когда число переселенцев пополнилось зажиточным крестьянством из России), с одной стороны, и обеднение и уход на заработки в город — «обратничество» (возвращение на родину) и даже эмиграция в Америку части переселенцев, с другой стороны.

Чрезвычайно интересен раздел о хозяйственном взаимодействии переселенцев с коренным населением. Н. Н. Канода показывает, что переселенцы и местное коренное население постоянно вступали в деловые, нередко и дружеские контакты, что, как правило, отношения с туркменским населением были мирными, а хозяйственные контакты постоянными. Переселенцы, обосновываясь на новом месте, покупали у туркмен пшеницу, скот, арендовали верблюдов, арбы и т. д., договаривались с ними об обработке на паевых началах части арендуемых земель (стр. 70). Наконец, для орошения земель переселенцев администрация нанимала мирабов из туркмен. Интересно приводимое автором, почерпнутое им из архивных документов свидетельство начальника Мервского уезда, отмечавшего ценные навыки туркмен как природных ирригаторов. В свою очередь, туркмены перенимали у переселенцев новые сельскохозяйственные культуры — капусту, помидоры, подсолнечник и т. д., стали пользоваться при обработке своих полей привозными сельскохозяйственными орудиями. Отмечены и случаи межнациональных браков, правда, довольно редкие в те времена из-за религиозных различий. Автор работы на основании изучения архивных материалов делает вывод о том, что «многие потомки переселенцев немцев Поволжья в районе Серахса и Мерва совершенно вжились в местный быт, восприняли и туркменский язык и национальную одежду» (стр. 79).

Работа Н. Н. Каноды в значительной степени восполняет пробел в наших знаниях о русском и другом, неместном населении Туркмении и является важным источником для работы над Историко-этнографическим атласом Средней Азии и Казахстана. Книга написана хорошим языком, читается легко, но жгостато изложение, иногда носящего почти конспективный характер, оставляет чувство неудовлетворения, некоторой недосказанности. Автор, по-видимому, располагает большим материалом о быте и культуре переселенцев. Остается пожелать, чтобы работа по изучению и публикации этих материалов была продолжена.

Несомненный интерес представляет и третья из рецензируемых работ — сборник «Очерки по истории хозяйства и культуры туркмен», вышедший под редакцией Г. Е. Маркова и А. Оразова. Сборник подготовлен по решению Первого Среднеазиатского регионального совещания по Историко-этнографическому атласу Средней Азии и Казахстана (Ашхабад, 1967 г.) и состоит из 8 статей; 6 из них характеризуют хозяйство разных районов Туркмении конца XIX — начала XX в. Большинство статей написано туркменскими этнографами (среди авторов также этнографы Москвы и Ленинграда). Статьи сборника написаны на основании полевых материалов и данных архивов. К сборнику прилагается указатель туркменских терминов, составленный научным сотрудником Института истории АН ТуркмССР А. Теджовым.

Четыре первых статьи посвящены различным вопросам земледелия южных туркмен. Открывает сборник статья А. Оразова «О сельскохозяйственных традициях в долинах Сумбара и Чендыра в конце XIX — начале XX в.». В ней характеризуются традиционные формы земледелия у туркменских племен — гокленов и нохурли, издавна населявших этот район. В статье описывается орошаемое и богарное земледелие, имевшее в этих районах примерно одинаковое процентное соотношение, перечисляются сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на орошаемых и поливных землях, формы севооборота, способы и сроки сева разных культур, виды сельскохозяйственных орудий и цикл сельскохозяйственных работ, начиная от подготовки пашни к севу и кончая закладкой урожая на хранение. Останавливается автор и на некоторых традиционных обычаях, связанных со сбором урожая. Чрезвычайно важно, что в статье приводятся

данные по садоводству, главным образом виноградарству в долине Сумбара: перечисляются виды и сорта фруктов и винограда, характеризуется своеобразная форма горного виноградарства (*дйме узум*), нигде больше в Туркмении не встречающаяся.

К сожалению, автор, характеризуя достаточно полно земледелие гокленов и нохурцев, ни слова не говорит о хозяйстве третьей этнической группы — номутов, поселившихся по нижнему течению рек Сумбара и Чендыра задолго до характеризуемого периода и имевших здесь известные и довольно устойчивые навыки поливного и особенно богарного земледелия.

В статьях А. Н. Пиркулиевой «О формах землеводопользования в Ахале в конце XIX — начале XX в.» и Р. Бабаджанова «Система землеводопользования у туркмен Тедженского оазиса в конце XIX — начале XX в.» содержится материал о принципах распределения воды и видах аренды земли в Ахальском и Тедженском сазисах.

Интересна статья К. Атаева «О приемах земледелия туркмен Атека в конце XIX — начале XX в.», которая посвящена характеристике хозяйства одного из самых густонаселенных районов Туркмении, отличавшегося к тому же своей многонациональностью.

Наряду с текинцами и другими туркменскими племенными группами здесь жили русские и курды. Земледелие в Атеке было развито задолго до появления текинцев. Такие туркменские племена, как али-эли, карадашлы, хасарлы, анаулы и др. владели традиционными приемами земледелия и орошения и некоторыми отличными от текинских сельскохозяйственными орудиями. В статье К. Атаева характеризуются не только приемы земледелия, но и подробно освещаются способы и порядок орошения (земледелие в Атекском оазисе, как и везде в Туркмении, в основном базировалось на искусственном орошении), виды сельскохозяйственных культур.

Г. Е. Марков в статье «Некоторые проблемы этнографии иолотанских туркмен» характеризует главным образом общественную организацию в земледельческом и скотоводческом хозяйстве у туркмен-сарыков Иолотанского оазиса. Характеристика же сельскохозяйственных культур и приемов земледелия у него настолько схематична, что не дает никакого представления об особенностях земледелия иолотанских туркмен. Так, например, автор статьи указывает, что озимые культуры «поливали 3—4 раза в конце апреля» (стр. 80), хотя известно, что в Средней Азии при дефиците воды и строжайшей очередности на нее даже в тех районах, где воды было много, за весь период вегетации культуры обычно поливали всего 3—4 раза. На этой же странице Г. Е. Марков пишет: «Весной сажали яровые и прочие культуры» — чрезмерно лаконичная и вряд ли дающая что-нибудь характеристика.

В статье К. Ниязлычева «Земледельческий календарь и скотоводство у туркмен-човдуров в конце XIX — начале XX в.» приводятся интересные материалы о способах исчисления времени при земледельческих работах и организации скотоводческого хозяйства у северных туркмен. Подробно и обстоятельно рассматривает автор породы скота, районы кочевий и порядок сезонных перекочевков, цикл работ, связанных со скотоводством, и т. д.

Статья А. Джикиева «Материалы по рыболовству прикаспийских туркмен в конце XIX — начале XX в.» несколько иного плана, чем предыдущие. Она содержит сведения об основном занятии жителей восточного побережья Каспийского моря туркмен-огурджалинцев, шихов, игдыров и др. В статье приводятся интересные данные о рыболовстве в XIX в., достигшем довольно высокого уровня, часть продукции его сбывалась в отдаленные от побережья районы Средней Азии — Хиву и Бухару.

Последние статьи сборника — «Некоторые вопросы орнамента туркменской вышивки конца XIX — начала XX в.» В. М. Солтановой и «Туркмения в фотоколлекциях С. М. Дудина» А. С. Морозовой — тематически не связаны с предыдущими. Однако они содержат интересный и нужный для других разделов Атласа материал.

Особый интерес представляет статья А. С. Морозовой, содержащая обстоятельную характеристику богатых фотоматериалов художника С. М. Дудина по хозяйству, материальной и духовной культуре туркмен-текинцев Ахальского, Тедженского и Мервского оазисов и туркмен-сарыков Тахтабазара. Прекрасные снимки, сделанные в 1901 г., являются важным документально-иллюстративным материалом, с помощью которого можно датировать данные, которые исследователь получает у информаторов и находит в литературе.

Как видно из краткого обзора, сборник содержит богатый и ценный материал, являющийся итогом многолетних полевых исследований, в том числе и по сбору сведений для Историко-этнографического атласа Средней Азии и Казахстана.

Однако, к сожалению, следует отметить, что работа плохо отредактирована. В ней множество опечаток, стилистических погрешностей и просто неудачных, неясных по содержанию фраз. Так на стр. 30 читаем: «...не было принято обмолочивать... чач — очищенное от соломы зерно, так как у него в результате двухкратной молотбы снопов солома превращалась в труху» или на стр. 115: «техника рыбной ловли оставалась очень низкой, чему причиной были частые несчастные случаи» и т. д.

Подобные фразы не единичны, они встречаются на стр. 29, 39, 61, 136 и т. д. Вряд ли можно поверить, что у рыбаков-туркмен в конце XIX в. были сети из капроновых нитей, о чем пишет А. Джикиев (стр. 103, 104). Встречаются такие выражения, как «земледельческие туркмены» (стр. 61), «ложили» (стр. 12), множество разночтений в терминах (стр. 19, 80 и др.). Плохие рисунки к статье А. Оразова портят впечатление от богатой материалом статьи.

Работа А. Н. Пиркулиевой «Домашние промыслы и ремесла туркмен долины Средней Амударьи во второй половине XIX — начале XX в.» написана на большом полевом материале, собиравшемся автором в течение 6 лет у туркмен Средней Амударьи. Исследование народных ремесел и промыслов у туркменского населения этого региона, одного из самых густонаселенных районов Туркменистана, в течение многих веков входившего в состав Бухарского ханства и поэтому несколько обособленного от других групп туркмен, явилось важным этапом в этнографическом изучении туркменского народа. Несмотря на центральное положение в Средней Азии туркмен Средней Амударьи, в дореволюционной литературе о них имелось гораздо меньше сведений, чем о туркменах Закаспийской области.

В рецензируемой работе последовательно рассматриваются прядение, ткачество и вышивка, обработка металла и литье чугуна, гончарное производство, обработка кож и изготовление кожаных изделий. Особое внимание А. Н. Пиркулиева уделяет обработке металла. Она отмечает, что в начале XX в. кузнечное ремесло на Средней Амударье достигло довольно высокого развития, и мастера стали специализироваться на изготовлении определенных изделий. Подробно характеризуется ювелирное производство. В работе не только описывается ремесленное производство, но и рассматриваются технические особенности изготовления украшений туркмен Средней Амударьи и виды ювелирных изделий.

Автор отмечает важную роль гончарного ремесла в жизни определенной части населения исследуемого региона, здесь этот вид ремесла достиг значительного развития во второй половине XIX в.; гончарством занимались почти во всех районах долины Средней Амударьи, сбывая продукцию своего производства далеко за пределами селений.

\* \* \*

Выход в свет рецензируемых работ, выпущенных издательством «Ылым» в 1972—1973 гг., является, несомненно, большим достижением ученых Туркменистана.

Несмотря на некоторые неясные или спорные вопросы, технические недоработки и т. д., каждая из вышеупомянутых книг имеет свои неоспоримые достоинства. Все они вводят в научный оборот новые ценные полевые и архивные материалы не только в области хозяйства туркмен и других народов, населяющих Туркмению, но и данные по некоторым вопросам материальной культуры. Публикация этих работ — большой вклад в литературу по этнографии и истории культуры туркменского народа, важный этап в разработке тематики Историко-этнографического атласа. Насколько нам известно, туркменские ученые, как авторы рецензируемых работ, так и другие, накопили большой материал по различным разделам истории культуры и этнографии туркменского народа. Хотелось бы пожелать, чтобы публикация подобного рода работ была продолжена.

*Г. П. Васильева*

## ОБЩАЯ ЭТНОГРАФИЯ

**И. Л. Андреев. Общинные структуры и некапиталистический путь развития. Владимир, 1973, 336 стр.**

Современная эпоха выдвинула судьбу бывших колоний и зависимых стран в число узловых социальных проблем. От того, по какому пути пойдут народы «третьего мира» — станут резервом капитализма или вступят на путь социалистической ориентации, — во многом зависит ход мирового революционного процесса.

Проблематика некапиталистического развития привлекает все большее внимание советских ученых. Ее активно исследуют экономисты и юристы, историки и этнографы. Что же касается философов, разрабатывающих теорию некапиталистического развития, то между ними наметилось своеобразное разделение труда: одни акцентируют внимание на вопросах идеологии и политики в освободившихся государствах, а также на критике немарксистских концепций развития стран «третьего мира», тогда как другие занимаются в основном теоретическим анализом исторического опыта народов Советского Востока.

Монография И. Л. Андреева отличается от других работ по этой проблематике двумя основными особенностями. Во-первых, некапиталистический путь развития рассматривается в ней как бы изнутри — сквозь призму общинного компонента социальной структуры освободившихся народов и стран, в большинстве своем не успевших завершить процесс классового образования. Во-вторых, автор анализирует социально-экономические процессы в африканских странах социалистической ориентации в тесной связи со сходными процессами, происходившими у малых народов Сибири и Дальнего Востока, в республиках Средней Азии и Казахстана в период их движения к социализму.

Некапиталистический путь развития рассматривается И. Л. Андреевым прежде всего как проблема исторического материализма. Но в книге содержится и большой конкретный исторический материал. Не случайно автор наряду с трудами классиков марксизма-ленинизма, документами КПСС и международного коммунистического движения, философской литературой привлек широкий круг источников из африканских государств (конституции, планы развития, выступления руководящих деятелей, статистические материалы, периодическая печать), а также использовал большое количество работ советских и зарубежных ученых разных специальностей, в том числе этнографов.

Книга состоит из предисловия и трех больших глав, каждая из которых включает несколько разделов. В предисловии (стр. 3—10) определяются задачи исследования и раскрываются особенности системно-генетического анализа, примененного в монографии.

Первая глава, «Предпосылки, условия и стадии некапиталистического развития освободившихся стран и народов» (стр. 11—145), имеет преимущественно методологический характер. В ней анализируются высказывания В. И. Ленина о значении Октябрьской революции и социалистического строительства в СССР для народов Востока, разрабатываются методологические принципы сравнительного анализа некапиталистического развития различных стран и народов. Специальные разделы главы посвящены характеристике социально-экономической структуры бывших колониальных и зависимых стран и места в ней общины (структурный аспект исследования), историческим условиям некапиталистического развития на современном этапе (функциональный аспект), а также тенденциям и стадиям этого процесса (генетический аспект).

Вторая глава, «Специфика преобразования базиса в процессе некапиталистического развития» (стр. 146—235), открывается разделом о влиянии научно-технической революции на судьбы «третьего мира». Далее рассматриваются тенденции и стадии индустриализации и особенности формирования национального рабочего класса в условиях некапиталистического развития. Однако основное внимание в этой главе справедливо уделено закономерностям аграрных преобразований; особенно тенденциям и перспективам использования коллективистских институтов общины.

В третьей главе, «Активность надстройки и специфика ее преобразования в процессе некапиталистического развития» (стр. 236—333), прежде всего анализируется диалектическая взаимосвязь базиса и надстройки в освободившихся государствах. Автор подробно останавливается также на месте и роли традиций в духовной жизни народов этих стран, рассматривает пути и методы преодоления общинно-трибалистской идеологии. Центральное место в главе занимает проблема творческого использования ленинской идеи крестьянских Советов в условиях движения по некапиталистическому пути. В заключительном разделе дается критика буржуазных и мелкобуржуазных теорий развития стран «третьего мира».

Как видно из этого краткого обзора, содержание книги И. Л. Андреева весьма многогранно и, пожалуй, несколько шире ее заглавия. Не претендуя на критический разбор всех положений и выводов автора, остановимся лишь на тех вопросах, которые, на наш взгляд, представляют наибольший интерес для этнографов.

Начнем с некоторых ключевых понятий. В большинстве работ советских исследователей термин «социалистическая ориентация» выступает как синоним «некапиталистического пути развития». Между тем, как справедливо отмечает автор, правомее рассматривать некапиталистический путь как один из двух возможных типов развития освободившихся стран в направлении социалистических преобразований. Этот тип естествен для стран с преобладанием докапиталистических отношений, особенно для тех из них, где не был завершен процесс классовообразования. Однако теоретически допустим и постепенный поворот к решению задач социалистического строительства, берущий начало в рамках прогрессивных буржуазно-демократических преобразований. Это относится прежде всего к странам, где капиталистический уклад уже стал определяющим фактором экономики и рабочее движение завоевало серьезные позиции. «Термин „социалистическая ориентация“, — отмечает автор, — на наш взгляд, удачно объединяет в аспекте перспективы и стратегий руководства революционным процессом в зоне национального освобождения обе эти тенденции, подчеркивая тем самым не только их различие, но также близость и взаимопроникновение» (стр. 18).

В книге всесторонне исследуется вопрос о возможности использования странами социалистической ориентации исторического опыта движения к социализму народов национальных окраин СССР, находившихся к началу данного процесса на аналогичных ступенях социально-экономического развития. И. Л. Андреев отвергает еще встречающуюся в нашей научной литературе тенденцию неоправданно узкой трактовки опыта этих народов только как исторически доказанной возможности и эффективности некапиталистического пути ликвидации социально-экономической отсталости. «Сопоставление специфики социалистического строительства на национальных окраинах нашей страны и тенденций социалистической ориентации в ряде освободившихся стран, — подчеркивает он, — открывает возможности более глубокого выявления закономерностей процесса некапиталистического развития, создает предпосылки заимствования данного опыта и прогнозирования сходных мероприятий в освободившихся странах, позволяя учесть конкретно-историческую специфику каждой страны и каждого народа» (стр. 35).

«При обращении к советскому опыту, — предупреждает автор, — разумеется, нельзя забывать, что народы Средней Азии и Казахстана, как и других полуколониальных окраин бывшей царской империи, осуществляли некапиталистический этап развития в



рамках государства диктатуры пролетариата, под руководством рабочего класса и марксистско-ленинской партии» (стр. 33). Однако существенные различия в социально-политической обстановке все же не могут служить препятствием для использования советского опыта, тем более, что «мировая социалистическая система в известном смысле берет на себя... те функции, которые по отношению к народам полуколонизированных национальных окраин выполняли рабочий класс и прогрессивная интеллигенция пролетарских центров Советской России» (стр. 33).

Проведя специальное теоретическое исследование эффективности и допустимых границ сравнительного анализа рассматриваемых в книге процессов, И. Л. Андреев пришел к следующему, на наш взгляд, обоснованному выводу: «В методологическом смысле одинаково неправомерно абсолютизация как специфики процессов некапиталистического развития различных народов и стран (что подчас затуманивает общие закономерности процесса), так и сходства этих процессов (что объективно ведет к тенденции нивелированного изображения этих процессов, «подгонки» их под общую абстрактную схему). Марксистская гносеология располагает возможностью отмежеваться от обеих этих крайностей...» (стр. 38).

Сердцевину рецензируемого исследования составляет анализ общинных структур и их места в процессе некапиталистического развития. И. Л. Андреев аргументированно критикует как ликвидаторские концепции «силового» разрушения общины, трактуемой лишь в качестве источника отсталости и тормоза на пути прогресса, так и иллюзии народнического толка, согласно которым община выступает чуть ли не готовой ячейкой социализма. В связи с этим автор дает обзор дискуссии 20—30-х годов о роли общины у малых народов Сибири и Дальнего Востока (в ней активно участвовали этнографы), а также рассказывает о спорах по данному вопросу, идущих в наши дни в странах Тропической Африки (стр. 9, 205—210, 311—314).

Ключ к пониманию диалектической сущности общинных структур, их дальнейших судеб и, в частности, возможности их использования на пути некапиталистического развития И. Л. Андреев справедливо видит в дуализме общины, методологические основы исследования которого были заложены К. Марксом. Автор проводит системный анализ этого явления, прослеживает, как дуализм пронизывает механизмы социальной и экономической интеграции общинного крестьянства, отражается в его идеологии (стр. 82—85, 266, 304, 316). Крестьянская община «соткана» из противоречий: с одной стороны, ей присущи древние традиции коллективизма и взаимопомощи, стихийного демократизма в решении общественных дел; с другой стороны, для нее характерна та или иная степень имущественного и социального расслоения, а ее традиционные институты постепенно трансформируются в средство эксплуатации рядовых общинников. «Выделение одной из сторон дуализма общины и игнорирование другой,— подчеркивается в книге,— неправомерно не только в теоретическом, но и в политическом плане» (стр. 313). Стратегия некапиталистического развития должна предусматривать как использование общинных традиций коллективизма и демократизма, так и блокирование негативных тенденций общинной структуры, объективно препятствующих прогрессивным социальным преобразованиям (стр. 314—319 и др.).

Исходя из специфики своего исследования, автор выделяет два основных типа общинных структур — патриархально-общинные и парцелльно-общинные — и дает их развернутую характеристику.

Патриархально-общинное крестьянство ведет «преимущественно большими семьями... автаркическое малопродуктивное хозяйство с использованием архаических орудий и методов», тогда как парцелльно-общинное крестьянство «в основном занимается выращиванием экспортных и технических (на рынок) культур, ведет индивидуальное хозяйство с эпизодическим использованием (по найму, реже — в рамках коллективистских традиций солидарности) чужого труда» (стр. 63).

В патриархально-общинных структурах власть традиционных вождей (распоряжение людьми) выступает основанием для распоряжения пастбищами, водой, свободным земельным фондом. В парцелльно-общинных структурах собственность на основные средства производства (землю, воду, скот) служит главной предпосылкой власти над людьми. В первом случае почвой эксплуатации становятся главным образом квазидемократические институты общины, традиции «родства» бедняка и богача, а также суровые «обычаи предков». Во втором случае община постепенно перерождается прежде всего в оболочку формально добровольной зависимости батрацко-бедняцких слоев от кулацко-ростовщической верхушки, захватывающей в свои руки выборы общинных должностных лиц (стр. 284, 285).

Патриархально-общинные структуры И. Л. Андреев рассматривает в основном на примере малых народов Сибири и Дальнего Востока, отмечая вместе с тем, что в начале XX в. они сохранялись также в ряде районов Средней Азии (например, в некоторых горных местностях Таджикистана) и до сих пор встречаются в глубинных районах Тропической Африки. Общинные структуры второго типа анализируются в книге на материале Средней Азии и Казахстана, а также освободившихся стран Тропической Африки (где они преобладают в районах экспортного земледелия), но автор упоминает, что такие структуры существовали в начале нашего столетия также на побережье Охотского моря и в Приамурье (стр. 44).

И. Л. Андреев подчеркивает, что различие между этими двумя типами может быть четким лишь в абстрактно-теоретическом плане, так как на практике они часто пере-

плетаются. Поэтому выделенные им типы он предлагает понимать диалектически — прежде всего как различные тенденции расслоения общины и генезиса эксплуатации. Это не исключает, однако, возможности и необходимости выделения в каждом конкретном случае преобладающего типа общинной структуры и учета его специфики при разработке и проведении радикальных социальных преобразований (стр. 64, 65, 199—201).

Предложенная И. Л. Андреевым классификация общинных структур требует, на наш взгляд, некоторых оговорок. Сам автор признает, что «в исторической и этнографической литературе принята стадильная в своей основе и гораздо более дробная (в различных ее вариантах) классификация общин»<sup>1</sup>. Такая классификация более всеобъемлюща; она отражает поступательный характер исторического процесса, позволяет глубже выявить качественное своеобразие основных типов общин и формы перехода между ними (заметим, кстати, что выделенные автором типы общинных структур фактически соответствуют разным, хотя и довольно близким, ступеням социально-экономического развития и, следовательно, тоже различаются в какой-то мере в стадильном плане).

Однако при оценке классификации И. Л. Андреева следует учитывать ее особенности. Во-первых, автор отнюдь не пытался охватить ею все типы общин, существовавшие на разных этапах истории человечества, от палеолита до классовых обществ, а разрабатывал ее применительно к общинным структурам современных освободившихся стран и их исторических аналогов — национальных окраин царской России в начале XX в. Во-вторых, он стремился совместить системную и генетическую характеристики общинных структур, функционирующих в этих сравнительно узких исторических рамках, преследуя «сверхзадачу» — наметить дифференцированное использование выделенных типов общин в процессе некапиталистического развития. В очерченных границах предложенная им классификация, несомненно, «работает» и, значит, имеет право на существование.

Если в сфере базиса одним из важнейших элементов стратегии некапиталистического развития является кооперирование крестьянства, учитывающее его общинные традиции, то в сфере государственно-политической надстройки такую же роль играет создание органов демократического самоуправления, близких и понятных крестьянским массам. И. Л. Андреев подробно и в целом весьма убедительно раскрывает специфику этих радикальных преобразований в зависимости как от господствующего типа общинной структуры, так и от общей социально-политической обстановки в той или иной стране. При этом (в соответствии с методологическими принципами, сформулированными в начале исследования) он в свете советского опыта анализирует тенденции и перспективы кооперирования и развития местных органов власти в странах Тропической Африки, избравших социалистическую ориентацию.

Автор, в частности, показывает, что дифференцированная аграрная политика по отношению к двум выделенным им типам общинного крестьянства должна проявляться в различных начальных формах, а также направлениях и темпах кооперативного движения.

Кооперирование патриархально-общинного крестьянства в своих первичных формах обычно опирается на сохранение и политики использования традиций трудового коллективизма и взаимопомощи, что предполагает проведение государством политики защиты рядовых общинников от эксплуатации со стороны традиционной верхушки. Слабая и скрытая общинными связями имущественная и социальная дифференциация патриархально-общинного крестьянства снижает непосредственное воздействие административных мер на традиционные формы труда и быта, обуславливая постепенность преобразований и широкое использование мероприятий переходного типа. Ввиду архаичности хозяйства объектом интеграции становятся главным образом трудовые усилия, живой труд, субъективные производительные силы, а не орудия и предметы труда, часть которых и без того используется сообща. Кооперативы возникают в виде простейших производственных объединений, генетически вырастающих из традиционных бытовых производственных коллективов, но берут на себя и некоторые кредитно-сбытовые функции. Такие формы кооперирования ускоряют процесс дифференциации патриархально-общинного крестьянства и создают предпосылки для ликвидации паразитизма общинной верхушки и традиционных вождей силами рядовых общинников (стр. 200, 201, 216, 217, 225).

Кооперирование парцельно-общинного крестьянства, в значительной мере затронутого мелкобуржуазной рыночной стихией, обычно берет начало в сфере снабженческо-сбытовых отношений и касается, как правило, производств дефицитных технических или экспортных культур. Оно опирается на земельно-водные реформы, изъятие земельных излишков и не обрабатываемых непосредственным владельцем площадей, с последующим их распределением среди безземельных и малоземельных крестьян, в результате чего деревня несколько осередничивается, а число индивидуальных хозяйств возрастает. Кооперирование парцельно-общинного крестьянства затрагивает главным образом сферу вещного компонента производительных сил. Оно связано с углублением рассло-

<sup>1</sup> И. Л. Андреев, Общинные структуры и некапиталистический путь развития, Автореферат докт. дис., Свердловск, 1973, стр. 13.

ния общины и консолидацией трудящихся слоев крестьянства при ограничении и подавлении кулацкой прослойки. Политическая направленность таких преобразований имеет своей основой курс на государственное регулирование стихий мелкобуржуазных частнособственных отношений с помощью кооперации продукции индивидуальных хозяйств через сеть кооперативных обществ в региональном и государственном масштабе. Следует, однако, отметить, что кооперирование парцелльно-общинного крестьянства может в известной мере опираться и на традиции общественного использования некоторых второстепенных угодий, на сравнительно слабое развитие частнособственных настроений у бедняков и середняков, а также на традиции совместного выполнения определенных работ, имеющих общественное значение (стр. 199, 200, 214—216, 223, 224).

На обширном конкретно-историческом материале автор исследует основные этапы в развитии кооперирования выделенных им типов общинного крестьянства, прослеживая постепенный переход от кооперативов, возникающих на базе традиционных общин и использующих на первых порах традиционные формы организации труда, к новым, социалистическим производственным отношениям и крупному общественному хозяйству, опирающемуся на планирование и высокий уровень механизации трудоемких процессов (стр. 201—235). Проведенный И. Л. Андреевым анализ тенденций и стадий кооперирования общинного крестьянства, как и ряд других разделов его монографии, может быть непосредственно использован этнографами, изучающими традиционную социальную организацию различных этносов, а также ее трансформацию в процессе движения к социализму.

Автор отмечает, что попытки искусственного внесения буржуазных институтов представительной демократии в политическую жизнь освободившихся стран ведут к карикатурной демократии, к распылению политических сил и объективно мешают их общенациональной консолидации. Не соответствует современным условиям и общинный институт совещательного самоуправления (*палабр*), заключающийся в коллективном обсуждении различных вопросов вплоть до присоединения к той или иной точке зрения всех до единого участников обсуждения (стр. 251—253, 270, 271). В этой связи особенно важен сделанный В. И. Лениным (в докладе на II Конгрессе Коминтерна) вывод о перспективности Советов как формы политической организации и национальной консолидации народов, находящихся на докапиталистических стадиях социально-экономического развития и сбрасывающих цепи колониальной зависимости. Исследование под этим углом зрения процесса формирования советской государственности у малых народов Севера и Дальнего Востока, в республиках Средней Азии и Казахстана, а также тенденций развития революционно-демократической государственности в странах Тропической Африки, избравших социалистическую ориентацию, привело автора к заключению, что деятельность крестьянских Советов может считаться одной из закономерностей некапиталистического пути развития (стр. 292, 293).

Проанализировав природу крестьянских Советов, И. Л. Андреев отмечает, что они могут вначале опираться на демократические традиции равенства, взаимопомощи и совместного решения общественных дел, в той или иной мере сохранившиеся в общине (стр. 265—271, 274, 307). В книге рассматриваются основные этапы развития местных органов демократического самоуправления применительно к двум типам общинных структур, причем прослеживаются тенденции и формы перехода традиционной непосредственной демократии в демократию социалистическую (стр. 275—281, 288—292).

Следует учитывать, что проблема места и роли крестьянских Советов в процессах некапиталистического развития пока остается вне сферы интересов большинства исследователей. Тем более существенна заслуга И. Л. Андреева, который привлек внимание к научной разработке данной проблемы и внес определенный вклад в ее решение. Однако роль крестьянских Советов в развитии современных стран социалистической ориентации нуждается в дальнейшем углубленном исследовании. При этом нельзя упускать из виду, что специфика движения к социализму указанных государств наиболее значительна в области надстройки. Отсюда вытекает необходимость особенно тщательного соблюдения методологических принципов сравнительного анализа при изучении надстроечных элементов, в том числе тенденций развития местных органов власти.

Разрабатывая проблематику использования традиций общинного коллективизма и демократизма в процессе некапиталистического развития, автор неоднократно подчеркивает, что общинная форма первых крестьянских Советов и кооперативов — отнюдь не идеал, а необходимая временная мера, присущая переходному периоду, что она призвана «смягчить» в социально-психологическом отношении вступление общинного крестьянства в новую историческую эпоху (стр. 83, 326 и др.). В книге уделяется значительное внимание методам преодоления негативных традиций общины, рассматриваются мероприятия, препятствующие переносу в Совет и кооператив межкланового соперничества и использованию этих организаций эксплуататорскими элементами, анализируется опасность отождествления крестьянством новых социально-политических структур с родственно-общинными отношениями (стр. 210, 211, 217, 218, 222, 226, 227, 286, 315—319). Автор отмечает, что продукты распада традиционных общинных структур (в форме трибализма, классового соперничества, семейственности и т. п.) могут выноситься на национальную арену, проникать в новый государственный и административный аппарат, в сферу идеологии и политики.

Внимание этнографов, несомненно, привлечет раздел, в котором специально исследуется роль и место традиций в духовной жизни народов освободившихся стран (стр. 299—311). В связи с неоднозначным употреблением термина «традиция» в советской научной литературе автор анализирует содержание этого понятия и его диалектической противоположности — «социального новаторства», рассматривает соотношения традиции и ритуала, высказывает некоторые общие соображения о месте традиций на разных этапах всемирной истории (стр. 299—302). Значительный интерес представляет анализ отмеченного К. Марксом парадокса временного оживления традиций в эпохи социального творчества (стр. 303, 304).

В одной книге, разумеется, невозможно в равной мере осветить все аспекты такой темы, как «Общинные структуры и некапиталистический путь развития». Рецензируемая работа — удачный опыт комплексного исследования этой сложной проблематики. И все же жаль, что автор почти не уделил внимания проблеме культурной революции (стр. 165, 309, 310), которая имеет во всяком случае не меньшее отношение к предмету исследования, чем связанная с ней проблема научно-технической революции, удостоившаяся довольно значительного раздела (стр. 146—189). Ведь, как известно, культурная революция — необходимое условие радикальных экономических и политических преобразований в бывших колониях и зависимых странах, избравших некапиталистический путь развития, без нее невозможны преодоление общинно-трибалистской идеологии, активное и сознательное использование крестьянскими массами традиций общинного коллективизма и демократизма в процессе строительства новой жизни. И в этом отношении исторический опыт малых народов Сибири и Дальнего Востока, республик Средней Азии и Казахстана целесообразно было бы сопоставить со сходными тенденциями в современных странах социалистической ориентации.

Автор обоснованно анализирует проблемы некапиталистического развития освободившихся государств на примере ряда стран Тропической Африки. В книге встречаются также отдельные упоминания об аналогичных явлениях и процессах в Бирманском Союзе. В Океании пока нет стран социалистической ориентации. Но при анализе общинных структур, особенно патриархально-общинного типа, стоило бы, на наш взгляд, привлечь океанийский материал, так как на некоторых островах, в первую очередь на Новой Гвинее, традиционные общества сохранились в большей неприкосновенности, чем в современной Тропической Африке. Не случайно в послевоенный период Новая Гвинея превратилась в своего рода Мекку для этнографов, экономистов и социологов, изучающих традиционные общинно-родовые структуры и их трансформацию под влиянием товарно-денежных отношений. Между тем в книге лишь дважды упоминается Океания, причем в одном случае допущена неточность: вопреки сообщению автора (стр. 71) в Новой Зеландии не было и нет резерваций для коренного населения.

В монографии значительное количество повторов. Это относится как к отдельным теоретическим положениям, так и к фактическим деталям. Повторения во многом объясняются структурой исследования: автор вначале анализирует тенденции и стадии некапиталистического развития в целом, а затем отдельных его сторон, возвращается к исследованию уже рассмотренных вопросов при специальном анализе традиций и т. д. Но все же представляется, что части повторов можно было бы избежать.

В книге И. Л. Андреева использованы и проанализированы данные многих научных дисциплин. Соответствующие специалисты, возможно, выскажут свои замечания, отметят дискуссионность некоторых положений. Но не подлежит сомнению, что перед нами ценное и глубокое исследование, вносящее крупный вклад в разработку теории некапиталистического развития.

Рецензируемая работа заслуживает пристального внимания не только ученых-обществоведов, но и более широкого круга читателей — преподавателей, студентов, журналистов, пропагандистов — всех тех, кто интересуется проблемами некапиталистического развития. Тем обиднее, что эта интересная и актуальная книга издана очень маленьким тиражом (1000 экз.). Весьма желательно ее новое — возможно, несколько дополненное и доработанное — издание. Стоит также подумать о ее переводе на иностранные языки.

Д. Д. Тумаркин

Raoul et Laura Makarius. *Structuralisme ou ethnologie. Pour une critique radicale de l'anthropologie du Lévi-Strauss*. Paris, 1973, 360+16 стр.

Книга составилась из 7 статей, опубликованных авторами в журнале «L'homme et la société» за 1967—1971 гг. Прибавлено обстоятельное «Введение». Почти все статьи направлены против структурализма Клода Леви-Стросса. Авторы — натурализировавшиеся во Франции выходцы с Арабского Востока. Убежденные сторонники эволюционизма, они в то же время тяготеют (в ранних работах, быть может, стихийно, а позже все более сознательно) к марксизму, избегая, однако, особенно афишировать свою близость к нему.

Первая большая работа супругов Макариус — *«L'origine de l'exogamie et du totémisme»* (Paris, 1961). В ней авторы пытались дать материалистическое объяснение явлений экзогамии и тотемизма<sup>1</sup>.

В 1971 г. Рауль Макариус издал французский перевод книги Л. Моргана «Древнее общество» — первое французское издание этой классической книги<sup>2</sup>, переведенной уже ранее на многие языки.

Макариус снабдил это издание обстоятельным «Представлением» (Presentation) и отдельными «Введениями» к каждой из четырех частей книги, в которых он резко полемизирует против антиэволюционистов, критиковавших Моргана, но и сам делает по адресу Моргана критические замечания и поправки сообразно современному уровню знаний. Эти свои дополнения и замечания Макариус издал отдельной брошюрой<sup>3</sup>.

В настоящей книге Макариусы, решительные противники структурального метода Леви-Стросса, собрали воедино и дополнили свой прежний выступлений против этого, столь прославленного в наши дни ученого. Ниже приводится содержание книги.

После обширного «Введения» (стр. 7—73) идут статьи: «Вопросы и ответы, «Понятие социальной структуры и его идеологическая роль в структурализме», «Ягуары и люди», «Символизм левой руки», «Охота на орлов у хидатса», «Печальные структуры», «Апофеоз Цинны — миф о рождении структурализма».

«Введение» начинается с картины глубокого кризиса, в который вступила «этнология», отвергнувшая полвека тому назад «эволюционистские и компаративистские принципы основателей» (под основателями разумеются Морган и другие классики-эволюционисты).

Причину этого кризиса Макариусы видят в том, что господствующим кругам академической науки (имена авторы не называют) показалась «опасной» этнология, которая «раскрывает социальные и идеологические факторы, определяющие характер человеческих учреждений». Отсюда то замалчивание трудов Моргана, о котором писал еще Энгельс; принятие учения Моргана марксизмом, «победа русской революции» «сделали фигуру Моргана еще более опасной».

Отказ от эволюционизма сочетался с отказом от всяких попыток объяснения, от сравнительного метода (стр. 8—10). Проблемы изучения первобытного общества были затушеваны; «племя скрылось за семьей», которую объявили вечной; классификаторские системы родства, тотемизм объявлены несуществующими. В Англии это течение, враждебное всякому объяснительному исследованию, приняло форму «функциональной школы, подобного орудия колониальной администрации». Глава этой школы Малиновский прямо заявил, что «лучшая форма объяснения — это хорошее описание» (стр. 10, 11).

Но функционализм зашел в тупик, ибо его выводы оказались обманчивыми — особенно в годы «деколонизации». Найти выход из тупика надеялись в структурализме (стр. 11; о том же см. стр. 281, 282).

Критика функционализма со стороны структурализма не была его отрицанием; напротив, структурализм поднимает проблематику функционалистов на такой уровень, где факты уступают место уравниваниям и абстрактным формулировкам и поэтому «уже не может ставиться вопрос о их социальном детерминировании, и нет риска, что проблемы будут поставлены в терминах социологической каузальности» (стр. 2).

«Структурализм не только не возвращает этнологическую мысль на путь, ведущий к объяснению, но он повторяет, хотя в ином ключе, бесплодные и пораженческие тезисы Лоуи и его учеников, с тем только преимуществом, что он освободился от обязанности быть точным, которой придерживались те ученые в силу традиционного уважения к фактам» (там же).

Метод структурализма по существу исключает всякое объяснение. «В структурализме поиски объяснения элиминированы вследствие элиминирования всего того, что имеет конкретный, эмпирический характер, т. е. фактов. На их место он подставляет связывающие их отношения» (стр. 12). «Отношения между фактами» последовательно интегрированы «в обширную систему, от которой должны зависеть все отношения» (стр. 12). Но ведь «поставить необъясненные факты в отношения между собой — это не делает их более объяснимыми» (стр. 13). Тут и явный риск ошибки: наряду с действительными отношениями могут утверждаться и случайные, фиктивные, воображаемые. Поэтому структуралистские «объяснения» «не только ничего не объясняют, но загромаждают путь к объяснению» или даже закрепляют заблуждения (стр. 13).

Авторы приводят несколько примеров таких натянутых и ошибочных «объяснений» (стр. 13—21).

Структурализм заменяет изучение реальных связей между явлениями установлением «оппозиций». Однако «раз только реальные отношения получают объяснение...

<sup>1</sup> См. С. А. Токарев. Новое о происхождении экзогамии и тотемизма, в сб. «Проблемы антропологии и исторической этнографии в Азии», М., 1968.

<sup>2</sup> Lewis H. Morgan, *La société archaïque*, Traduit de l'américain (sic!) par H. Jaouiche. Présentation et introduction de Raoul Makarius, Paris, 1971.

<sup>3</sup> R. Makarius, *Guide critique à la lecture de la Société archaïque de L. H. Morgan*, Paris, 1971.

структуральная игра становится невозможной» (стр. 20). «Действительно, для структурализма этнологическое объяснение есть враг не только по хорошо известным идеологическим причинам, но и потому, что оно несовместимо с возможностью применить метод анализа, который он (структурализм) проповедует» (стр. 20).

Макариусы отнюдь не отрицают существования «оппозиций» в этнографической области, но эти оппозиции должны, по их мнению, каждый раз объясняться историческими, «этнологическими». Это один из видов тех бесчисленных и разнообразных противоречий, которыми полна общественная жизнь. Оппозиции, — пишут они, — это «островки достоверности» в море неопределенных и неосознанных противоречий, магических представлений, партиципаций и пр. «Левое не есть правое, мужское не есть женское, ночь не есть день». Порой оппозиции служат меткой для какой-то классификации: например, правый — левый как признак социального деления (стр. 52—64).

Эти-то реальные противоречия, которыми наполнена общественная жизнь людей, и которыми, в частности, порождается мифология (ибо «противоречие есть мать мифа»), структурализм, всюду разыскивающий формальные «оппозиции», игнорирует (стр. 64—66).

В особой статье «Ягуары и люди» авторы на примере нескольких южноамериканских мифов стараются показать искусственность и произвольность структурного анализа этих мифов у Леви-Стросса. Они указывают, в частности, на то, что не всякое различие есть оппозиция. Например, понятие «мужчины» можно противопоставить не только «женщину», но и «ребенка», «животное», «бога» и пр. (стр. 188). Кроме того, оппозиция в чьих глазах? То, что противоположно для Леви-Стросса, может быть совсем не противоположно для индейцев, и наоборот (стр. 190). О произвольности леви-строссовских «оппозиций» авторы говорят и в других местах книги (стр. 290—295 и др.).

В последней статье сборника («Апофеоз Цинны») авторы на нескольких ярких этнографических примерах иллюстрируют очень важное возражение против концепции оппозиций Леви-Стросса: оказывается, что главные «оппозиции» у остальных народов — это не противоположность «природа — культура», как полагают Леви-Стросс и его сторонники, а вполне реальные противопоставления: обычай — нарушение обычая, порядок — беспорядок, чистое — нечистое, социальное — антисоциальное (стр. 330—332, 337, 343 и др.).

Несовместимость между структурализмом и этнологией Макариусы иллюстрируют еще и тем, что Леви-Стросс систематически старается лишить этнологические факты всей их специфичности, а значит, и исторической обусловленности. Например, он считает, что тотемизм — иллюзия отсталых этнологов; тотем аналогичен фамильному прозвищу; табу тестя и тещи уподобляется уважению к президенту республики; австралийские чуринги сравниваются с нашими архивными документами; употребление выделений тела — с мусолением почтовых марок; положение кастовых кузнецов — с положением наших специалистов и ученых; пищевые запреты индейцев — с нашими застольными обычаями и этикетом (стр. 27, 28).

«Структуралистическая система основывается на том принципе, что сам по себе факт не имеет собственного значения, а что ему придают смысл его отношения с другими фактами». Леви-Стросс пытается обосновать это положение путем аналогии с данными лингвистики: ведь в языке фонемы сами по себе не имеют значения, а сочетание их — слово — имеет. Но Леви-Стросс при этом забывает, что смысл слова — произвольный, сочетание же фактов имеет отнюдь не произвольный, но вполне детерминированный смысл (стр. 30, 31).

Аналогия с языком заставляет Леви-Стросса и мифы рассматривать как явление лингвистическое. На самом деле мифы — факт этнологический; поэтому и входящие в них элементы имеют и сами по себе значение, а не только через их сочетание (стр. 32).

Предшественником леви-строссовского структурализма Макариусы считают американского этнографа Роберта Лоуи, который показал (по словам самого Леви-Стросса), «чем факты не являются». Тем самым «он (Лоуи. — С. Т.) дезинтегрировал произвольные системы и мнимые корреляции; этим он как бы освободил умственную энергию, которую мы все время черпаем». То есть, поясняют Макариусы, Лоуи «лишил факты и понятия их содержания и сделал их доступными игре в комбинации» (стр. 137). Леви-Стросс заимствовал у Лоуи также и чисто формальный (а не исторический как у Морган) подход к терминологиям родства, и чисто формальное понимание тотемизма (стр. 38, 39). Философскую же почву для такого подхода к явлениям Макариусы видят в неопозитивизме Эрнста Маха, который, кстати, был личным другом Лоуи (стр. 40). Мах — основоположник «эмпириокритицизма», идеалистическая сущность которого была показана в свое время В. И. Лениным.

Социальная антропология, говорится в книге, сначала (в лице Лоуи) «потрясала фактами, чтобы разрушить концепции, а кончила она тем, что оторвалась от реальности и закрепилась в абстракции. Антропология, изгнавшая сравнительный метод, кончила «расгребанными сравнениями» (comparaisons échevelées) леви-строссовских «мифологий». «Антропология, начавшая с отказа от теорий, так как они грозили исказить факты, кончила систематическим извращением (distorcion) всего того, к чему бы она ни прикоснулась» (стр. 71, 72).

На нескольких примерах Макариусы показывают, что манипуляции Леви-Стросса с бинарными оппозициями возможны только при неполной изученности фактов, при неопределенности объекта (стр. 42—48).

По мнению Макариусов, главная ошибка Леви-Стросса в понимании «первобытного мышления» состоит в том, что он считает первичной формой человеческого мышления дискретную («дисконтинуальную», *discontinue*) мысль, «т. е. действующую при помощи различений и оппозиций», и уже позднейшей реакцией против нее считает он «мысль континуальную, т. е. ассоциативную, активную и партиципирующую». «На самом деле верно как раз обратное: именно ассоциативная мысль, а не какая-то воображаемая „структура ума“ объясняет употребление оппозиций в общественной жизни племенных народов» (стр. 62).

В заключение своего «Введения» авторы пытаются определить ту социальную почву, на которой мог зародиться и расцвести структурализм. Присущая структурализму «десубъективизация человека; превращение его в „ментальную структуру“ — это тенденция современного «овеществленного» общества — «сверхиндустриализованного общества монополистического капитализма» (стр. 67).

«Под каким бы аспектом мы ни рассматривали структуральную теорию, она отражает отблеск технократического общества, будучи его самым законченным выражением...». «Подменяя социальную действительность научнообразным мифом, структурализм становится в некотором роде симуляцией антропологии» (стр. 68).

Антропология, полагают Макариусы, «даже в лучшие свои дни страдала от механического подхода, который, от Моргана до Леви-Стросса, от века локомотива до века атома и вычислительных машин, все резко проявлялся с ритмом технологического роста. В этой кривой структурализм достиг крайней точки. Теперь нужно создать обратное движение, благодаря которому антропология могла бы вернуться к своим целям, от коих она так отделилась, и вновь стать источником обновления для человека, которому все более угрожает овеществление (*reification*)» (стр. 69).

«Антиматериалистический замысел», который из боязни марксизма отвергал рационалистический эволюционизм и потому систематически выворачивал наизнанку «даже лучше всего засвидетельствованные факты», «кончил тем, что создал свою собственную пародию». Структурализм стал «лупой, увеличивающий ошибки и заблуждения этнологии XX века» (стр. 72). Авторы надеются, однако, что пробудится «критический дух», и этнология вернется к «основам, сообразным с ее спецификой» (стр. 72, 73).

Первая статья, следующая за «Введением», называется «Вопросы и ответы»: это своего рода интервью об оценке структурализма, организованное журналом *L'homme et la société*. Здесь речь идет главным образом о взглядах Леви-Стросса на тотемизм, изложенных в его книге *Totémisme aujourd'hui*. На этой частной проблеме авторы показывают, что Леви-Стросс, во-первых, путает понятия, подменяя один вопрос другим, а во-вторых, что он, стремясь доказать нереальность тотемизма как особого явления, без сколько-нибудь веских оснований зачисляет в ряды своих предшественников и единомышленников по взглядам на тотемизм таких ученых, как Тэйлор, Гольденвейзер, Боас, Радклифф-Браун.

«Вопрос: можете ли вы сказать в нескольких словах, с какой целью прodelывает Леви-Стросс такие акробатические интерпретации?»

Ответ: Клод Леви-Стросс — человек, одержимый великим замыслом: свести как можно большее количество проявлений социальной жизни к тенденциям, присущим человеческому уму (*l'esprit humain*)....».

Из тех же универсальных «структурных законов» Леви-Стросс выводит и институт брака — как универсальную структуру обмена, основанную на «глобальной структуре взаимности», игнорируя при этом историческую изменчивость форм брака (стр. 97, 98).

«Вопрос: Как же вы, в заключение, оцениваете структурализм?»

Ответ: Лишенный эволюционизма, этнология перестает быть наукой о социальной реальности в ее движении, а становится изучением тех форм, какие принимает эта реальность, форм, изучаемых независимо от содержания...» (стр. 98).

Чтобы избежать упрека в идеализме, Леви-Стросс любит ссылаться на основоположников марксизма. Он цитирует, в частности, известные слова Маркса: «Люди сами делают свою историю, но они не знают, что они ее делают». В действительности, пишут Макариусы, Леви-Стросс очень далек от Маркса. В то время как по Марксу люди не знают, что они делают свою историю, потому что она определяется материальными силами, которых они не сознают, — для Леви-Стросса история потому не осознается людьми, что она управляется бессознательными детерминациями, заложенными в их уме («dans leur esprit», стр. 100).

Следующая статья посвящена «понятию социальной структуры и ее идеологической роли в структурализме. Здесь показано, что в концепции Леви-Стросса понятие «социальной структуры» относится не к «эмпирической реальности», а к абстрактной «модели», через которую, по мнению французского ученого, только и можно достигнуть познания. Такой трактовкой социальной структуры преследуется, по словам Макариусов, «идеологическая цель — создать препятствие марксистскому объяснению социальных явлений» (стр. 105). Выраженные в «моделях» социальные факты уже не поддаются «исторической интерпретации», а ее-то больше всего боятся «консервативные

умы» (стр. 105). По Леви-Строссу, модель есть «единственная реальность» (стр. 106). Он резко различает «социальную структуру» и «социальные отношения» (стр. 109). Своим тезисом о том, что «социальная структура» относится к «модели», а не к «эмпирической реальности», Леви-Стросс достигает той цели, что проверка этой «модели» на фактах становится невозможной (стр. 110—111). Авторы иллюстрируют сказанное на примере трактовки Леви-Строссом обычаев обязательных и предпочтительных браков, запрета инцеста, экзогамии (стр. 112—123).

Общая идеологическая цель структурализма, по словам авторов, — «отвергнуть во что бы то ни стало марксистскую диалектику истории» (стр. 119, 120).

Чтобы познать некую социальную структуру, пишут они, недостаточно рассмотреть комбинацию ее элементов, — необходимо прямое и конкретное (т. е. этнографическое) изучение этих элементов. Структурализм же оставляет без рассмотрения содержание структуры, а «отсылает нас к алгебраическим формулам оппозиций... лишенных всякого значения» (стр. 136).

«Структурный анализ, — так заключается статья, — находит себе поле приложения только там, где факты, над которыми он манипулирует, являются и остаются непонятными. Тогда он укладывает их в оппозиции, отсылаемые к бессознательным и несводимым структурам ума, элементарным структурам непонимания (*structures élémentaires de l'incompréhension*)» (стр. 139).

Одна из статей сборника носит выразительное название «Печальные структуры» (*Tristes structures*) — проницательная пародия на заголовок одного из главных сочинений Леви-Стросса — «Печальные тропики». Макариусы подвергают здесь критике основной методологический тезис структурализма, согласно которому главный способ познания — проникнуть в «бессознательную структуру» ума, лежащую в основе каждого обычая (стр. 277). Этот тезис означает полный разрыв со всей существующей до сих пор методологией, требующей «рассмотрения фактов в их конкретных проявлениях» (стр. 278). Исторический и эволюционный подход заменяется «символическим» (стр. 279). Леви-Стросс пытается «превзойти» обычную «натуралистическую интерпретацию» явлений. На самом же деле он не «превосходит», а полностью ниспровергает этнологические методы: понятие социальной структуры «относится уже не к совокупности доступных наблюдений на эмпирическом уровне социальных отношений, а извлекается из моделей, построенных исходя из этих отношений» (стр. 280).

Авторы видят в этом ниспровержении Леви-Строссом этнологического метода проявление духа эпохи, обозначившегося с начала нашего столетия. Это эпоха «все более и более резкой враждебности к социологическому эволюционизму».

Леви-Стросс, по мнению Макариусов, страшно обедняет и главный предмет своего исследования — мифологию. «Отношение между мифами и обрядами, функция мифа как посредника между социальными требованиями и человеческой практикой, его идеологическая роль, направленная к оправданию общественного поведения, а также к тому, чтобы служить орудием объяснения, описания, напоминания, — все эти соображения устранены одним росчерком пера. Мифы, занимающие первостепенное место в первобытной жизни, — что показывает, что они отвечают общественным потребностям, на которые нельзя закрывать глаза, — все это низведено Леви-Строссом до ранга экзерсисов воображения, должностующих удовлетворить потребности логической связности, которую испытывают умы, мучимые принципом непротиворечия» (стр. 296).

Поэтому неудивительно, — пишут авторы, — что Леви-Стросс считает «самым важным» в мифах вовсе не их содержание, не реальную понятность мифа, а его «алгебраическую понятность» (стр. 296). На самом же деле объяснение и самого мифа, и его структуры может быть достигнуто «только через этнологический анализ его содержания» (стр. 298).

Общий итог всего изложения такой: «Несмотря на двусмысленность в выражениях, — пишут авторы, — имеющую целью сбить с толку и запугать критику, ход мысли Леви-Стросса восстановить нетрудно. Этнологические факты сами по себе не важны. Их специфический характер подвержен случайностям и капризам событий, и было бы тщетной претензией пытаться понять их исторически и социологически, т. е. конкретно. Имеют значение только отношения между фактами; природа фактов зависит только от случайности. Социальная жизнь группирует в наших глазах совокупности фактов, которые представляются нам как системы, обладающие объективностью, и структурированные отношениями, связывающими их между собой. Порожденные деятельностью людей, эти факты опосредствованы (*médiatisés*) и управляются умом недоступным для нас способом, т. е. структурами бессознательного» (стр. 311).

«В конце концов, все сводится к ответу на такой вопрос: законы, присущие уму и в то же время вещам — ибо ум есть вещь, — являются ли они законами ума, которые правят вещами, или законами вещей, которые правят умом? Это различие важно, так как оно отмежевывает идеализм от материализма, во всяком случае с марксистской точки зрения». Идеализм исходных позиций структурализма не оставляет сомнений (стр. 316).

В заключение авторы показывают, что попытки Леви-Стросса отмежеваться от идеализма, опереться на некоторые мысли Энгельса, защититься авторитетом Мосса и др. — неосновательны (стр. 316—320). Его система — идеалистическая. Только идеалист может сводить противоречия в социальной жизни к «бессознательным структу-



рам ума» и не видеть того, что все «оппозиции» в общественной жизни людей «вытекают из материальной структуры социальной организации, а не из мнимых структур ума» (стр. 323).

Авторы считают, что неправы те марксисты, которые пытаются примирить структурализм с марксизмом — «согласить несогласимое» (стр. 324—326).

\* \* \*

Такое вкратце содержание сборника полемических статей супругов Макариус. Попробуем резюмировать: что нового вносит в науку этот критический разбор структуралистской концепции Леви-Стросса? С каких позиций ведется критика? Во всем ли она правильна? Достаточно ли полна и принципиальна?

Эти вопросы, разумеется, не могут не быть спорными, и рецензент может здесь изложить лишь свою собственную точку зрения.

Прежде всего — насколько точен адрес критики? Авторы книги направляют свою полемику против «структурализма» как такового. Но, как известно, есть структурализм и структурализм. Под этим довольно неясным термином фактически кроются воззрения, весьма мало похожие друг на друга. При самом грубом обобщении нельзя не видеть принципиальной разницы между условно так называемым «французским» структурализмом (идущим идейно от сосюрковского направления в лингвистике, а косвенно от Дюркгеймовской социологической школы) и «английским» структурализмом, восходящим к функционализму Радклифф-Брауна. Существенную разницу между взглядами этого английского этнографа и взглядами Леви-Стросса Макариусы сами хорошо видят и все-таки продолжают полемизировать против «структурализма» как такового, хотя все принципиальные возражения, направляемые в данной книге против «структурализма», относятся по справедливости только к концепции Леви-Стросса и несколько не задевают английских структуралистов.

Посмотрим в таком случае, насколько правы авторы в своей полемике против собственно Леви-Стросса.

Мне думается, что им удалось действительно нащупать самый уязвимый пункт в теоретическом построении Леви-Стросса: это подмена изучения реальных фактов общественной жизни изучением «отношений» между этими фактами; пренебрежение содержанием общественных явлений в пользу одностороннего внимания к их формальной стороне; форма в отрыве от содержания — все это на самом деле нельзя не признать крупнейшими методологическими пороками, обесценивающими теоретические выводы исследования, обрекающими автора на чисто словесные рассуждения.

Макариусы, видимо, правы, полагая, что увлечение Леви-Стросса «игрой в оппозиции» сыграло недобрую роль в его отходе от изучения действительности. Умственные «оппозиции» заслонили от него реальные противоречия общественной жизни: он их не хочет видеть. Макариусы правы, очевидно, и в том, что Леви-Стросс нередко приписывает свои собственные «умственные оппозиции» изучаемым им отсталым народам; прежде всего это относится к пресловутому противопоставлению «природа — культура».

Но в этом пункте критика Макариусов, мне думается, неполна. Помимо «бинарных оппозиций», Леви-Стросс часто пользуется другой графической формулой — фигурой треугольника. И здесь еще отчетливее видно, в какой познавательный тупик заводит исследователя увлечение формально-графическими фигурами, абсолютно лишенными конкретного содержания. Исследователь, который видит какую-то аналогию между «кулинарным» треугольником (сырое — вареное — гнилое), фонетическими треугольниками (а—и—у, п—т—к), жизненным треугольником (жизнь — сон — смерть)<sup>4</sup>, явно стоит на пути, ведущем в никуда.

Интересна мысль Макариусов (но она требует серьезной проверки), что весь метод Леви-Стросса есть лишь спекуляция на недостаточной изученности предметов исследования. Эти предметы лишь до тех пор поддаются «игре в оппозиции», пока они не изучены конкретно, каждый в отдельности. Какая-то доля правды в этой критике, видимо, есть; однако едва ли можно делать из нее тот вывод, что, стоит-де хорошенько изучить каждое из явлений общественной жизни и культуры, и уже излишним будет интересоваться какими-то их структурными взаимосвязями.

Очень оригинальна и интересна с историографической точки зрения попытка Макариусов вскрыть социальные корни самого структурализма и его идейные связи с другими течениями в науке. Любопытна мысль (тоже требующая проверки) об американской школе Боаса (и особенно о его ученике Роберте Лоуи) как об идейных предтечах Леви-Стросса: они-де «дезинтегрировали» установившиеся некогда в науке связи между явлениями, расшатали эти связи и тем самым позволили «структуралистам» свободно комбинировать явления, как им вздумается. Сопоставление, однако, несколько неожиданное, ибо идейные истоки у американской «исторической» школы, с одной стороны, у западноевропейских структуралистов — с другой, — все же совсем разные:

<sup>4</sup> Cl. Lévi-Strauss, *Le triangle culinaire*, «L'Arc», Marseille, 1967, p. 26; его же, *La pensée sauvage*, Paris, 1962, p. 314.

у первой неокантианское противопоставление гуманитарных и естественных наук, доведенное до принципиального агностицизма и скептицизма в отношении всяких обобщений и поисков исторических законов; у вторых — позитивистско-идеалистический социологизм Дюркгейма, игнорирующий историю, но ищущий социальных законов.

Попытка же Макариусов обнаружить социальные, классовые корни у современного структурализма — найти эти корни в самом духе эпохи монополистического капитализма, конечно, заслуживает внимания; однако она грешит чрезмерным упрощением действительности. Связь новых идейных течений в этнографии с духом эпохи отрицать нельзя. Но она не такая уж однозначная. А главное, конечно, неправильно изображать всю историю этнографической науки с начала нынешнего столетия как сплошное и неуклонное падение, а структурализм — как низшую точку этого падения. Если бы это было так, история нашей науки приняла бы довольно странный вид.

В этом-то, пожалуй, и заключается самое слабое место полемики Макариусов против Леви-Стросса. Poleмика эта ведется с позиций эволюционизма XIX в. Эта эпоха представляется авторам как пора расцвета этнографической науки, а всякое отступление от эволюционизма в последующее время — как регресс науки. При этом эволюционизм запросто отождествляется с историзмом. Однако трудно стать на сторону авторов в этом вопросе. Огромное прогрессивное значение трудов классиков этнографии в то время — особенно трудов Моргана — отрицать невозможно. Однако и вернуться в наши дни к уровню науки XIX в. мы не можем. Наука в целом, несмотря на отдельные попятные шаги, движется вперед.

Занятая авторами позиция объясняет нам и то, почему они, уже много раз выступавшие в печати по поводу взглядов и работ Леви-Стросса, до сих пор не нашли у него (или не сочли нужным отметить) ни одной положительной идеи. Не сказано ни одного доброго слова. Получилась картина, даже мало правдоподобная: крупный ученый, человек богатой эрудиции, располагающий своим огромным полевым материалом, за много лет добросовестного труда так-таки ничего полезного для науки не сделал, а только все время тянул и тянет науку назад. Едва ли серьезного читателя удовлетворит такой вывод.

И еще один минус книги Макариусов: авторы ни словом не упоминают те дискуссии, какие имели и имеют место по поводу структурализма и, в частности, о взглядах Леви-Стросса. Не говорят ничего о своих предшественниках и единомышленниках по критике этих взглядов. Создается впечатление, будто авторы книги впервые в науке взяли на себя задачу критически разобратся в спорных проблемах структурализма. Но ведь это не соответствует действительности.

В заключение надо сказать, что едва ли оправдана сама резкость и непримиримость постановки вопроса, выразившаяся даже в заглавии книги: «Структурализм или этнология». Подчеркивается несомнимость этих двух вещей: или ты структуралист, или ты этнолог, т. е. этнограф. Этнолог не может быть структуралистом, структуралист не может быть этнологом. Но так ли это?

*С. А. Токарев*

## НАРОДЫ СССР

Е. П. Бусыгин, Н. В. Зорин, Е. В. Михайличенко. Общественный и семейный быт русского сельского населения Среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование (середина XIX — начало XX в.). Казань, 1973, 165 стр.

Рецензируемая книга — одно из свидетельств научной деятельности этнографов Казанского университета, с 1947 г. систематически изучающих русское сельское население Татарии. История этого населения органически связана со сложным миграционным движением русских в Приволжье, Заволжье, на Урал и в Сибирь, начавшимся со второй половины XVI в. Без конкретного представления об этом движении и его направлении, времени заселения русскими новых земель и их хозяйственном освоении нельзя выяснить характер хозяйственных, культурных, бытовых и идеологических взаимоотношений между оседавшим на территории Татарии русским и аборигенным населением. К сожалению, мы еще не располагаем новейшими обобщающими работами по истории заселения русскими Казанского Поволжья в XVI—XVIII вв. Посвящая свою книгу пореформенному периоду, авторы учли необходимость отразить особенности заселения русскими территории Татарии и в первой главе книги («Историко-этнографический очерк») показали, с одной стороны, хронологическую последовательность, а с другой — неравномерность заселения отдельных районов края со второй половины XVI в. и на протяжении последующих веков. Исследование, основанное на собранных путем многолетнего труда полевых, архивных и литературных данных, территориально охватывает всю бывшую Казанскую губернию и сопредельные с ней районы бывших Самарской, Симбирской, Уфимской и Вятской губерний. Наблюдения авторов о слож-

ном этническом составе переселенцев, об их чересполосном или совместном поселении с местным населением, о единой (в принципе) у тех и других ведущей отрасли хозяйства — земледелия — весьма существенны для понимания этнокультурных связей, отражавшихся в общественном и семейном быту русских. В этом же очерке подробно охарактеризована экономика сельских районов, уделено внимание разложению деревни под влиянием бурно развивавшихся во второй половине XIX в. капиталистических отношений. В частности, очень интересны результаты проведенного авторами анализа бюджетов 660 крестьянских семей в четырех русских селениях в конце XIX в. (стр. 35—38). Анализ органично дополняет широко привлекаемые авторами книги богатейшие материалы В. И. Ленина, приведенные в его книге «Развитие капитализма в России».

Положительной оценки заслуживает вторая глава «Общественная и культурная жизнь», в которой авторы рассматривают многообразные проявления этой жизни в рамках общинной сельской организации. Такой подход в современной историко-этнографической литературе осуществляется, пожалуй, впервые. Авторы прослеживают бытование различных по структуре типов общин — простых, сложных, раздельных, как с однопациональным (русские), так и с разнорациональным составом населения (русско-татарским, русско-марийским, русско-чувашским), что уже само по себе представляется принципиально важным для характеристики повседневного и многообразного межэтнического общения (трудового, общественного, семейного). Авторы датируют появление этнически смешанных общин, а также общин, объединявших переселенцев из разных районов Центральной России, во второй половине XVI — начале XVII в. По наблюдению авторов, именно тогда русскими переселенцами было внедрено понятие «выть» как территориальной структурной общинной единицы, так как его бытование в Казанской губернии во второй половине XIX в. совпадало с районами первоначального расселения русских (XVI — начало XVII в.). Эти наблюдения требуют, конечно, развития, и история общинной организации крестьянства на территории Татарии заслуживает специального исследования. Большую ценность для понимания земельного хозяйства общин в пореформенное время имеют приводимые в книге данные о трех типах земельных переделов: коренном (общем), частном и жеребьевке.

Длительная совместная жизнь в разных по этническому составу общинах способствовала не только культурно-бытовым взаимовлияниям, развитию многоязычия, но и выработке определенных правил общинного самоуправления. Авторы, очень живо и подробно описав устройство и функции общин, в частности, подчеркивают, что в разнорационных общинах каждая этническая группа периодически получала преимущественное право на выбор своих кандидатов в старосты.

Не меньший интерес представляют наблюдения о привнесении русскими переселенцами, выходцами из разных областей Центральной России, своих представлений в те или иные народные праздники, а также о переосмыслении отдельных элементов верований представителями разных этнических групп под влиянием своих непосредственных соседей. Авторы справедливо считают, что многие этнические элементы русских народных праздников могут быть использованы в качестве дополнительных источников при изучении исторических связей между различными территориальными группами населения, а также при изучении происхождения и формирования этих групп (стр. 70). Весьма показательна в этом отношении картосхема распространения элементов масляничной обрядности, на основании которой можно судить о районной локализации традиций и обычаев, отнюдь не единообразных, на территории Казанской губернии во второй половине XIX в. и вместе с тем имеющих аналогии в различных губерниях России. Раздел этой главы, посвященный циклам народных праздников, особенно зимнего периода, содержит много тонких наблюдений об их особенностях.

В третьей, заключительной, главе книги, посвященной семье и семейному быту, авторы стремились раскрыть наиболее характерные явления, определявшие процесс развития семейного строя русских с момента заселения ими территории Татарии (разнотипная структура семей и их людность), своеобразие родственных и внутрисемейных отношений и распорядка жизни, проявлявшегося как в повседневном быту, так и в праздничной обрядности.

Авторы вполне обоснованно определяют преимущественное распространение трех культурно-бытовых комплексов, исторически сложившихся в процессе заселения русскими рассматриваемой территории. В северо-западном районе наблюдалось смешение элементов средневеликорусского с северовеликорусским укладом; в юго-западном — на фоне общего средневеликорусского комплекса отчетливо проявлялись южновеликорусские элементы. Наконец, у русского населения в восточном районе прослеживается синтез элементов, наблюдаемых у русских центральных, северо-восточных и южных районов России (стр. 162, 163).

Интересно написанная книга казанских этнографов заслуживает весьма положительной оценки. Авторов можно упрекнуть лишь в том, что подчас объяснение некоторых явлений не основывается на конкретном материале. Так, в частности, авторы полагают, что после реформы 1861 г. ревизская раскладка земли «обуславливалась фискально-крепостническими пережитками, стремлением собрать наибольшее количество податей» (стр. 65). Однако, не зная порядка персонального тяглового обложения в общинах в крепостное время, делать такой вывод преждевременно. Весьма сомнительна мысль о том, что введение подушной подати обуславливало равенство надельных участ-

ков на каждую ревизскую душу (стр. 48). Слишком прямолинеен также вывод о том, что под влиянием капиталистических отношений в деревне общественные праздники превращались в семейные (стр. 90). Требуется серьезной проверки мысль авторов о более демократическом характере больших семей, состоявших из женатых братьев, по сравнению с семьями, возглавлявшимися отцами (стр. 99, 100). Патриархальный уклад семейного быта разрушался по мере развития товарно-денежных отношений — в этом авторы правы (стр. 110), но этот процесс шел не после отмены крепостного права, как они думают, а значительно раньше.

*В. А. Александров*

**Очерки по истории хозяйства народов Средней Азии и Казахстана, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. XCVIII. Л., 1973, 260 стр.**

В течение последних двух десятилетий Институтом этнографии АН СССР совместно с научными учреждениями среднеазиатских республик был опубликован ряд работ, связанных с подготовкой историко-этнографического атласа Средней Азии и Казахстана<sup>1</sup>. Одна из этих работ — рецензируемый сборник, выпущенный Институтом этнографии АН СССР и Институтом истории им. Ш. Батырова АН Туркменской ССР под редакцией С. М. Абрамзона и А. Оразова.

Сборник состоит из 19 статей и введения, написанного Т. А. Жданко, в котором кратко излагается структура готовящегося атласа.

Первой в сборнике помещена статья Б. В. Андрианова «К вопросу о классификации форм орошаемого земледелия в Средней Азии». Автор на основании анализа истории развития орошения в изучаемом регионе приходит к выводу, что приемы ирригации зависели не только от местных природных условий, но и в значительной степени от уровня развития общества и конкретной истории народов, обитавших в данной области. В процессе подготовки историко-этнографического атласа Средней Азии и Казахстана по этой теме выяснилось, что у нас до сих пор нет обобщающих работ, которые можно было бы использовать для классификации форм орошаемого земледелия и составления карты в масштабах всей Средней Азии. Поэтому в основу карты следует положить данные, полученные в результате исследования истории орошения в основных природных зонах у разных народов.

Как бы продолжением работы Б. А. Андрианова являются некоторые другие статьи сборника, посвященные более частным вопросам. Так, например, в статье М. Аннанепесова «Из истории земледелия и ирригации у туркмен до присоединения к России» отмечается, что характерной чертой туркменского земледелия было повсеместное преобладание зерновых культур, хотя туркмены культивировали также хлопок, рис, бахчевые и овощные культуры; было им знакомо и садоводство. Автор подчеркивает, что в среднем течении Амударьи туркмены из-за острого недостатка пахотных земель не практиковали переложную систему поливного земледелия, которая была характерна для Южной Туркмении. В статье приведено большое количество сельскохозяйственных терминов; однако, к сожалению, их этимология отсутствует. Впрочем, этот недостаток присущ и многим другим статьям сборника.

Орошению у туркмен посвящена статья Д. М. Овезова «Кяризная система водоснабжения Копетдагской группы районов Туркмении в XIX — начале XX в.». В работе, написанной главным образом на основании полевых исследований автора, дается более детальное и всестороннее по сравнению с предыдущими работами, описание кяриза — оригинального устройства для добычи воды из-под земли, а также подробно рассматриваются орудия, которые употреблялись для рытья кяризов. Статья богато иллюстрирована.

На материалах полевых исследований, музейных и литературных данных написана статья А. С. Бежковича «Историко-этнографические особенности киргизского земледелия», в которой исследуются основные методы и приемы обработки почвы и ухода за растениями, а также сбора, обмоласта и хранения урожая. Автор вводит в научный оборот ряд новых деталей, например по технике пахоты, сева и т. п. Большой интерес представляют отмеченные А. С. Бежковичем некоторые особенности киргизского земледелия, характерные только для кочевых и полукочевых народов Средней Азии и Казахстана: посев с коня, охрана полей верховыми, веяние при помощи ветра, а также сохранение у киргизов весьма архаических сельскохозяйственных орудий (например, серп из бараньей челюсти или из конского ребра), бытовавших здесь еще во второй половине XIX в.

<sup>1</sup> Подробно об этих работах см.: Т. А. Жданко, Историко-этнографический атлас Средней Азии и Казахстана (принципы и методы составления), «Сов. этнография», 1971, № 4.

Привлечение широкого сравнительного материала позволило автору установить сходство киргизского земледелия с казахским, узбекским, таджикским, туркменским и каракалпакским, а также показать прогрессивное влияние на него русских и украинских переселенцев. В этом плане можно лишь пожелать автору дополнить в некоторых случаях эти сравнения. Так, в статье отмечается, что киргизы «производили посев прямо по стерне», а уже потом пахали (стр. 50). По нашим данным, так же поступали казахи Восточного Казахстана<sup>2</sup> и туркмены Атекского оазиса<sup>3</sup>. Деревянная ступа для обработки зерна, подобная киргизской, была не только у бакир, на что указывает автор (стр. 67), но и у туркмен<sup>4</sup> и казахов<sup>5</sup>.

В отдельных статьях сборника освещаются различные стороны развития животноводства у народов Средней Азии и Казахстана в XIX — XX вв.

В статье А. Оразова «Некоторые формы скотоводства в дореволюционной Туркмении» отмечается, что в рассматриваемый период в западных районах Туркмении, где преобладало кочевое население, в основном были известны две формы скотоводства: кочевая и полукочевая, среди оседлого населения была распространена отгонно-пастбищная система скотоводства.

Два способа получения питьевой воды в пустыне Каракумы (сбор атмосферных осадков и добыча грунтовых вод из колодцев) подробно описаны в статье М. Гельдыханова «О формах и способах добычи воды в пустыне Каракумы».

Б. Х. Кармышева в статье «Степень изученности скотоводства у таджиков и узбеков» детально рассмотрела имеющиеся материалы по данной теме. Это позволило ей наметить основные задачи по дальнейшему сбору материала по теме «Скотоводство» для историко-этнографического атласа Средней Азии и Казахстана.

О способах содержания скота, работе пастухов и условиях их найма, а также о некоторых обрядах и поверьях, связанных со скотоводством у полуседлых и оседлых узбеков в конце XIX — начале XX в., говорится в статье К. Шаниязова «Отгонное животноводство у узбеков». В ней отмечается также, что в результате победы колхозного строя в Узбекистане были созданы благоприятные условия для быстрого подъема животноводства в колхозах и совхозах, расположенных в предгорных и пустынно-степных зонах Узбекистана, где отгонно-пастбищное скотоводство успешно сочетается с богарным и отчасти поливным земледелием и садоводством.

Освещению особенностей еще малоизученной отрасли животноводства у киргизов Восточного Памира — яководству — посвящена статья Ю. А. Шибайевой «Животноводство у киргизов Восточного Памира». Большое место в работе занимают вопросы колхозного строительства в этом районе, имеющего ряд специфических особенностей. Рассматривается в ней также современный быт колхозников. Статья снабжена большим количеством иллюстраций. Однако не все они, к сожалению, выполнены удачно. Так, на рис. 10 «План и разрез усадьбы Абибовых в кишлаке Шеймак» (стр. 127, рис. 10) загон для скота на разрезе расположен с левой стороны, а на плане — справа.

В статье «К вопросу о водоземельных отношениях у туркмен Атека в конце XIX — начале XX в.» К. Атаев сообщает, что в этом районе Туркмении были распространены как общинно-переловная (саншиковая), так и частная (мольковая) формы земле- и вододополнения, причем первая, по утверждению автора, возникла раньше.

Р. Я. Рассудова в статье «Хозяйство Каттакурганского уезда Самаркандской области в конце XIX — начале XX в.» отмечает, что от направления хозяйства (земледелие в долине и сочетание земледелия со скотоводством в степных и предгорных районах), а также от его интенсивности зависели характер и причины перемещения населения в зимний и летний периоды, а также развитие у него оседлости.

В статье «Некоторые особенности хозяйства казахов Копальского уезда Семиреченской области (в конце XIX — начале XX в.)» Х. Аргынбаев детально обосновывает вывод, что в этом районе господствовал смешанный скотоводческо-земледельческий тип хозяйства. Казахи этого уезда в отличие от жителей других районов Казахстана кочевали в меридиональном направлении, т. е. с севера на юг, с берегов оз. Балхаш до снежных хребтов Джунгарского Алатау. Издавна казахи этого района занимались также поливным земледелием.

Каракалпакам с давних пор известно комплексное ведение хозяйства.

У. Шелекенов в статье «О сочетании скотоводства и земледелия в разных географических зонах Каракалпакии в конце XIX — начале XX в.» указывает, что природные особенности низовьев Амударьи способствовали развитию в оазисах орошаемого земледелия; жители же окраины оазисов и дельты Амударьи специализировались на животноводстве,

<sup>2</sup> См.: Полевые материалы В. Курылева, собранные в Восточно-Казахстанской области Казахской ССР в 1973 г., Архив Ленинградского отделения Ин-та этнографии АН СССР, ф. К-1, оп. 2, л. 970, л. 41.

<sup>3</sup> К. Атаев, О приемах земледелия туркмен Атека в конце XIX — начале XX в., «Очерки по истории хозяйства и культуры туркмен», Ашхабад, 1973, стр. 53.

<sup>4</sup> Там же, стр. 57.

<sup>5</sup> Х. Аргынбаев, Историко-культурные связи русского и казахского народов и их влияние на материальную культуру казахов в середине XIX и начале XX веков (по материалам Восточного Казахстана), «Тр. Ин-та истории, археологии и этнографии АН КазССР», т. 6, Алма-Ата, 1959, стр. 81.

а Южный Арал был основной базой рыболовства, причем во многих местах дельты эти отрасли хозяйства сочетались. Статья С. Атияязова «Отражение в топонимике природно-хозяйственных условий Туркменистана» посвящена связи топонимов с хозяйственной деятельностью человека, а также с природными условиями и животным миром в районах орошаемого земледелия.

Обширные сведения о скотоводстве, земледельческих работах и главным образом обрядности, собранные В. Н. Басиловым за время полевой работы в течение нескольких лет, изложены им в большой статье «Хозяйство западных туркмен-ёмудов в дореволюционный период и связанные с ним обряды и верования». Автор подробно останавливается на скотоводческих и земледельческих обрядах и поверьях туркмен-ёмудов, сообщая много новых данных в этой области. Он отмечает, что ряд связанных с хозяйством верований у туркмен хранят следы шаманизма. Отмечая, что В. Н. Басилов не только излагает собранный им полевой материал по сельскохозяйственной обрядности, но и поднимает вопросы методики его сбора. Во многих случаях автор приводит сравнения с аналогичными обрядами у других народов. Так, он отмечает, что обычай «завязывания пасти» волку был известен таджикам и грузинам (стр. 196). Добавим, что этот обычай бытовал также у турок Малой Азии<sup>6</sup>. То же самое можно сказать об обряде вызывания дождя «сюйтгазан» у западных туркмен-ёмудов. Параллели этому обряду можно обнаружить не только в традициях узбеков и таджиков (стр. 199), но и у турок<sup>7</sup>. Несколько неожиданным для читателя является включение всех обрядов, связанных с вызыванием дождя у туркмен, в раздел скотоводческой обрядности, тем более что сам автор в другой своей работе причисляет «хозяина дождя» (Бурх-Буркут) к пережиткам аграрного культа<sup>8</sup>.

Четыре заключающие сборник статьи посвящены изучению накопленного в нашей стране опыта по созданию условий для оседания кочевников и полукочевников Средней Азии и Казахстана. Это статьи Б. А. Федоровича «Природные условия аридных зон СССР и пути развития в них животноводства», А. Турсунбаева «Переход к оседлости кочевников и полукочевников Средней Азии и Казахстана», О. Р. Назаревского «Современные формы пастбищного животноводства в пустынных и горных районах Казахстана и республик Средней Азии» и С. М. Абрамзона «Влияние перехода к оседлому образу жизни на преобразование социального строя, семейно-бытового уклада и культуры прежних кочевников и полукочевников (на примере казахов и киргизов)». В последней работе поднимается ряд важных, малоизученных проблем, к сожалению в тезисной форме. Так, С. М. Абрамзон отмечает, что переход от привычных норм кочевой жизни к оседлой был связан не только с преодолением кочевниками старых навыков и привычек, но и с психологическим и материальным освоением нового для них оседлого быта. Именно этим вызвано появление ряда переходных форм, например сосуществование наряду с жилым домом юрты и т. п. Переводу кочевников и полукочевников на оседлость способствовали не только экономическая помощь, но и различные административные мероприятия, а также культурно-бытовое обслуживание.

В целом сборник, характеризующий основные традиционные формы хозяйства (земледелие и скотоводство) у народов Средней Азии и Казахстана, является существенным вкладом в подготовку историко-этнографического атласа по этим регионам. Однако следует, к сожалению, отметить, что не все статьи сборника снабжены картами. Особенно ощущается отсутствие карт в статьях А. С. Бежковича, К. Шаниязова, С. Атияязова. Возможно, авторы сознательно отказались от их публикации, чтобы облегчить издание сборника. Выход из этого положения можно было найти, по нашему мнению, в том, чтобы дать хотя бы одну общую для всего сборника карту Средней Азии и Казахстана. Это значительно облегчило бы восприятие публикуемого материала.

В. П. Курылев

<sup>6</sup> В. А. Гордлевский, Османские суеверия о зверях (материалы). Избр. соч., т. IV, М., 1968, стр. 88; Н. Z. Koşay, S. Kiliç, Güzelova (Erzerum) etnografya ve folkloruna dair notlar, «Türk etnografya dergisi», 1965, N 6, s. 87.

<sup>7</sup> M. Köse, Godu-Godu («Kepçese gelin»), «Türk folklor araştırmaları», 1965, N 167, s. 3650—3652; G. Aydinoglu, Delice Hacıobacı köyünde yağmur duası, «Türk folklor araştırmaları», 1970, N 252, s. 5684.

<sup>8</sup> В. Н. Басилов, Культ святых в исламе, М., 1970, стр. 12—14.

Художественные промыслы РСФСР. Справочник, М., 1973, 302 стр.

Рецензируемая работа (составители В. Г. Смолицкий и З. С. Скавронская), подготовленная большим авторским коллективом сотрудников Научно-исследовательского института художественной промышленности, — первый справочник по художественным промыслам РСФСР. Книга состоит из введения и 12 разделов. Во введении, представляющем собой экскурс в историю развития народного искусства, рассказано о традиционных и новых направлениях в художественных промыслах и о созданных в последнее время новых предприятиях художественной промышленности. В справочник вклю-

чены материалы о всех народных художественных промыслах РСФСР разного ведомственного подчинения.

Каждый раздел справочника посвящен определенному виду народного искусства и открывается вступительной статьей, в которой кратко изложена история развития художественного промысла: дано описание наиболее типичных технологических процессов и приемов художественного оформления изделий, помещены сведения о художественно-стилевой направленности и объеме работ на различных предприятиях со дня их основания; указаны места размещения имеющихся предприятий, фамилии лучших мастеров и другие сведения.

В конце разделов помещены указатели литературы и иллюстрации.

Раздел I — «Строчка и вышивка» (стр. 11—65) знакомит читателя с одним из древнейших видов народного искусства — русской народной вышивкой, применяющейся для украшения одежды и предметов убранства крестьянского интерьера. Подробно рассматривается техника народной вышивки разного времени и различных областей РСФСР.

В разделе II — «Кружевоплетение» (стр. 66—82) прослеживается развитие техники плетения вологодских, вятских и елецких кружев с XVII по XIX в. Прекрасные иллюстрации, помещенные в разделе, убедительно свидетельствуют о высоком уровне кружевоплетения и в наши дни.

Раздел III — «Роспись тканей» (стр. 83—96) открывается утверждением, что это «сравнительно новый вид декоративно-прикладного искусства», зародившийся в 30-е годы XX в. Однако среди иллюстраций, помещенных в разделе, мы видим фотографию мебельных набойных тканей начала XX в. Кроме того, во время многолетних экспедиций автор рецензии в крестьянском быту неоднократно встречал ткани (головные платки, занавеси и другие вещи), расписанные местными «красильщиками» в XIX в. О красильщиках-отходниках XIX в., расписывавших в деревнях холсты и готовые изделия, имеются сведения и в документах архивов.

В разделе IV — «Художественное ткачество» (стр. 97—109) читатель найдет материалы о предприятиях ручного узорного ткачества, созданных в советское время на базе давних местных художественных промыслов.

В современных узорных тканях широко используются технические и художественные приемы народного ткачества, традиционные цветовые сочетания и переплетения, что придает им своеобразие и национальный колорит. Об этом свидетельствуют иллюстрации, помещенные в конце раздела.

Весьма содержателен V раздел — «Ковроткачество (ручное)» (стр. 110—137), где читатель, помимо основных сведений об имеющихся в РСФСР ковровых фабриках, найдет материалы по истории развития одного из самых распространенных видов народного декоративно-прикладного искусства. По каждому предприятию указан вид выпускаемых ковров (гобелены, паласы, ворсовые, махровые и др.).

Раздел VI — «Художественная обработка металла» (стр. 138—176) знакомит читателя с предприятиями Ростова, Мстеры, Великого Устюга, Златоуста, Павлова и другими, выпускающими художественные изделия из металла.

В разделе VII — «Художественная обработка дерева» (стр. 177—214) говорится о давних традициях художественной обработки дерева и разнообразии ее приемов и техники.

Раздел VIII — «Художественная обработка камня» (стр. 215—231) начинается беглым историческим экскурсом в XI—XII вв., когда во Владимире на наружной стене Дмитриевского собора создавались из камня рельефные изображения птиц, львов, цветов.

Значительное место в разделе уделено характеристике различных современных камнерезных предприятий.

В разделе IX — «Художественная обработка кости и рога» (стр. 232—244) авторы пишут о костерезном искусстве, имеющем богатые художественные традиции, сохраняемые и развиваемые на предприятиях Европейского Севера, в г. Тобольске, на Чукотке.

На большинстве новых фабрик художественных изделий, помимо традиционных материалов, широко используются новые материалы (оргстекло, пластмасса и др.).

Раздел X — «Художественная керамика» (стр. 245—269) знакомит с широкой сетью предприятий, изготавливающих различные виды керамических изделий, начиная от чернолощеной гончарной посуды и кончая фарфором.

В разделе XI — «Художественные лаки» (стр. 270—281) рассказывается о технологии изготовления изделий из лакированного папье-маше с миниатюрной росписью, приводятся данные о художественных фабриках в Палехе, Мстере и Холуе.

Несколько нарушают восприятие исторической справки о лаковой миниатюре сведения о жостовских расписных подносах, которые лучше было дать в конце вводного текста.

Раздел XII — «Прочие художественные изделия» (стр. 290—296) содержит интересные материалы об изделиях из меха и кожи; сведения об Оренбургском пушовойальном промысле, истории его развития и технологии изготовления изделий из пуха.

В заключение хочется подчеркнуть, что рецензируемый справочник, выпущенный издательством «Легкая индустрия», будет полезен широкому кругу людей, интересующихся народным искусством.

*А. А. Лебедева*

Грузинское народное поэтическое творчество (пер. с грузинского). Отв. ред. Е. Б. Вирсаладзе. Тбилиси, 1972, 551 стр. Грузинские народные предания и легенды. Составление, перевод, предисловие и примечания Е. Б. Вирсаладзе. М., 1973, 368 стр.

О работах грузинских фольклористов у чехословацких ученых представление далеко не полное, так как лишь немногие из них владеют грузинским языком. Поэтому информацию о грузинском фольклоре они черпают из переводов на русский, немецкий или английский языки.

Особый интерес для чешских ученых представляет изданная на русском языке монография «Грузинское народное поэтическое творчество». По сравнению с грузинским двухтомным изданием, вышедшим в 1960—1967 гг., с которого сделан перевод, этот труд значительно переработан.

В создании рецензируемой книги участвовали Е. Вирсаладзе, К. Сихарулидзе, М. Чиковани, Т. Окрошидзе, А. Цанава.

«Грузинское народное поэтическое творчество» — первая в советской фольклористике монография на русском языке, содержащая систематический обзор основных проблем грузинского фольклора. В ней даны исторические сведения о грузинском фольклоре, истории его собирания и изучения и характеристика традиционных жанров грузинского народного творчества, созданных до Великой Октябрьской социалистической революции. Книга состоит из 17 глав:

1. Народная словесность (М. Чиковани);
2. Древние письменные сведения о народной словесности (М. Чиковани);
3. История собирания и изучения грузинской народной словесности (М. Чиковани);
4. Трудовые песни (Т. Окрошидзе);
5. Обрядовая поэзия (К. Сихарулидзе, раздел «Заговоры» написан Т. Окрошидзе);
6. Пословицы (К. Сихарулидзе);
7. Загадки (М. Чиковани);
8. Мифы (Е. Вирсаладзе);
9. Сказки (Е. Вирсаладзе);
10. Эпос (М. Чиковани);
11. Геронические песни (К. Сихарулидзе);
12. Баллады (М. Чиковани);
13. Историческая поэзия (К. Сихарулидзе);
14. Лирика (Е. Вирсаладзе);
15. Духовные песни (А. Цанава);
16. Народная драма (М. Чиковани);
17. Устная поэзия рабочих (А. Цанава).

Даже простой перечень названий глав монографии свидетельствует о том, что в ней, с одной стороны, рассматриваются основные теоретические и исторические проблемы грузинской фольклористики, с другой — раскрывается богатство жанров грузинской народной словесности. Это позволяет оценить творчество грузинского народа в широком контексте всей его культуры, созданной в течение тысячелетий и документированной археологическими и архитектурными памятниками, языком, литературой, философией, изобразительным искусством, музыкой, медициной и т. д. Создававшийся в течение многих веков грузинский фольклор несет на себе отпечатки различных исторических эпох. Как говорится в предисловии, в одном и том же памятнике или сюжете могут быть зафиксированы отзвуки различных эпох (стр. 8). Изучение устной словесности, однако, помогает нам не только восстановить образы прошлого, но и понять современное состояние фольклора. Можно сказать, что с этой точки зрения авторы рецензируемого труда, используя исторический подход при изучении всех фольклорных феноменов, ясно показали динамичность этих явлений, проследив их возникновение, развитие и исчезновение.

Грузинские фольклористы создали значительный труд, в необходимости которого не может быть сомнений. Они ограничились традиционным фольклором, однако в близком будущем обещают читателям том, посвященный грузинскому советскому фольклору.

\* \* \*

В книге «Грузинские народные предания и легенды», вышедшей в серии «Сказки и мифы народов Востока», впервые на русском языке хорошо представлены грузинские предания и легенды. Но ценность сборника не только в этом. Текстам предшествует детальное исследование, скромно названное автором «Предисловие». В действительно же на основе широко использованной литературы Е. Б. Вирсаладзе дает здесь исчерпывающий анализ грузинских преданий и рассказывает о проблемах, связанных с их изданием.

Не менее тщательно оформлен и научный аппарат (стр. 313—361). К каждому тексту дан источник (имя собирателя, время записи, имя информатора и все имеющиеся публикации). Когда это возможно, автор указывает сходные мотивы и сюжеты, ссылаясь на «Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне — Н. П. Андреева» (Л., 1929), «Мотивы — индекс народной литературы» Ст. Томпсона (т. I—IV, Копенгаген — Блумингтон, 1955—1957) и на А. Ван-Генеп «Фольклор Дофин (Изер)» (т. I—II, Париж, 1923, 1932 гг.). Кроме того, примечания содержат пояснения к текстам. За примечаниями следует библиография (стр. 361, 362).

Если фольклориста прежде всего заинтересуют вводная статья и примечания, то широкого читателя привлекут тексты (этим мы не хотим сказать, что сами легенды и предания менее важны для специалиста). Насколько мы можем судить, отбор текстов глубоко продуман, классификация их сделана удачно. Е. Вирсаладзе членит материал,



как это видно из заглавия, на два неодинаковых по объему раздела: предания в широком смысле этого слова (стр. 45—257) и легенды (стр. 257—312). Внутри первого раздела материал делится на 16 подразделов:

1) предания космогонического характера — о возникновении земли, небесных тел и о характере явлений природы; 2) предания о духах — покровителях зверей, леса, скал, воды; 3) предания о дэвах; 4) предания об общинно-племенных божествах, так называемых божьих детях «хвтишвилах» и об их борьбе с дэвами; 5) предания о прикованном Амирани; 6) предания о великанах и карликах; 7) предания о змеях-дарителях; 8) предания о духах, возбудителях болезней; 9) предания о происхождении морей, рек, озер, гор и ущелий; 10) предания о животных, птицах и растениях; 11) предания о выдающихся исторических деятелях; 12) предания о народных героях — борцах за родину; 13) предания о борцах против феодального гнета и крепостничества; 14) предания о строительстве крепостей, башен, городов, сел и храмов; 15) предания о происхождении золота, вина, музыкальных инструментов; 16) предания моралистическо-философского характера: о жизни и смерти, о любви, сыновней любви и др.

Под легендами автор подразумевает не сказки легендарного типа (как в классификации Аарне — Томпсона), а рассказы апокрифического и морально-дидактического характера.

Можно было предполагать, что отдельные предания, в основном несказочного характера, очень далеки от произведений этого жанра у других народов, в частности у чехов, потому что предания вообще не столь интернациональны, как сказки и анекдоты, и более связаны с определенными этническими рамками. Однако нельзя не учитывать локальные черты отдельных преданий. Мы знаем, что эта локализация подчас носит так называемый вторичный характер, и отдельные мотивы преданий, так же как и сюжеты, могут переноситься или возникать полигенетически в местностях, весьма отдаленных одна от другой и различных по своему историческому развитию. Поэтому случается, что часть фонда преданий обнаруживает большую близость там, где мы не могли как будто бы этого ждать.

Вчитываясь в тексты сборника в поисках параллелей и вариантов, мы нередко бываем удивлены их близостью к чешским преданиям. В этом плане наиболее интересно предание об основании города Тбилиси (стр. 159, 160, № 108). Нужно отметить, что это предание известно и в других вариантах.

Приведем вариант, опубликованный в 1970 г. в одном из путеводителей для туристов: «Однажды царь Вахтанг Горгасали охотился в местности, где сегодня расположен город Тбилиси, и ранил оленя. Раненое животное упало в ручей, где его рана излечилась чудесным образом. Олень исчез в лесу. Удивленный царь приказал обследовать ручей. Как оказалось, горячий источник был целебным. На этом месте царь основал город и дал ему название Тбилиси, что по-грузински означает „теплый город“». Идентичное предание связывается и с городом Карловы Вары.

Из этого примера мы видим, что предания грузинского народа не так далеки от чешских. Таким образом, к сегодняшним нашим знаниям этноэтнического характера необходимо подходить, ориентируясь на более широкие территории. Книга Е. Вирсаладзе дает нам научно достоверный, документированный материал. Классификация этого материала и ряд глубоких наблюдений и мыслей, высказанных в исследовании, будут полезны для дальнейшей ориентации наших фольклорных работ.

В. Гашипарикова

## НАРОДЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ

N. F. Pavković. *Pravo preče kupovine u običajnom pravu Srba i Hrvata. Studija iz pravne etnologije*. Beograd, 1972, 226 str.

У истоков правовых воззрений византийцев имеется акт, пользующийся широкой известностью среди историков. Это указ Романа Лакапина 922 г. об условиях продажи крестьянами своих земельных участков пользуется широкой известностью среди историков. Согласно этому акту крестьянин должен был сначала предложить землю родственникам, затем последовательно — совладельцам, соседям, чьи участки граничат с продаваемым, наконец, соплательщикам налогов. И только в случае их отказа от покупки, землю можно было продавать на сторону. Этот интересный документ, восходящий к указу императора Льва Арсения 468 г., ученые уже давно сопоставляют с правом *предпочтительной покупки*, которое было широко распространено у народов Балканского полуострова.

Задача собрать, описать и изучить все проявления этого права уже сама по себе чрезвычайно значительна. Впрочем, у Николы Павковича, профессора Белградского университета, взявшегося за ее решение, была и другая цель: он постарался выяснить, действительно ли право предпочтения сложилось у южных славян под византийским

влиянием, как это нередко утверждают ученые (Сахариз фон Лингенталь, С. Новакович, А. Соловьев), или оно появилось самостоятельно как порождение их аграрных распорядков.

Книга, которую Н. Павкович написал в поисках ответа на этот вопрос, находится на стыке этнографии, истории права и истории социальных отношений. Она состоит из девяти глав, объединенных в четыре части. В I и II главах рассматривается состояние исследования проблемы и обосновывается диалогический метод изучения материала. В III главе дается обзор литературы; в ней приводятся сведения о существовании права предпочтения у греков, римлян, древних германцев, чехов, поляков и русских. В IV главе — «Право предпочтения в средние века. Земля — основа существования» — автор рассматривает коллективный характер собственности на землю в качестве одной из предпосылок возникновения будущего права предпочтения и характеризует круг людей, пользовавшихся этим правом. V глава — стержневая в книге. В ней исследованы основные формы проявления изучаемого института. Землевладелец, отчуждающий землю, должен: а) либо предложить ее родственникам или односельчанам, б) либо испросить их согласия на отчуждение; в) либо, наконец, родичи (соседи) могут использовать право выкупа на уже проданную землю. Павкович подробно, пункт за пунктом рассматривает условия, сопровождающие выкуп, и условия, на которых совершается объявление о продаже участка, анализируя круг лиц, пользующихся правом выкупа.

Попытка автора оценить, как средневековое государство относилось к праву предпочтения (гл. VI), оказалась малоудачной, а вот позиция церкви охарактеризована очень убедительно: церковь резко враждебно относилась к предпочтительной практике, мешавшей концентрации церковных имуществ.

Значительный интерес представляет VII глава, в которой говорится о причинах сохранения права предпочтения при турках. VIII глава посвящена пережиткам изучаемого правового института на окраинах Балканского полуострова — на Военной Границе, в Воеводине, в Далмации и Черногории. Она построена на весьма оригинальном материале, наиболее интересном с этнографической точки зрения, — записях обычного права. Отметим попутно, что терминов, под которыми право предпочтения известно в литературе («првокуп», «прекуп», «право прече куповине»), народ не знает, они подобно «задруге» созданы в кабинетах ученых. Наконец, IX глава «Право предпочтения сейчас» позволяет судить о чрезвычайной жизнеспособности этого института; в отдельных областях он сохранился, хотя и в несколько ослабленной форме, до второй мировой войны. Таково содержание книги.

В конце работы Павкович подробно анализирует взгляды С. Новаковича и А. Соловьева, полагающих, что славянский «првокуп» возник под непосредственным воздействием византийского права, и показывает недостатки их аргументации (стр. 127—130). Сам автор решает проблему следующим образом: право предпочтения является институтом, одновременно возникающим у разных народов, его происхождение «полицентрично». Этот институт развивается повсюду примерно одинаково, хотя и со специфическими вариациями (стр. 210).

Рассматривая право предпочтения, автор вовлекает в анализ всю проблему собственности на землю. Уже в самом начале работы говорится о том, что в народном сознании очень редко существует понятие полной («абсолютной») собственности. Как правило, речь идет о реальной принадлежности земли, о владении ею, о ее фактическом использовании (стр. 30, 31). Таким образом, в далеком прошлом для общинника наиболее существен был не титул собственности, а сама земля, как реальное благо, как объект приложения его труда, наконец, как место, где похоронены его предки, с которым он и его родственники поддерживают «интимную связь»<sup>1</sup>. Этот факт, отмеченный в книге, в последнее время все чаще привлекает внимание исследователей. На отношение человека к земле, таким образом, накладываются представления родо-племенного общества, целый комплекс кровнородственных воззрений. Поэтому землю не только должны были отчуждать лишь в родственные руки, но зачастую вообще не должны были никак отчуждать. «Не подобает потерять [родовую землю] или растратить без великой нужды», — гласит хорошо известная норма Полицкого статута (ст. 49а). Таким образом, собранный Павковичем материал из истории обычного права (причем не только средневекового, но и значительно более позднего, вплоть до наших дней) доказывает устойчивость такого отношения к земле.

В книге высказывается мнение, что право предпочтения является выразительным симптомом существования коллективной собственности на землю, защищающей себя в классовом обществе от индивидуалистических посягательств, — эта мысль повторяется неоднократно. Автор не сомневается в том, что корни этой собственности (а тем самым и права предпочтения) восходят ко времени распада родо-племенного общества; однако он не очень последовательно формулирует эту мысль. «Право родственников появляется в ходе длительного процесса трансформации родо-племенного общества в направлении имущественной и классовой дифференциации, оно возникает как реакция

<sup>1</sup> См. А. Я. Гуревич, Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе, М., 1970, стр. 38, 39.

на распад [выделено Н. Павковичем]... коллективной собственности на землю» (стр. 210).

Конечно, трудно удержаться от естественного вопроса: что же позволяет этому архаическому явлению сохраниться в рамках классового общества? Едва ли можно согласиться с некоторыми объяснениями автора, например с таким, как «перворазрядная экономическая важность земли» (стр. 89). Хорошо известно, что когда земля приобретает особую хозяйственную, а следовательно, и товарную ценность, она вырывается из рук родственников, ломая преграды на пути к рынку. Сомнительно и утверждение, что родственные структуры приходят в столкновение с тягой к «феодальной аккумуляции земли» (там же). Не исключено, что эта мысль порождена довольно обильным материалом, дошедшим до нас из феодальных архивов, в то время как крестьянских грамот сохранилось значительно меньше. Во всяком случае трудно предположить, что свободный общинник, т. е. тот социальный тип, который никогда не исчезал на Балканах, меньше стремился к приобретению лишнего клочка земли, чем вотчинник.

Очень интересны наблюдения над «првокупом» в связи с системой феодальных пожалований («донаций», как пишут в югославской литературе). Как выясняется, для самых ранних пожалований характерно, что правом на уступленную землю располагал не один феодал, но и его братья с наследниками (стр. 132), и только впоследствии система пожалований столкнулась с правом предпочтения. Павкович справедливо замечает, что мелкое дворянство видело в родственных связях (и правах на землю) средство консолидации и социального сплочения (стр. 135). Любопытны выводы о резком столкновении церкви с правом првокупа (стр. 136—147), хотя и не совсем понятно, зачем здесь примеры из городской жизни — ведь, по наблюдениям самого автора, првокуп не был распространен в городах. Можно полностью согласиться с приведенными в книге соображениями о причинах сохранения изучаемого института при турках; Павкович справедливо напоминает о широком распространении кровнородственных коллективов («братств» и «племен») на территории, где жили сербы и хорваты, — своеобразном рецидиве первобытной архаики (стр. 149—168). В этой части работы автор оставляет чисто юридический анализ и улавливает связь между првокупом как народным обычаем и всей совокупностью родственных коллективов, сохраняющихся на протяжении столетий в жизни сербов и хорватов. Этот материал особенно много говорит как историку, так и этнографу.

Несомненное достоинство книги Павковича заключается в том, что анализ явления перерастает в ней, с одной стороны, в характеристику *системы собственности* в феодальном обществе на Балканах, а с другой — в характеристику тех кровнородственных коллективов («структур», как пишет автор) — задруг, «братств», «племен», которые всегда были свойственны прошлому южнославянских народов и без которых просто невозможно понять специфику балканского общества.

Можно было бы найти в рецензируемой книге ряд упущений. При характеристике права предпочтения у древних римлян, возможно, не нужно было ограничиваться законами XII таблиц; следовало использовать и юридическую практику более позднего времени. Земля в Далмации X—XI вв. принадлежала не одним духовным и светским феодалам (стр. 55), но и рядовым общинникам; об этом свидетельствуют картулярии. Вряд ли право предпочтения в Сербии и Боснии носило иной характер, чем в Хорватии (стр. 91) — просто здесь сохранилось гораздо меньше документов. Но все эти замечания носят лишь частный характер.

Монография Н. Павковича задумана весьма широко. Поражает документальная база исследования. Автор использовал даже данные из дубровницких хранилищ, хотя и опубликованных источников было бы достаточно для решения поставленной им задачи. Работу отличает особая четкость построения. Ее деление по схеме «часть — глава — раздел — параграф», может быть, и затрудняет первоначальное чтение, но зато впоследствии облегчает отыскание нужных данных. Благодаря этому книга имеет и большую ценность как справочник.

В своем предисловии к данной монографии известный сербский этнограф М. Барятарович отмечает, что автор с успехом использовал исторический метод изучения данных юридической этнографии для проникновения в суть издавна существовавшей на Балканах «традиционной культуры». К этому можно добавить, что Н. Павкович попытался раскрыть зависимость между характером собственности и архаическими типами родственных связей и эта попытка вполне удалась ему.

М. М. Фрейденберг

# НАРОДЫ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ

Г. М. Бонгард-Левин. Индия эпохи Маурьев. М., 1973, 406 стр.

Термины «историко-этнографическая область» и «культурно-хозяйственный тип», выдвинутые в свое время М. Г. Левиным и Н. Н. Чебоксаровым, достаточно хорошо известны и включены учеными нашей страны и многими зарубежными исследователями в общую систему этнографических понятий.

Вместе с тем изучение историко-этнографических областей как целого зачастую подменяется суммированием знаний, накопленных по отдельным народам той или иной провинции, в рамках отдельных коллективных монографий. При этом нередко за основу принимается развитие этноса в настоящее время, а история взаимоотношений народов (их иногда называют общностью исторических судеб народов провинции), как правило, выносятся за скобки и как бы подразумевается, теряясь за другими материалами.

Возникновение после второй мировой войны новых государств, основу которых составили бывшие колонии, например, в Азии, не обладающие этническим единством, естественно, усилило интерес к некоторым надэтническим представлениям прошлого, способным противостоять определенным этническим центробежным тенденциям.

Безусловно, недавнее колониальное прошлое также составляет часть общей исторической судьбы историко-этнографической провинции: в борьбе с колонизаторами в значительной мере складывалось представление об общерегиональной цели борьбы, т. е. создавалось определенное единство.

Причина жизненности объединений, подобных Индии или Индонезии, по всей вероятности, лежит глубже и может быть прослежена в более древних слоях истории.

Символом независимой Индии, например, стала капитель «колонны Ашоки», многие политические партии, имеющие общендийское значение, также присвоили себе древнеиндийские символы. Почему же период Ашоки, период империи Маурьев приобрел такое большое символическое и идеологическое значение в настоящее время? Дело, очевидно, не только в том историческом факте, что в эпоху Маурьев под единой властью оказалась большая часть индостанского субконтинента. Эта эпоха ознаменовалась также важными сдвигами в этнических процессах, без знания которых трудно представить и понять этногенез современных индийских народов и этнические процессы, наблюдаемые в современной Индии.

Изучение указанного периода усложняется некоторой фрагментарностью исторических, археологических и палеоантропологических источников; незначительное число обобщений всего комплекса историко-этнографических материалов отмечалось на конференциях по археологии Азии (совпавшей со столетием индийской археологической службы) в 1961 г. С тех пор появилось несколько работ за рубежом, частично восполнивших этот пробел, и серия статей по Кушанам и Маурьям в советской литературе.

Недавно вышедшая монография Г. М. Бонгард-Левина вызвала большой интерес специалистов, занимающихся данной проблемой. И это не случайно. Перед нами фундаментальный обобщающий труд по историко-культурному развитию Индии эпохи Маурьев. Автор поднимает ряд проблем, имеющих важное значение не только для исследования древней Индии, но и раннеклассовых обществ в целом, причем предлагает оригинальные решения, выдвигает интересные гипотезы.

Рецензируемая работа основана на огромном количестве разнообразных источников — индийских, цейлонских, античных, на данных эпиграфики, литературных сочинений, религиозно-философских текстов, на материалах археологии и т. д. Следует особо отметить, что автор ввел в научный оборот ранее неизвестные рукописи, которые он изучал в Индии и Шри Ланке.

Книгу отличает обилие солидно аргументированных источниковедческих данных. Нельзя не признать, что одно это было бы весьма ценным вкладом в индологию. Однако автор, так щедро поделившийся результатами своего кропотливого труда над источниками, не ограничился этой стороной вопроса.

Г. М. Бонгард-Левин сумел выявить основные черты общественной структуры, системы управления, нарисовать широкую картину быта, круга интересов и представлений, идейной борьбы того периода. Это исследование позволит по-новому понять значение эпохи Маурьев и пересмотреть старые традиционные представления о ней.

Структурно рассматриваемая работа состоит из пяти разделов, в которых анализируется политическая история Индии: VI—IV вв. до н. э., экономическое и социальное развитие, система управления, идеология и, в частности, особенности развития религиозно-философской мысли. Многочисленные комментарии и подробный историографический очерк свидетельствуют о прекрасном знакомстве автора со всей имеющейся научной литературой по этим проблемам.

Трудно выделить в данной работе разделы, которые в большей мере «этнографичны»: сведения, которые могут представить интерес для этнографа, есть во всех разделах. Так, уже при разборе источниковедческой базы работы автор дает описание индо-эллинских и индо-персидских культурно-контактных зон.

Рассматривая данные цейлонских буддийских хроник («Дипавамсы» и «Махавамсы»), автор прослеживает возможные пути культурного взаимодействия Цейлона и Индии и т. д.

Период, которому посвящена работа, характерен значительной ролью «немонархических образований» (стр. 58), в том числе догосударственных родо-племенных союзов в периферийных по отношению к Северо-Западной и Северо-Восточной Индии районах. Г. М. Бонгард-Левин первый в отечественной науке уделил столь значительное внимание истории, социальной структуре, системе управления *ган* и *сангх* — немонархических объединений и республиканских государственных образований. Приведенные автором материалы чрезвычайно важны для понимания особенностей политической организации в древней Индии и представляют интерес для решения целого круга проблем этнокультурной истории страны. Следует учитывать, что во второй половине I тысячелетия до н. э. некоторые родо-племенные союзы, разлагаясь или будучи подчинены более сильным образованиям с четкой государственной структурой, приобретали и свое этническое название. Это, конечно, не говорит о том, что данные названия затем в неизменном виде дошли до нашего времени, однако компактные одноязычные и экономически объединенные группы населения с единым этнонимом на территории субконтинента особенно интенсивно складывались в рассматриваемый период.

Важное значение для развития этнических процессов в более поздние периоды и для возникновения определенных представлений о надэтнической, субконтинентальной общности народов Индии имела сложившаяся к эпохе Маурьев культурная зона, локализованная долиной Ганга, прежде всего древней Магадхой.

Касаясь этого вопроса, Г. М. Бонгард-Левин пишет: «Ортодоксальная традиция соотносила с Магадхой племена неарийского происхождения и племена вратьев, которые не были или были лишь частично арианизированы». И далее: «Брахманы считали Магадху неподходящим местом для проживания ортодоксальных учителей. И не случайно именно здесь, судя по буддийским и джайнским сочинениям, рано распространились антибрахманские идеи, появились еретические школы» (стр. 239).

Возможно, опора на традицию не дает права с уверенностью утверждать, что население этого региона было по преимуществу неарийского происхождения. Известно, например, что проникновение индоариев происходило постепенно, отдельными волнами и по-разному проходил процесс взаимодействия с доарийским субстратом. Более того, ортодоксальность в силу даже одного своего догматического качества нередко объявляет индоплеменным и дурным все, что расходится с ее канонизированной ортодоксальностью. На этот факт, в частности, обратил внимание французский медиевист М. Блок, который писал: «Всякий, кто отличается от нас, — иностранец, политический противник — почти неизбежно слышит дурным человеком»<sup>1</sup>.

Г. М. Бонгард-Левин убедительно показывает, в силу каких историко-экономических обстоятельств Магадха и более южные районы долины Ганга превратились в район зарождения основных идейных течений древней Индии, без понимания которых невозможно осмыслить этнообразующие идеи складывающихся ныне национальных общностей на территории страны.

Бесшаглотворна высказываемая автором мысль о том, что социальные процессы, система управления империей Маурьев требовали адекватной идейно-религиозной основы. В некотором отношении данный процесс можно сравнить с тем, который наблюдался позднее в Римской империи периода христианизации. Как известно, Ф. Энгельс образно сравнивал этот процесс с «нивелирующим рубанком», под действием которого исчезали «все национальные», т. е. местные, этнические различия, когда все «становилось римлянами»<sup>2</sup>. Буддизм, ставший в эпоху Маурьев преобладающей религиозной системой, несмотря на то, что он затем уступил место иной, индуистской системе религиозных взглядов, немало способствовал как этнической, так и мировоззренческой нивелировке субконтинента.

Автор обоснованно полагает, что отсутствие связи буддизма с конкретным языком также способствовало его широкому распространению, т. е. снимало те ограничения, которые накладывал, скажем, на распространенность брахманизма санскрит. Вместе с тем нельзя, очевидно, отрицать и значение буддизма в распространении языка тогдашней метрополии, Паталипутры, хотя бы потому, что последующее или синхронное распространение индоевропейских языков в Индии очень близко границам империи Маурьев.

Значение языкового барьера, конечно, невозможно отрицать, однако для этнической истории Индостанского субконтинента более важное значение имело распространение явлений не языкового порядка, а религиозно-философского, мировоззренческого плана.

Г. М. Бонгард-Левин вскрывает причины широкого распространения буддизма в эпоху Маурьев, особенно его взаимодействия с ортодоксальными направлениями и «еретическими школами», на основании местных и античных источников рисует первые этапы истории вишнуизма, шиваизма, бхагаватизма. Все эти вопросы важны не только для изучения собственно маурийской эпохи, но и для понимания последующего развития религиозной и религиозно-философской традиции Индии.

<sup>1</sup> М. Блок, Апология истории, М., 1973, стр. 79.

<sup>2</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., т. 21, стр. 146, 147.

Именно эти элементы духовной культуры (разумеется, наряду с социально-экономическим развитием и на его основе) возвращают нас к вопросу об исторической общности судеб, к историко-этнографической общности, которая служит мощным фундаментом современных этнических процессов. Поэтому-то внимание этнографа и должно вернуться к временам, рассматриваемым в монографии.

Монография Г. М. Бонгард-Левина представляет значительный интерес не только для индологов, но и для античников, медиевистов, этнографов, религиоведов, филологов, социологов. Естественно, что ученые разных специальностей могут высказать свои соображения по отдельным аспектам трактовки источников, оценить значимость тех или иных выводов автора. Однако не это было целью данной рецензии. Мы стремились привлечь внимание этнографов к весьма ценному исследованию — крупному вкладу в науку о древности, вводящему в научный оборот ряд новых или по-новому трактуемых источников. Не случайно его автор получил премию имени Джавахарлала Неру.

*С. И. Королев*

## НАРОДЫ АМЕРИКИ

Национальные процессы в США. М., 1973, 400 стр.

Среди публикаций последних лет, посвященных исследованию этнических и национальных процессов в различных странах мира, коллективная монография, подготовленная сотрудниками сектора народов Америки Института этнографии АН СССР, занимает особое место. Это обусловлено, прежде всего, значимостью объекта исследования, в качестве которого избрана страна, занимающее главенствующее положение в капиталистическом мире. Интерес советских читателей к жизни американской нации, к происходящим внутри США процессам весьма велик, но удовлетворить его не так-то легко. Историческое развитие этой нации (сложившейся на базе переселенцев из Великобритании и других стран Европы и постепенно интегрировавшей прибывавшие в США новые группы иммигрантов, а также группы негритянского и индейского населения) очень своеобразно, и не все аспекты национальных процессов хорошо изучены. Авторский коллектив взялся за трудную задачу, и в своем исследовании, состоящем из 13 глав, сумел охватить и в целом достаточно хорошо осветить широкий круг вопросов.

В первой главе «К вопросу о сложении нации США и некоторых тенденциях ее развития», выступающей в роли обзорно-теоретического введения ко всей работе, сообщается о концепциях формирования и развития американской нации, характеризуются этнические противоречия в ходе первой буржуазной революции, некоторые особенности развития экономики и культуры населения США.

Глава вторая «Этнический состав населения США. Краткий историко-статистический обзор» создает важную базу для исследования национальных процессов. В главе кратко характеризуются колонизация и рост населения США в XVI—XVIII вв., территориальная экспансия США в XIX в., иммиграция и рост населения до гражданской войны, изменения в этническом составе населения до гражданской войны, рост населения после 1860 г., иммиграция и этнический состав населения во второй половине XIX и начале XX в., рост населения с 1920 по 1970 г., иммиграция и этнический состав населения в 1920—1970 гг. Особо следует сказать о приложенной к главе карте «Этнический состав населения США (1970 г.)», на которой показано расселение собственно американцев (с выделением негров) и недавних переселенцев в США (два поколения по странам выхода). К достоинствам карты относится показ этнического состава крупных городов США, к недостаткам — отсутствие на ней индейцев и некоторых других меньшинств.

Главу третью «Историческое развитие американской нации (XIX в.)», вероятно, правильно было бы назвать «Историческое развитие иммигрантских групп в США», так как она посвящена именно этой тематике. В главе рассматривается динамика состава иммигрантов в XIX в., генезис их основных групп (ирландцев, немцев, англичан, скандинавов, итальянцев, евреев и др.) и особенности включения каждой из них в экономическую и социальную структуру американского общества. Автор обращает пристальное внимание на роль складывавшихся в США особых так называемых национальных иммигрантских групп, которые, с одной стороны, образуют своего рода этнические переходную стадию включения переселенцев в американскую нацию, с другой стороны, объединяя иммигрантов в этнокультурном, а нередко и в семейном отношении, обычно существенно тормозят процесс их окончательной ассимиляции.

В главе четвертой «Индейцы — коренное население США» даны история отношений индейцев с европейскими поселенцами в колониальный период (с выделением юго-западной части США, входившей тогда в сферу испанской колонизации), положение индейцев в США в период 1775—1865 гг. и во время гражданской войны, процесс от-

теснения в резервации племен прерий и Дальнего Запада и вызванное этим осложнение социально-экономического и культурного развития индейцев; характеризуется «новый курс» в индейской политике правительства США и современное, все еще тяжелое, положение индейцев. В заключительном разделе главы характеризуется индейское движение в 1960—1970 гг. и единение территориально разобщенных групп индейцев в их борьбе за улучшение своего положения.

Глава пятая «Этнические процессы в Русской Америке» повествует о контактах между коренными жителями и русскими поселенцами на Аляске и в Верхней Калифорнии, главным образом до 1867 г., когда русское правительство продало Аляску США. Несмотря на относительную немногочисленность русских поселенцев, следы их этнокультурного влияния, как отмечает автор, сохраняются до сих пор даже в глубинных районах Аляски.

Глава шестая «Формирование эскимосского национального меньшинства США (1867—1970 гг.)» содержит характеристику изменений в жизни эскимосов (главным образом в сфере их хозяйства) после присоединения Аляски к США и особенно в последние десятилетия, когда значительное число эскимосов стало работать на различных предприятиях местной промышленности. В главе отмечено стирание прежних языково-культурных различий между отдельными группами эскимосов за счет внедрения английского языка и новой материальной культуры.

Глава седьмая «Негры США» — одна из основных глав монографии, показывающая социально-экономическое и этнокультурное положение негритянского населения США в колониальную эпоху, в период от войны за независимость до гражданской войны, от гражданской войны до первой мировой войны и после нее. Численность негритянского населения США возросла с 1930 по 1970 г. почти вдвое — с 11,9 до 22,7 млн. чел., а их доля во всем населении страны — с 9,7 до 11,1%. Автор уделяет значительное внимание становлению и развитию негритянского движения и борьбе в нем двух основных направлений, одно из которых стремится к слиянию с «белым» большинством американской нации, другое — к усилению расово-этнического сепаратизма негров внутри США.

Глава восьмая «Мексиканцы США (очерк истории формирования)» посвящена одному из крупнейших национальных меньшинств страны, составляющему заметный процент населения в юго-западных штатах. Кратко охарактеризовав колонизацию этой территории испанцами и развитие контактов поселенцев с индейцами, приведших к формированию собственно мексиканцев, автор показывает развитие отношений мексиканцев с захватившими эту территорию американцами. Отмечая сравнительную этническую стойкость мексиканского населения США и серьезные национальные трения между американцами и мексиканцами, автор связывает их с низким социально-экономическим статусом мексиканцев, тесными связями их с родственным населением Мексики.

В главе девятой «Славянские группы в США» характеризуется социально-экономическое положение иммигрантов из славянских стран (поляков, русских, чехов и др.), прибывших в США главным образом в конце XIX — в первые десятилетия XX в.; уделено внимание возникновению среди них организаций земляческого и политического типа и деятельности таких организаций.

Глава десятая «Пуэрториканцы в США» посвящена весьма специфической группе иммигрантов, численность которой стала быстро возрастать после захвата США в 1898 г. о-ва Пуэрто-Рико и осевшей главным образом в крупных городах восточных штатов, в первую очередь в Нью-Йорке, где они заняты преимущественно на малоквалифицированной работе и, подобно американским неграм, подвергаются расовой дискриминации. Автор сообщает о развитии среди пуэрториканцев процессов языковой и культурной ассимиляции.

Глава одиннадцатая «Расово-национальные основы иммиграционной политики США в 20—60-х годах XX в.» содержит обзор иммигрантской политики, изменявшейся в связи с эволюцией международной обстановки и внутриполитической борьбой в США — от введенных в 1920-х годах законов, ограничивающих въезд иммигрантов из определенных стран мира, до принятого в 1965 г. и вошедшего в силу в 1968 г. нового закона, предоставляющего всем странам и нациям равные, хотя и небольшие доли в иммиграции.

Глава двенадцатая «Иммигрантское население современных США» по своему содержанию является как бы продолжением третьей главы. Она содержит характеристику особенностей развития иммиграции и положения отдельных групп иммигрантов после первой мировой войны, причем значительное внимание уделяется положению переселенцев из воевавших с США стран (немцев, итальянцев, японцев). В главе анализируются проблемы, связанные с этническим статусом иммигрантских групп, поддерживающих свое существование путем эндогамных браков, отмечается специфика иммигрантских семей и их роль в развитии процессов языково-культурной ассимиляции.

Глава тринадцатая «Религия в формировании американской нации» касается малоизвестного, но пока слабо освещенного в нашей литературе вопроса о соотношении религиозных и этнических общностей. Кратко рассматривая историю многочисленных религиозных организаций в США, автор приходит к выводу, что пестрота религиозного состава и сепаратизм основных церквей, сопрягавшиеся в прошлом с этнической самостоятельностью охваченных этими церквями иммигрантских групп, существенно тормозили консолидацию американской нации.

Разнообразие содержания глав рецензируемой работы, отраженное в приведенном выше их кратком обзоре, весьма затрудняет обстоятельный разбор каждой из них, да в рамках одних рецензий это вряд ли возможно сделать. Если бы эти главы, выполненные разными авторами, были включены в виде отдельных статей в тематический сборник, рецензент ограничился бы их высокой научной оценкой в целом и признанием существенного вклада их авторов и всего сборника в исследование истории и положения национальных меньшинств (в том числе иммигрантских групп) в США, а также происходящих там этнических процессов. Поскольку, однако, перед нами не тематический сборник, а монография, представляющая к тому же, по существу, первый в нашей литературе опыт комплексного исследования национальных процессов в одной стране (за которым могут последовать монографии по другим странам мира), постольку задача рецензента усложняется; ему надлежит подойти к этой работе с иными и несколько повышенными требованиями, рассматривая содержание отдельных глав в их взаимосвязи по основным линиям исследования.

Выполнению рецензентом такой задачи сильно препятствует то обстоятельство, что в данной монографии, посвященной «национальным процессам», нет определения сущности этих процессов как предмета исследования. В первой главе говорится: «Проблема национальных процессов в США встает как известное обобщение процессов, протекающих по разным руслам. Здесь и вопросы истории и социального строя индейцев (а также эскимосов) и негритянского населения, которые специально исследовались советскими учеными, и история иммиграции и отдельных национальных групп ее» (стр. 20). Однако это единственное во всей монографии определение предмета исследования неполно, да и неточно. Справедливости ради отметим, что понятие «национальные процессы» в нашей литературе пока еще не имеет общепризнанного толкования и разрозненного определения; на практике его употребляют для обозначения явлений, которые, с одной стороны, уже этнических процессов, так как связаны с национальными формами этнических общностей, с другой стороны, несколько шире этнических процессов, так как включают в себя политические и социально-экономические аспекты, не относящиеся собственно к сфере этнического. Понятие национальных процессов продолжает уточняться, по нам кажется, что нецелесообразность включения в них вопросов родового строя эскимосов или, например, нгансан уже достаточно очевидна.

Национальные процессы в США можно рассматривать с двух основных позиций. В первом случае — ставя в центр внимания процесс формирования американской нации из этнически разнородных компонентов и процессы продолжающейся ассимиляции ею иноэтнических групп иммигрантов и национальных меньшинств. Во втором случае — уделяя основное внимание национальным меньшинствам и иммигрантским группам, анализируя особенность их положения и специфику процессов взаимодействия их с американской нацией. Нетрудно заметить, что создатели рецензируемой книги стояли почти целиком на второй позиции. В монографии не показаны ни движущие силы, ни механизмы формирования американской нации из европейских переселенцев. В главе третьей, название которой, как уже отмечалось, не вполне соответствует ее содержанию, говорится, что «иммиграция представляет собой главный механизм этнического складывания американской нации» (стр. 60); однако это положение неточно: иммиграция давала по существу лишь сырой материал для формирования американской нации. Процесс национального единения этнических компонентов был обусловлен закономерностями экономического развития; существенное значение имели и другие факторы, в частности, система школьного образования и целенаправленной психологической обработки через средства массовой информации; об этих действительно мощных рычагах национальной интеграции, в отличие от религии (которой посвящена особая глава), в работе говорится лишь попутно и досадно мало.

В первой главе сообщается, что американская нация «в основном уже сформировалась ко времени первой буржуазной революции, спаялась в огне революционной войны» (стр. 12, имеется в виду война с Англией 1775—1778 гг. — В. К.). Это положение принимается как аксиома: «Из Войны за независимость», — сообщается во второй главе, — американцы вышли уже единым народом...» (стр. 25). Попытки установить точные сроки формирования тех или иных наций всегда грешат схематизмом, в схеме же, по которой американская нация формировалась чуть ли не раньше более развитой и издавна этнически однородной французской нации, много спорного и по существу. Отметим, в частности, что к периоду Войны за независимость еще только начала складываться американская культура, в частности, и американская литература с ее национальными типами и героями. Не вполне понятно и то, кто же составлял в то время «американскую нацию», так как ее этнические компоненты еще не слились воедино. Читатель узнает, что «немцы и шотландцы-ирландцы стояли за вооруженное сопротивление Англии и за отделение от нее, а богатые английские колонисты были против разрыва с монополиями...» (стр. 13), однако на следующей странице обнаруживается, что «ирландцы-католики сочувствовали королевским войскам» и составляли существенную часть английской армии, что королевские войска поддерживала часть немцев и шотландцев, а «самая большая часть германцев занимала в революции нейтральную позицию» (стр. 14) и т. д. Война за независимость, несомненно, создала политико-государственную основу формирования американской нации, но процесс ее этнической консолидации продолжался еще много десятилетий: «До гражданской войны 1861—1865 гг., — отмечается в третьей главе, — страна резко делилась на две части: Север и Юг... На Севере и Юге



складывались различные, хотя и связанные между собой хозяйственные системы, ответственный им культурный и бытовой уклад жизни, разное по структуре и этническому составу население» (стр. 58).

Нечеткость и фрагментарность картины формирования и этнического развития са-мой американской нации объясняется, с одной стороны, сложностью этих процессов, с другой — тем, что авторы рецензируемой работы рассматривали их лишь как своего рода фон для показа положения и развития национальных меньшинств и иммигрантских групп в США. Однако на деле нечеткость картины процессов, рассматриваемых с первой позиции, привела к некоторой нечеткости и картины, представленной читателям со второй позиции. Несмотря на отдельные отборки, США предстает перед читателями как многонациональная страна, внутри которой сложились и развиваются отдельные этнические или национальные общности, взаимодействующие с американской нацией столь же «самостоятельно», как с французской нацией взаимодействуют эльзасцы и бретонцы. Негритянское население, например, выступает в виде этнорасовой общности, которая еще в условиях рабства начала формироваться как «негритянская народность» (стр. 18); после освобождения негров они именуются уже «негритянским народом» (стр. 216, 218 и др.), соотношение которого с американским народом (нацией) остается не вполне понятным. О мексиканцах, живущих смешанно с американцами в юго-западных штатах, говорится, что они формируются в новую этническую общность — «мексиканцев США» (стр. 272); иммигрантские «национальные группы» также представлены как «новые этнические образования» (стр. 86); отмечается, правда, что эти образования имеют «переходный характер», но содержание этого понятия не вполне раскрыто; в конце концов, переходные этнические черты выступают и у тех же упоминаемых нами бретонцев во Франции.

Этническая ситуация в США и идущие там национальные процессы действительно очень сложны и специфичны, границы американской нации и взаимодействующих с ней этнических групп очень подвижны и не всегда определены. Действие некоторых важных факторов этнических процессов — диалектично. В главе первой, например, сообщается, что сложению негритянской народности способствовала имевшаяся внутри нее общность английского языка и христианской религии (стр. 18); в главе седьмой, напротив, утверждается, что английский язык и общая с американцами религия «способствовали ассимиляции негров» (стр. 199). Устранить такие внешне противоречивые высказывания вряд ли возможно, так как за ними лежат противоречия самой действительности. Достаточно очевидно вместе с тем, что пользоваться при изучении столь специфических явлений и процессов терминологическо-понятийным аппаратом, выработанным на базе «классического» европейского материала (в частности, терминами «народность», «народ» и т. п.), не всегда рационально, это может привести и к дезориентации читателей.

Сделанные нами замечания в целом не ставят под сомнение достоинства рецензируемой книги. Значительная часть замечаний — прежде всего те, которые связаны с неточностью терминологическо-понятийного аппарата, — относятся к общему состоянию проблемы и, очевидно, могут быть устранены лишь совместными усилиями широкого круга этнографов. Авторы удачно решили многие стоявшие перед ними конкретные задачи, работа получилась содержательной и интересной и, несомненно, будет тепло встречена читателями. Основные наши замечания были направлены на то, чтобы показать сложность и трудность предпринятого начинания — монографического исследования национальных процессов в США — и по мере возможности повысить эффективность подобных исследований в будущем.

*В. И. Козлов*

С. А. Гонимонский. Колумбия. Историко-этнографические очерки. М., 1973, 382 стр.

В 1968 г. после двадцатилетнего перерыва были восстановлены дипломатические отношения между СССР и Колумбией. Начали налаживаться взаимные контакты в области экономики и культуры. Растущие контакты вызвали необходимость изучения этой страны и, в частности, ее истории.

Если до сих пор советские исследователи, в том числе автор рецензируемой работы, занимались лишь отдельными частными, хотя и важными вопросами колумбийской истории (древней цивилизацией чибча-мунсков, историей так называемой Панамской «революции», социально-экономическими и политическими проблемами послевоенного периода, ролью католической церкви в общественно-политическом развитии колумбийского государства), то в настоящий момент назрела необходимость в создании обобщающего труда по истории и этнографии Колумбии.

С этой задачей успешно справился С. А. Гонимонский. Его монография «Колумбия. Историко-этнографические очерки» охватывает широкий круг проблем. Несколько раз-

делов посвящены истории колумбийской культуры. Хронологические рамки работы — с момента появления человека на территории Колумбии до событий 1970 г. Источниковедческая база включает опубликованные документы колумбийских архивов, статистические данные, колумбийскую и иностранную прессу, мемуары государственных и политических деятелей. Колумбийская историография, учитывая хронологические рамки и тематику настоящего исследования, поистине неисчерпаема. Однако С. А. Гонимонский сумел отобрать и использовать все самое ценное и необходимое. Структура исследования в целом не вызывает возражений. Книга состоит из «Введения» и одиннадцати глав.

«Введение» к монографии написано живо и увлекательно. Оно рисует облик этой своеобразной страны, пробуждая у читателя стремление более подробно ознакомиться с историей ее народа.

Первая глава «Колумбия до Колумба» содержит богатый этнографический материал, представляющий интерес не только для тех, кто интересуется прошлым этой страны, но и для специалистов-этнографов. С. А. Гонимонский сумел показать главное, характерное и вместе с тем самое удивительное, что отличало древнюю цивилизацию чибча-муисков, существовавшую много веков назад на территории нынешней Колумбии. Автор отмечает высокую культуру земледелия индейцев, успехи в развитии ремесел, и в частности техники художественной обработки золота, ткачества, гончарного дела. Проследив эволюцию родо-племенных отношений у чибча-муисков, автор отмечает, что к моменту испанского вторжения они находились на стадии возникновения государственных объединений (стр. 38). Не менее интересны сведения об образе жизни и борьбе с испанскими завоевателями других индейских племен (пихао, кимбайя, чимила, мотилонов, мусо, салива, гуабио, панче и паес), населявших территорию Колумбии в начале XVI в.

Вторая глава «Колумбия — испанская колония» посвящена истории завоевания ее европейцами, а также характеру и особенностям испанского колониального гнета. Масовое истребление и вымирание индейцев в условиях жесточайшей колониальной эксплуатации, недовольство креольского населения нежеланием и неспособностью колониальной администрации разрешить жизненно важные проблемы Колумбии, без которых немислимо было ее дальнейшее социально-экономическое развитие, — эти и другие вопросы, исследуемые во второй главе, подводят читателя к пониманию неизбежности социального взрыва, который подробно рассматривается в третьей главе «Восстание комунерос». Это восстание явилось в то же время своеобразным преддверием борьбы за независимость, о которой говорится в четвертой главе монографии. Поражение комунерос показало, что без завоевания независимости невозможно разрешить назревшие экономические и политические проблемы. Борьба за свержение испанского ига заняла почти два десятилетия. Это были годы великих страданий и жертв, принесенных колумбийским народом во имя независимости. В эти годы были совершены беспримерные героические подвиги, которыми народ Колумбии по праву гордится. С. А. Гонимонскому удалось воссоздать яркие картины освободительной борьбы, познакомить читателя с целой галереей национальных героев. Их характеристики — большая удача автора, учитывая противоречивость и сложность ряда исторических персонажей. Наиболее колоритные фигуры из этой портретной галереи: Хосе Антонио Галан — первый колумбийский революционер, вождь комунерос; Антонио Нариньо, которого во всей Латинской Америке называют «предтечей войны за независимость»; Симон Боливар — освободитель, национальный герой целого континента; Франсиско де Паула Сантандер — основатель колумбийской государственности.

Большое внимание во второй и четвертой главах уделяется предпосылкам формирования колумбийской нации, которые начали складываться к концу колониального периода. Война за независимость, завершившаяся созданием колумбийского государства, ускорила процесс национальной консолидации, создав более благоприятные условия для развития капитализма.

Пятая глава «В водоворот гражданской войны» охватывает период с конца войны за независимость до конца 80-х годов XIX в. Это один из самых сложных и совсем не исследованных в советской историографии периодов колумбийской истории. Он насыщен острой борьбой за власть, которую вели многочисленные группировки, нередко связанные с иностранным капиталом. В такой обстановке классовые противоречия оставались на втором плане, и при скудости источников, имеющихся в Советском Союзе по этому периоду, проследить их очень трудно. Однако С. А. Гонимонскому удалось правильно подметить основные процессы, характерные для этого периода истории Колумбии.

Шестая и седьмая главы посвящены господству консерваторов (1886—1930 гг.) и либералов (1930—1946 гг.) — двух традиционных партий колумбийских господствующих классов. Этот период насыщен событиями большой важности, такими как «тысячелетняя война» и вмешательство американского капитала во внутренние дела Колумбии, приведшее к отделению Панама и засилью американских монополий в экономике страны; начало рабочего движения и влияние мирового экономического кризиса 1929—1933 гг.; демократические реформы правительства левого либерала А. Лопеса и участие Колумбии во второй мировой войне. По всем этим вопросам можно было бы написать несколько самостоятельных исследований. Однако С. А. Гонимонскому удалось уложить весь комплекс сложных проблем в две главы, выделив самые важные и определяющие моменты. Наиболее удачны страницы, посвященные Панамской «револю-

ции» и расстрелу рабочих в Банановой зоне в 1928 г. Они читаются с захватывающим интересом.

В восьмой и девятой главах освещается история послевоенного развития Колумбии вплоть до событий 1970 г. 1946—1957 гг. — предмет исследования восьмой главы — один из наиболее кровопролитных периодов в истории Колумбии. Демократические силы страны, добившиеся больших успехов в предвоенные годы и в годы второй мировой войны, потерпели поражение в борьбе с реакцией, прибегнувшей к открытому насилию и террору. Диктатор Л. Гомес стал олицетворением всех беззаконий, творившихся на колумбийской земле. Ненависть народа к его режиму приняла такие размеры, что господствующие классы, испугавшиеся революционным взрывом, пошли на передачу власти армии. Военная диктатура генерала Г. Рохаса Пинильи — явление беспрецедентное в истории Колумбии. Опираясь на штыки, генерал Рохас не чурался и социальной демагогии, он использовал и националистические настроения мелкой и средней буржуазии. Но ни Л. Гомес, ни Г. Рохас Пинилья не смогли подавить партизанского движения. Его основной силой было колумбийское крестьянство, поднявшееся на борьбу с произволом, чинимым армией и бандами, находившимися на службе у помещиков.

Режим военной диктатуры пал. Его сменил «Национальный фронт» олигархии, о котором идет речь в девятой главе монографии С. А. Гонионского. Подлинный характер этого союза крупной буржуазии и помещиков проявился очень скоро. Участники партизанского движения периода 1948—1957 гг. подверглись физическому уничтожению. Эта новая волна террора в свою очередь вызвала новый подъем партизанского движения. Его символом стала Маркеталия — партизанский район, оказавший упорное сопротивление карательным войскам. В области внешней политики «Национальный фронт» пошел на упрочение связей с США. Он превратил Колумбию в опытное поле для деятельности «Союза ради прогресса». Но Колумбия оказалась своеобразной «разбитой вириной» американских планов и надежд. Жизнь заставила крупную колумбийскую буржуазию пересмотреть свою политику по отношению к Советскому Союзу. В 1968 г. дипломатические отношения с нашей страной были восстановлены. Все эти важнейшие моменты колумбийской истории последних лет нашли свое отражение в девятой главе книги С. А. Гонионского. Глава завершается анализом президентских и парламентских выборов 1970 г., определивших расстановку политических сил в Колумбии на ближайшие годы.

Две последние главы монографии (10-я — «Кризис социально-экономической структуры», 11-я — «Борьба за национальное освобождение») посвящены проблемам современной Колумбии. Их тематика включает вопросы этнографического, социально-экономического и политического плана. В специальных разделах рассматривается социальная структура колумбийского общества, система образования, положение и борьба трудящихся за свои права, отношения Колумбии и СССР.

В 10-й главе автор возвращается к этнографическим проблемам, подчеркивая их актуальность в жизни современного колумбийского общества. Он показывает бедственное положение коренного индейского населения. Из многочисленных индейских племен, обитавших в стране до испанского завоевания, выжили лишь гуахирос, мотилы, чоко и еще несколько небольших племенных групп. Но положение этих племен таково, что и им грозит вымирание. С. А. Гонионский убедительно показывает, что для индейского населения, оказавшегося в положении национальных меньшинств, нет другого пути решения их проблем кроме радикального изменения социально-экономической и политической структуры страны. Это превращает индейские массы в естественного союзника рабочего класса в его борьбе за коренное переустройство колумбийского общества. Большое внимание уделяется автором также положению негров, метисов и мулатов, составляющих основную массу эксплуатируемого населения страны. Цвет кожи все еще играет большую роль в жизни колумбийского общества. Цветное население страны — самая бесправная его часть.

К числу несомненных достоинств рецензируемой работы относится хороший литературный язык, который наряду с очерковым стилем и большим количеством удачно подобранных иллюстраций делает книгу С. А. Гонионского популярным изданием в хорошем смысле этого слова. Жанр историко-этнографических очерков допускает и оправдывает известную неравномерность в освещении отдельных вопросов. В данном случае автор уделит больше внимания политической борьбе в Колумбии в разные периоды ее истории по сравнению с ее социально-экономическим развитием.

Хотелось бы сделать ряд частных замечаний. Одно из них касается структуры книги. Представляется не совсем удачным исследование правлений двух диктаторов — Л. Гомеса и Г. Рохаса Пинильи в одной главе под заголовком «Диктаторы „нового типа“». Это невольно сглаживает существенные различия в характере диктатур. Спорно также утверждение, что к середине XVIII в. индейцы уже были лишены земли (стр. 60). Аграрное законодательство середины XIX в., предусматривавшее ликвидацию индейских общинных земель, свидетельствует о том, что экспроприация земельной собственности индейцев продолжалась на протяжении еще целого столетия. Однако эти и некоторые другие вопросы, по которым можно было бы не согласиться с автором, не снижают ценности и актуальности его работы. Книга С. А. Гонионского, несомненно, будет интересна для самого широкого круга читателей.

*Н. Г. Ильина*

Н. Н. Чижев. Танзания. Экономико-географическая характеристика. М., 1972, 296 стр.

Экономическая география стран Восточной Африки, в том числе и Танзании, недостаточно разработана советскими учеными. Рецензируемая книга знакомит нас с достижениями Танзании в развитии хозяйства страны, географическим размещением различных его отраслей, современным его состоянием и перспективами развития. Автор собрал и обобщил обширный материал, подкрепив его в большинстве случаев статистическими данными.

В книге дается характеристика уровня развития экономики Танзании ко времени получения независимости и говорится о мерах, предпринимаемых правительством страны для ликвидации колониального наследия. В связи с этим большое внимание уделяется планированию хозяйства и расширению государственного и кооперативного секторов. В первые годы развития Танзании как самостоятельного государства планы экономического развития составлялись с расчетом на поступление капиталовложений из капиталистических стран. Однако практика показала необоснованность этих надежд. В настоящее время развитие хозяйства Танзании осуществляется на основе мобилизации внутренних резервов.

Поскольку Танзания аграрная страна, то главное внимание правительство обращает на реорганизацию и повышение продуктивности сельского хозяйства. Преобразование сельского хозяйства проводится главным образом на основе добровольного кооперирования, причем если сейчас в деревнях преобладают снабженческо-бытовые кооперативы, то в дальнейшем основное внимание будет уделяться организации производственно-бытовых кооперативов.

Развитие промышленности за последнее десятилетие усилило процесс роста городов. Однако, как отмечает автор, Танзания переживает лишь начальную стадию урбанизации:

Как и для большинства стран Африки, для Танзании характерна слабая классовая дифференциация, слабое развитие национальной буржуазии. Это в конечном итоге обусловило некапиталистическое развитие страны. В книге рассказывается о мерах, предпринимаемых правительством в настоящее время для того, чтобы воспрепятствовать развитию национальной буржуазии: издан ряд специальных декретов, отменяющих привилегии вождей и старейшин в деревнях, а также запрещающих частное предпринимательство служащим государственного и партийного аппарата.

Следует, однако, отметить, что, говоря о социально-экономических преобразованиях в деревне, автор не уделяет достаточного внимания политике правительства Танзании, направленной на строительство государства Уджамаа. Принципы построения такого государства зафиксированы в Арушской декларации и проводятся в жизнь.

Основное содержание книги составляют главы, посвященные описанию различных отраслей экономики: сельского хозяйства, рыболовства, промышленности и ремесел, транспорта, а также экономических связей с внешним миром.

Автор реалистически оценивает те большие положительные изменения, которые произошли в стране за годы самостоятельного развития в области экономики, в системах образования и здравоохранения, мероприятия по улучшению быта населения и т. п.

В первых главах, где приводятся данные по истории страны, а также этнографические материалы, встречается ряд неточностей.

Прежде всего следует обратить внимание на имеющиеся разночтения. Так, на картах находим принятые в географии названия великих озер Виктория и Ньяса, в тексте же — соответственно Укереве и Малави (например, стр. 21, 61, 62, 84 и т. д.). Между тем Укереве — это старое название оз. Виктория, а оз. Ньяса декретом правительства государства Малави получило наименование Малави, правда, не принятое еще в мировой науке. По-разному называется арабский султанат, расположенный на юге Аравийского полуострова (на стр. 43 — Мускат, а на стр. 45 — Маскат). Имеются разночтения и в этнонимах. Так, автор приводит две формы наименования одного народа: на стр. 30 — ньякюса, а на стр. 24, 79 — ньякюса; народ ваньятуру на стр. 80 назван нянтуру, что неверно.

В науке установилась традиция классифицировать народы негроидной расы, населяющие Африку, по языковому принципу. Население Восточной Африки относится к обширной семье народов, говорящих на языках банту. Однако по своему происхождению и культуре эти народы не составляют единой группы. Думается, что автор допускает серьезную ошибку, постоянно называя их, равно как и их культуру и даже религию, бантоидными (стр. 19—21, 27). Народы, говорящие на бантоидных языках, живут на территории Нигерии и Камеруна и составляют особую группу. Бантоидными или полубанту их языки называют благодаря сходству некоторых черт грамматического строя, в частности классов имен существительных, с языками банту.

В своей книге Н. Н. Чижев ссылается на труды зарубежных ученых, таких, как Киркман, Фримен-Гренвилл, Мэтью и др., обходя молчаливо работы советских исто-

риков-африканистов. Между тем истории возникновения и развития суахильских городов посвящены исследования В. М. Мисюгина<sup>1</sup>, рассматривающего затронутые проблемы с позиций марксистско-ленинской методологии. Буржуазные ученые называют береговые города Восточной Африки «арабскими» и считают, что они были основаны переселившимися туда персами, а затем и арабами-мусульманами. Эту точку зрения они подтверждают ссылками на историческую традицию суахили, содержащую упоминания о переселении на побережье групп персов и арабов в VII—VIII вв., в том числе на хроники суахильских городов, в которых говорится, что правящие роды этих городов происходят от переселенцев-мусульман. Однако эти сведения не могут считаться достаточно достоверными.

Изучение истории Восточноафриканского побережья показывает, что ко времени появления в Восточной Африке первых переселенцев города на ее побережье уже существовали. В. М. Мисюгин справедливо считает, что главной причиной возникновения городов на Восточноафриканском побережье было участие населения этого района в качестве посредников в торговле азиатских государств с древними государствами внутренних областей Восточной Африки. Начало торговли относится примерно к I в. н. э.

В рецензируемой книге имеется еще одна неточность, касающаяся языка суахили. В западной литературе долгое время существовала традиция классифицировать язык суахили как *lingua franca*, называть его межплеменным языком. Н. Н. Чижов, следуя этой традиции, также называет язык суахили межплеменным (стр. 84). В настоящее время не только советские, но и некоторые зарубежные ученые, в частности М. Гасри, считают суахили самобытным языком, обладающим всеми чертами, характерными для языков семьи банту. В статье «О происхождении и распространении языка суахили»<sup>2</sup> В. М. Мисюгин говорит о роли языка суахили в формировании складывающейся в настоящее время этнической общности на территории Танзании. Язык суахили — это язык суахильской народности, сложившейся уже к XII в., создавшей свою письменность на основе арабской графики и имеющей свою писаную историю. В силу особенностей исторического развития Восточноафриканского побережья он получил широкое распространение и во внутренних областях этого региона. Как известно, сейчас суахили — государственный язык Танзании, единственной из молодых независимых стран Африки, в которой государственным стал язык местного населения. Суахили — основной язык обучения в школах и других учебных заведениях, радиопередач и делопроизводства, поэтому вряд ли справедливо будет писать, что «ныне его понимает не менее половины жителей Танзании» (стр. 85).

Правильно оценивая роль первых путешественников во внутренние районы стран Африки как «разведчиков для правящих кругов империалистических держав», автор недостаточно четко оценивает роль прославленного русского ученого и исследователя В. В. Юнкера. Необходимо было показать, что его путешествие не преследовало целей колонизации Африки.

Говоря о типах поселений и формах жилищ, Н. Н. Чижов отмечает, что в последнее время в связи с повышением благосостояния населения произошли большие изменения в сельском быту (стр. 107, 108). Думается, однако, что масштабы этих изменений преувеличены. Во-первых, форма традиционного жилища — один из самых устойчивых компонентов материальной культуры, сохраняющийся даже при существенных преобразованиях условий жизни. Во-вторых, за еще недолгий срок самостоятельного развития Танзании благосостояние населения и его культурный уровень не настолько выросли, чтобы можно было говорить о широкой замене традиционного жилища стандартными кирпичными и сборными домами, а соломенной крыши — железом и черепицей.

Следовало бы отметить, что деление мужчин на возрастные группы присуще не только масям, отдельные черты такого рода организации прослеживаются и у других народов Танзании.

Несмотря на указанные выше неточности, эта, безусловно, полезная книга оставляет в общем благоприятное впечатление.

Г. Н. Гоцко

<sup>1</sup> В. М. Мисюгин, Происхождение городов Восточноафриканского побережья, «Вестник ЛГУ, № 20, вып. 4, серия истории языков и литературы», 1958, стр. 142—153.

<sup>2</sup> В. М. Мисюгин, О происхождении и распространении языка суахили, «Африканский этнографический сборник, III», «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. II, М., 1959, стр. 36—47.

## СОДЕРЖАНИЕ

Ю. В. Бромлей, В. И. Козлов (Москва). К изучению современных этнических процессов в сфере духовной культуры народов СССР . . . . .	3
Н. В. Юхнева (Ленинград). Производственная жизнь рабочих как предмет этнографического изучения . . . . .	18
Н. Л. Крылова, И. А. Сванидзе (Москва). Сельское хозяйство народов Эфиопии . . . . .	31
В. Я. Петрухин (Москва). К характеристике представлений о загробном мире у скандинавов эпохи викингов (IX—XI вв.) . . . . .	44
<b>Дискуссии и обсуждения</b>	
Ю. И. Семенов (Москва). Еще раз о материнском роде и брачных классах . . . . .	55
<b>Из истории науки</b>	
Р. С. Липец (Москва). О значении сводных фольклорно-этнографических собраний (создание единого фонда И. В. Костоловского) . . . . .	72
<b>Сообщения</b>	
А. Д. Евсюгин (Армавир). Свадебные обряды европейских ненцев в XIX — начале XX века . . . . .	85
А. П. Хокконен (Петрозаводск). Карельская народная вышивка второй половины XIX — начала XX века . . . . .	92
А. П. Пестряков (Москва). Антропологическое исследование некоторых групп населения Таджикистана и Узбекистана . . . . .	102
В. В. Покшишевский (Москва). Новейшие данные о миграционной подвижности населения Индии . . . . .	113
<b>Поиски, факты, гипотезы</b>	
Н. Р. Гусева, С. И. Потабенко (Москва). Находка в Верхней Сванетии . . . . .	119
Р. Ш. Джарылгасинова (Москва). Сокровища Никко . . . . .	125
<b>Научная жизнь</b>	
Ю. П. Аверкиева (Москва). Проблемы межэтнических и межрасовых отношений на VIII Международном социологическом конгрессе и ежегодном съезде Американской социологической ассоциации в 1974 г . . . . .	133
Л. М. Дробижева (Москва). Международный симпозиум по методологическим проблемам этнографического изучения современного социалистического быта и культуры . . . . .	141
И. А. Лейнасаре, Р. Р. Меркене (Рига), Л. Н. Терентьева (Москва). Советско-финляндский симпозиум по этнографическому картографированию . . . . .	142
Г. В. Старовойтова (Ленинград). Научная конференция по проблемам этнографии Северо-Запада СССР . . . . .	146
Е. И. Мурзина (Киев). Всесоюзный семинар молодых фольклористов . . . . .	150
Коротко об экспедициях . . . . .	151
<b>Критика и библиография</b>	
<b>Критические статьи и обзоры</b>	
Г. П. Васильева (Москва). Новые публикации о традиционных формах хозяйства населения Туркменской ССР . . . . .	153

## Общая этнография

- Д. Д. Тумаркин (Москва). *И. Л. Андреев. Общинные структуры и некапиталистический путь развития* . . . . . 158  
 С. А. Токарев (Москва). *Raoul et Laura Makarius. Structuralisme ou ethnologie. Pour une critique radicale de l'anthropologie de Levi-Strauss* . . . . . 163

## Народы СССР

- В. А. Александров (Москва). *Е. П. Бусыгин, Н. В. Зорин, Е. В. Михайличенко. Общественный и семейный быт русского сельского населения Среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование (середина XIX — начало XX в.)* . . . . . 169  
 В. П. Курылев (Ленинград). *Очерки по истории хозяйства народов Средней Азии и Казахстана* . . . . . 171  
 А. А. Лебедева (Москва). *Художественные промыслы РСФСР. Справочник*. 173  
 В. Гашпарикова (Братислава). *Новые работы грузинских фольклористов* . . . . . 175

## Народы зарубежной Европы

- М. М. Фрейденберг (Калинин). *N. F. Pavković. Pravo preče kupovine u običajnom pravu Srba i Hrvata* . . . . . 176

## Народы зарубежной Азии

- С. И. Королев (Москва). *Г. М. Бонгард-Левин. Индия эпохи Маурьев* . . . . . 179

## Народы Америки

- В. И. Козлов (Москва). *Национальные процессы в США* . . . . . 181  
 Н. Г. Ильина (Москва). *С. А. Гонимонский. Колумбия. Историко-этнографические очерки* . . . . . 184

## Народы Африки

- Г. Н. Гоцко (Ленинград). *Н. Н. Чижов. Танзания. Экономико-географическая характеристика* . . . . . 187

На первой странице обложки: «Млавытын» — корякский традиционный танец. Корякский национальный округ, с. Тиличики. Фото А. Маслова.

## SOMMAIRE

- Yu. V. Bromlev, V. I. Kozlov (Moscou). Contribution à l'étude des processus ethniques modernes dans le domaine de la culture spirituelle moderne des peuples de l'URSS . . . . . 3  
 N. V. Yukhnieva (Leningrad). La vie professionnelle des ouvriers en tant qu'objet d'une étude ethnographique . . . . . 18  
 N. L. Krylova, I. A. Svanidzé (Moscou). Economie rurale des populations de l'Ethiopie . . . . . 31  
 V. Ya. Pietroukhine (Moscou). Contribution à une caractéristique des images du monde d'outre-tombe chez les Scandinaves à l'époque des vikings . . . . . 44

## Discussions et deliberations

- Yu. I. Sémionov (Moscou). Une fois de plus sur le clan maternel et les classes de mariage . . . . . 55

## De l'histoire de la science

- R. S. Lipiets (Moscou). De l'importance des collections générales ethnographo-folkloriques (création du fonds I. V. Kostolovski) . . . . . 72

## Communications

- A. D. Yevsiuguine (Armavir). Rites de nocés des Nentsi européens aux XIXe—début XXe siècles . . . . . 85  
A. R. Khokkonen (Pétrozavodsk). Broderies populaires caréliennes, 2-e moitié du XIXe—début XXe siècles . . . . . 92  
A. P. Piestriakov (Moscou). Etude anthropologique de quelques groupes de la population de Tadjikistan et d'Ouzbékistan . . . . . 102  
V. V. Pokchichievski (Moscou). Dernières données sur la mobilité migratoire des populations de l'Inde . . . . . 113

## Recherches, faits, hypothèses

- N. R. Goussieva, S. J. Potabienko (Moscou). Trouvaille en Svanétie Montagneuse . . . . . 119  
R. Ch. Djarylgassinova (Moscou). Les trésors de Nikko . . . . . 125

## Vie scientifique

- Yu. P. Averkieva (Moscou). Problèmes des rapports interethniques et interraciaux au VIII Congrès International de sociologie et au Congrès annuel de l'Association Sociologique Américaine . . . . . 133  
L. M. Drobijéva (Moscou). Symposium international pour les problèmes de méthodologie de l'étude ethnographique sur le mode de vie et culture modernes socialistes . . . . . 141  
I. A. Leinassaare, R. R. Merkené (Riga), L. N. Tieréntieva (Moscou). Symposium pour la cartographie ethnographique . . . . . 142  
G. V. Starovoïtova (Léningrad). Une Conférence scientifique pour les problèmes de l'ethnographie du Nord—Ouest de l'URSS . . . . . 146  
Ye. I. Mourzina (Kiev). Séminaire National des jeunes folklorisants . . . . . 150  
Missions en bref . . . . . 151

## Critiques et bibliographie

### Articles de critique et revues

- G. P. Vassiliéva (Moscou). Nouvelles publications sur les formes traditionnelles de l'économie des populations de la RSS de Turkménie . . . . . 153

### Ethnographie générale

- D. D. Toumarkine (Moscou). I. L. Andréiev. Structures communautaires et la voie non-capitaliste du développement . . . . . 158  
S. A. Tokariév (Moscou). Raoul et Laura Makarius. Structuralisme ou ethnologie. Pour une critique radicale de l'anthropologie du Lévi-Strauss . . . . . 163

### Peuples de l'URSS

- V. A. Aléxandrov (Moscou). Ye. P. Boussyguine, N. V. Zorine, Ye. V. Mikhaïlitchienko. Mode de vie sociale et familiale de la population rurale russe de la Moyenne-Volga. Une étude historico-ethnographique (moitié XIXe—début XXe siècles) . . . . . 169  
V. P. Kouryliov (Léningrad). *Essais sur l'histoire de l'économie des peuples de l'Asie Centrale et du Kazakhstan* . . . . . 171  
A. A. Lébiédieva (Moscou). *Industries artistiques de la RSFSR. Un guide* . . . . . 173  
V. Gašpariková (Bratislava). L'œuvre poétique géorgienne . . . . . 175

### Peuples de l'Europe hors l'URSS

- M. M. Freïdenberg (Kalinine). N. F. Pavkovič. Pravo preče kupovine u običajnom pravu Srba i Hrvata . . . . . 178  
191



## Peuples de l'Asie hors l'URSS

S. I. Koroliov (Moscou). *G. M. Bongard-Lévine. L'Inde à l'époque des Mauryas* 179

## Peuples de l'Amérique

V. I. Kozlov (Moscou). *Les processus nationaux aux Etats-Unis* 181

N. G. Ilyina (Moscou). *S. A. Gonionski. La Colombie. Essais historico-ethnographi-* 184

## Peuples de l'Afrique

G. N. Gotsko (Léningrad). *N. N. Tchijov. La Tanzanie. Une caractéristique écon-* 187  
*omique-géographique*

*Sur la couverture: «Mlavytyn» — une danse traditionnelle des Koriak. Cercle na-*  
*tional des Koriak, village de Tilitchiki. Cliché A. Maslov*

Технический редактор Л. И. Гликина

---

Сдано в набор 13/XI-1974 г.	Т-04204	Подписано к печати 23/I-1975 г.	Тираж	2640 экз.
Зак. 4352	Формат бумаги 70×108 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> .	Усл. печ. л. 16,8.	Бум. л. 6,0.	Уч.-изд. л. 19,8

---

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10